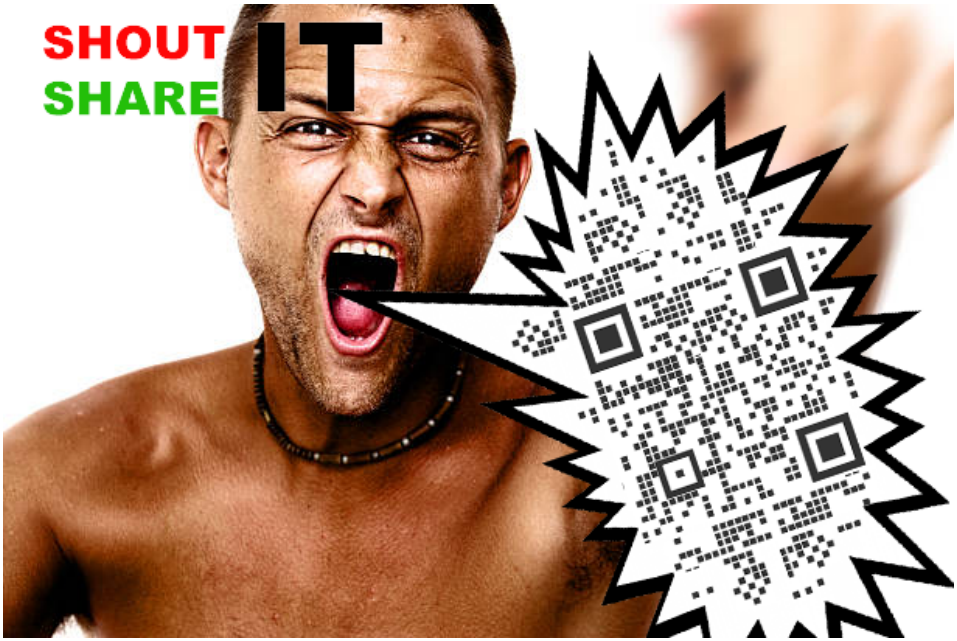
Наталья
ГОРБАЧЕВА

КУМИРЫ

Истории Великой Любви

Наталья Гончарова против Пушкина?

Война любви и ревности


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

У Натальи Гончаровой очень интересная судьба. Первая красавица Москвы вышла за великого поэта, когда ей было 17 лет. Вышла бесприданницей. А потом? «Пушкин был, прежде всего, жертвой бестактности своей жены и ее неумения вести себя», — писал Вяземский, сам, кстати, влюбленный в Гончарову. У Жуковского было прямо противоположное мнение.

Итак, Россия раскололась: одни обвиняли Гончарову в гибели «солнца русской поэзии», другие — боготворили ее ум, красоту и изящество. Так почему же случилась та роковая дуэль? И действительно ли существовал заговор Дантеса и барона Геккерена, которых не раз обвиняли в мужеложстве?

Эта книга знаменитой писательницы Наталии Горбачевой — нашумевшее расследование жизни и любви Пушкина и Гончаровой — читается как прекрасный роман, а благодаря огромному количеству исторического материала действительно проливает свет на события той эпохи.

- Наталья Горбачева
  - Тайна Натальи Николаевны
  - Глава первая
    - Воспоминания о гончаровских миллионах
    - Баронесса Ульрика Поссе
    - Маминька и папинька
    - Детство Наташи
  - Глава вторая
    - «Я совсем огончарован…»
    - В поисках суженой
    - «Участь моя решена, я женюсь…»
    - «Наша свадьба точно бежит от меня…»
    - «Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах…»
    - «Она похожа на героиню романа…»
    - «Женщина, наиболее здесь модная…»
    - «Образ жизни мой совершенно переменился…»
    - «Путешествие нужно мне нравственно и физически…»
    - «Пожалован в камер-юнкеры…»
    - «У тебя, чай, голова кругом идет…»
    - «Один глупец не изменяется…»
  - Глава третья
    - «Себе лишь самому служить и угождать…»

        - «Правду Твою не скрыв в сердце моем…»
    - Глава четвертая
        - «Да ниспошлет Господь силы и мужество…»
        - История с Гриффео и другие…
        - Петр Бутафорыч
        - Военный, средних лет, генерал, темноволосый…
        - Версия
    - Глава пятая
        - «Выходи за порядочного человека…»
        - «Чувство, которое соответствует нашим летам…»
        - «В память о покойном своем муже…»
        - «Простое, безыскусственное дело…»
        - «Под зловещей звездой…»
        - Светская жизнь
        - Семейный роман в письмах
        - У последней черты
    - Глава шестая
        - Мать-героиня
        - Мария
        - Александр
        - Григорий
        - Наталья
        - Дети Ланского
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8

Наталья Горбачева
Наталья Гончарова против Пушкина?
Война любви и ревности

Тайна Натальи Николаевны

Миф о жене Пушкина как о бездушной красавице, погубившей в расцвете таланта величайшего русского поэта, оказался дорог многим поколениям исследователей, а вслед за ними — миллионам читающей публики… Здравый смысл в ее оценке был потерян давно, еще на заре научного пушкиноведения. Как-то невольно любой, кто ценит Пушкина, рано или поздно уязвляется мыслью: из-за Натали поэт стрелялся и погиб! Если б не она…

«Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив», — признавался сам Александр Сергеевич жене в одном из писем. И таких признаний — множество. Почему народная молва все-таки не верит поэту? Отчего прижились мнения, подобные выраженным в стихотворении «На Н. Н. Пушкину»:

Не смыть ей горькими слезами
С себя пятна,
Не отмолиться ей мольбами,
Жалка она.

В противоречивом взгляде на Наталью Николаевну есть какая-то удивительная тайна! Попытаемся, благосклонный читатель, вместе разгадать ее. Подсказка, кажется, в словах самой Пушкиной: «Позволить читать свои чувства мне кажется профанацией. Только Бог и немногие избранные имеют ключ от моего сердца», дочь Натальи Николаевны Александра Арапова подтверждает в своих воспоминаниях ту же мысль: «Она была христианка в полном смысле этого слова. Грубые нападки, язвительные уколы уязвляли неповинное сердце, но горький протест или ропот возмущения никогда не срывался с ее уст.»

Сама Наталья Николаевна не оставила ни дневников, ни воспоминаний. Не найдены ее письма к Пушкину. От природы она была молчалива и весьма сдержанна в проявлении своих чувств. Ее сдержанность поощрял и муж. При этом правильные выводы о ее уме и характере сделать было непросто. Действительно, кто из современников, встречаясь с модной, признанной красавицей двух столиц Натали, заглядывал в глубину ее души? Кто, вспоминая о ней, по достоинству оценил то величайшее терпение и смирение, с которыми она принимала все удары судьбы, начиная с самого младенчества? Только Бог и

немногие избранные, к которым несомненно принадлежал Пушкин. Он писал жене: «…а душу твою люблю больше твоего лица». Серьезное признание, однако исследователи вновь и вновь позволяли себе не соглашаться с поэтом, полагая очевидно, что душа Натальи Николаевны — плод поэтического воображения Пушкина. Более понятной и привлекательной для изучения всегда считалась первая часть знаменитой его фразы: «Гляделась ли ты в зеркало и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя…» (письмо Пушкина к жене от 21 августа 1833 года).

Красота Натальи Николаевны была необыкновенна, привлекала к себе чрезвычайный интерес и при дворе царя могла бы стать огромной силой, но не стала, сдерживаемая душой благородной и возвышенной.

Но толпе праздных было угодно отнять от видимой красоты невидимую душу и загнать трагедию в знакомую схему: красавица без удержу кокетничала, имела огромный успех — явный и тайный, любила балы, влюбилась в красавца Дантеса и… «погиб поэт, невольник чести».

Так еще при жизни «Мадонна» Пушкина превратилась в бездушную красавицу. А поскольку «ропот возмущения никогда не срывался с ее уст», то досужие вымыслы в конце концов породили стойкий миф.

Не слышали Пушкина, который с чуткостью гениального поэта охарактеризовал свою «Мадонну»: «Чистейшей прелести чистейший образец».

«Ангел мой женка!» — звучат в Вечности слова признательности и любви первого поэта России к ее первой красавице. «Благословляю вас: тебя и детей! Христос с вами!»

Достаточно намеков. Теперь, благосклонный читатель, за дело! Насколько возможно теперь, начертаем всеохватную картину простой и ясной в сущности жизни Натальи Николаевны Гончаровой-Пушкиной-Ланской, украсим ее портретом галерею замечательнейших женщин своей эпохи, почерпнем из ее биографии уроки самоотвержения и стойкости, терпения и любви, в которых мы, жители третьего тысячелетия, нуждаемся все более и более…

Глава первая
Фамильные самородки

Воспоминания о гончаровских миллионах

Родителями Натальи Николаевны Пушкиной были Николай Афанасьевич и Наталья Ивановна Гончаровы — фамилия по тем временам небезызвестная. Семья пустила глубокие корни в конце XVII века в старинном русском городе Калуге. Документы сохранили в числе калужских посадских людей имена «горшешников» Ивана и его сына Абрама, имевших гончарную лавку. Отсюда и пошло прозвище, а потом и фамилия.

Потомок этих «горшешников» Афанасий Абрамович Гончаров нажил огромное состояние, которое оценивалось после его смерти в три с половиной миллиона рублей. Началось с того, что Петр Первый обратил внимание на крестьянина-самородка, отличавшегося гениальной предприимчивостью. Петр в те времена создавал русский флот и решил завести в России заводы по производству отечественных парусов. Под покровительством царя Афанасий Гончаров основал свой первый завод, в дальнейшем открывая все новые и новые фабрики. Их продукция пользовалась спросом не только в России, но и за границей. По преданию, весь английский флот того времени ходил на «гончаровских» парусах. Завел Гончаров и бумажное производство: бумага его фабрик считалась лучшей в России.

В семейном архиве сохранился автограф Петра, писанный из Голландии, в котором он уведомляет Гончарова, что нанял там и высылает ему мастера, опытного в «усовершенствовании полотен», и если выговоренная плата покажется Афанасию Абрамовичу слишком высокой, то он готов половину принять на счет царской казны. Известно, что в каждом важном случае Гончаров свободно обращался к царю за наставлением и добрым советом. После смерти Петра I дочь его императрица Елизавета продолжала покровительствовать Гончарову. Она пожаловала ему чин коллежского асессора, дававший право на потомственное дворянство. Екатерина II подтвердила это право специальным указом, выданным уже внуку Афанасия Абрамовича Афанасию Николаевичу, деду Н. Н. Пушкиной. Именно он сумел промотать миллионы и после смерти оставил полтора миллиона долгу.

Предчувствуя, что потомки не сохранят богатство, предусмотрительный Афанасий Абрамович превратил в майорат полотняный завод и бумажную фабрику, то есть в неделимое имение, которое должно было передаваться старшему в роде и не подлежало продаже и залогу. Майорат стал называться Полотняным Заводом. Со смертью отца, став полновластным властелином имения, Афанасий Николаевич сбросил обузу дел на

руки управляющим и стал заботиться лишь о том, как пышнее обставить свою жизнь, как придумать новую неизведанную забаву. Сокровища, накопленные до него, казались неистощимыми. Гончаровская охота славилась чуть не на всю Россию, а оркестр из крепостных, обученный выписными маэстро, мог бы занять почетное место в столице…

Дом в Полотняном Заводе, построенный без особых архитектурных затей, размерами напоминал настоящий дворец. Афанасий Николаевич еще надстроил его, богато и на широкую ногу отделал внутри. Из описи обстановки того «богатого периода» гончаровской жизни ясно: владельцы ни в чем себе не отказывали. В комнатах стояла мебель, отделанная бронзой и инкрустацией, висели люстры фарфоровые и из венецианского стекла, дорогие сервизы и фамильное серебро с инициалами Афанасия Николаевича были подаваемы к столу хозяев и гостей.

Парк вокруг дворца был разбит на аристократический лад: гроты, беседки, статуи украшали его тенистые аллеи. В оранжереях выращивали заморские фрукты: ананасы на пирах были свои, не привозные. При конном заводе, где выводили породистых лошадей, при Афанасии Николаевиче был построен огромный великолепный, прямо-таки царский манеж, в котором устраивались конно-спортивные праздники. Толпы гостей съезжались на показы выездки лошадей, выдрессированных берейторами, которых приглашали из-за границы.

Пиры и празднества, продолжавшиеся иногда по месяцу и более, следовали один за другим. В доме управлялись до трехсот слуг и другой челяди. Зимой Гончаровы жили в Москве в собственном доме и вели такой же безрассудный образ жизни.

Афанасий Николаевич был женат на Надежде Платоновне, урожденной Мусиной-Пушкиной. Все затеи мужа еще покрывались доходами с заводов и имений (а их насчитывалось до 75), но серьезные испытания семье Гончаровых были уже при дверях. Тяжелый недуг обрушился на Надежду Платоновну: она сошла с ума. Вместо того чтобы остепениться, Афанасий Николаевич с юношеской необузданностью предался сладострастию. Его порывы более не сдерживались никем и ничем.

Когда очередная красавица-любовница совершенно завладевала его сердцем и волей, Афанасий Николаевич ничего не жалел для малейшей ее прихоти. Но посреди романа вдруг появлялась на горизонте другая, и он охладевал к первой. И тогда, чтобы сбыть ее с рук, отписывал ей дом в Москве или крупную вотчину, подкупал жениха для старой любовницы, одновременно пуская в ход все для обольщения новой. Чем

намеченный предмет был или притворялся недоступней, тем сильнее разжигалась страсть, и соблазняющие жертвы принимали все более крупные размеры. Дома и имения если не раздаривались, то продавались за бесценок в минуту нужды. Из крупного оборотного капитала постоянно делались заимствования, что ослабило мощь фабрик. Очень скоро объемистые, из доморощенного полотна, туго набитые золотом мешки, которые челядь привыкла видеть в кабинете владельцев, исчезли.

У Афанасия Николаевича был единственный сын Николай. Еще совсем юношей он встретил в аристократических гостиных Наталью Ивановну Загряжскую, прославленную своей редкой красотой, и влюбился в нее со всей страстью первой любви. Брак их, суливший столько счастья, был скоро заключен к радости обеих семей. Но об этом «счастье» речь впереди.

Баронесса Ульрика Поссе

Загряжские очень гордились как знатностью своего происхождения, так и влиянием при дворе. Дед Натальи Ивановны, Александр Артемьевич Загряжский, был женат на внучке последнего независимого гетмана Малороссии. При присоединении этого края к России царь Алексей Михайлович дал на прокормление знаменитому вождю запорожцев обширную волость под Москвой — село Ярополец Волоколамского уезда.

Дядя Натальи Ивановны, утонченный вельможа екатерининских времен, красавец, был женат на Наталье Кирилловне Разумовской, дочери гетмана. В начале XIX века она была известна всему великосветскому Петербургу оригинальностью своего ума и непреклонностью воли. Наталья Кирилловна была настоящим кладезем ценных исторических воспоминаний, из которого не уставал черпать Пушкин, породнившись с ней через Наталью Николаевну.

Несчастное происхождение Натальи Ивановны содержало зародыш тех страданий, которые принесла ей замужняя жизнь.

Отец ее Иван Загряжский, молодой блестящий офицер, служил в гвардии и среди распущенного общества был герой, отличаясь необузданными выходками, которые сходили ему с рук. Во избежание больших зол его женили на баронессе Строгановой — в надежде, что ее крупное состояние поправит расшатанные дела, а влияние умной добродетельной жены остепенит повесу. Ничуть не бывало. Свалившееся на него приданое только развязало руки: картежная игра превратилась в настоящую страсть. Через несколько лет совместной жизни Иван Загряжский отвез жену с детьми в принадлежащий ему Ярополец, поселил их в только что отстроенном под наблюдением Растрелли прекрасном дворце, а сам вернулся к веселой холостой жизни, лишь изредка и ненадолго навещая семью.

Тем временем полку Загряжского выпала продолжительная стоянка в Дерпте (нынешний Тарту), лифляндские бароны радушно встречали русских офицеров: балы и обеды не прекращались в окрестных замках. На одном из пиров у самого гордого, богатого и влиятельного барона Липгардта Загряжский увидел его красавицу-дочь, слывшую самой завидной невестой того края. Красавица Ульрика к тому времени была уже разведена со своим мужем бароном Морисом фон Поссе, имела от него малолетнюю дочь. Никакой интрижки быть не могло: Ульрика была воспитана в строгой нравственности, в другой вере, в недоступном кругу. Загряжский открыл наступление по всем

правилам амурной науки. Опытный ловелас влюбил в себя молодую женщину и беззастенчиво обратился к отцу ее с официальным предложением. Ни один из его легкомысленных товарищей не проговорился о том, что Загряжский уже был женат.

Отказ тем не менее последовал — в вежливой, но категорической форме. Барон Липгардт закрыл Загряжскому доступ в свой дом, а дочери запретил даже думать об отверженном претенденте. Но Ульрика была из тех натур, которые, если любят, то до конца. Когда полк должен был выступить обратно в Петербург, молодая баронесса не смогла решиться на вечную разлуку и сдалась на милость победителя. Милость его была горше смерти. Баронесса бежала из своего дома, от отца. Подкупленный священник обвенчал ее в скромном православном храме с чужим мужем.

Навсегда покинув Дерпт после рокового шага, новобрачная написала отцу, умоляя его о прощении, описывая всю силу их обоюдной любви и терзания, причиненные ей его, отца, непреклонным решением. Барон даже не ответил на эту мольбу, а через приближенного уведомил, что баронесса Липгардт умерла для него и всей его родни, и потому дальнейшие извещения об опозоренной авантюристке будут совершенно излишни.

Барон Липгардт свое слово сдержал: отношения были прерваны раз и навсегда. Характерно в этом смысле письмо Натальи Николаевны своему второму мужу П. П. Ланскому от 29 июня 1819 года: «…В своем письме ты говоришь о некоем Любхарде и не подозревая, что это мой дядя. Его отец должен был быть братом моей бабки — баронессы Поссе, урожденной Любхард. Если встретишь где-нибудь по дороге фамилию Левис, напиши мне об этом потому, что это отпрыски сестры моей матери. В общем, ты и шагу не можешь сделать в Лифляндии, не встретив моих благородных родичей, которые не хотят нас признавать из-за бесчестья, какое им принесла моя бедная бабушка. Я все же хотела бы знать, жива ли тетушка Жаннет Левис, я знаю, что у нее была большая семья. Может быть, случай представит тебе возможность с ними познакомиться».

«Тетушка Жаннет Левис» — это та самая дочь баронессы Ульрики Поссе от первого брака, которую она навсегда оставила, уехав из дома, на попечение своих лифляндских родственников.

Оттого, что баронесса поняла: к прошлому возврата нет, она тем сильнее привязалась к своему легкомысленному супругу, который теперь один должен был заменить ей все. Но достоверно известно, что из многочисленных романов Ивана Загряжского самым скоротечным было увлечение так нагло обманутой

молодой женщиной Ульрикой Поссе. По прибытии в Петербург он понял, что не может ввести в круг своих знакомых вторую жену при живой первой: богатые Строгановы не простили бы такого низкого поступка. Выдать обманутую жертву за любовницу он тоже не мог, опасаясь мести возмущенной немецкой знатной родни Ульрики. Загряжский поступил так, что мудрее не придумаешь в подобной ситуации. Очевидно, хорошо изучив добрую натуру своей законной жены, он привез к ней в Ярополец беременную баронессу. Надо полагать, что до этого момента она не подозревала, что обманута. Но присутствие при душераздирающей встрече двух девочек-подростков и мальчугана-сына Загряжского открыло глаза на происходящее. Баронесса поняла, что жизнь ее окончательно и бесповоротно разбита.

Загряжский не собирался ничего объяснять, решив, что «бабье это дело, сами разберутся». Приказав перепрячь лошадей, даже не взглянув на хозяйство, допустив только приближенную дворню к руке, он простился с женой и укатил в обратный путь. Его расчет оказался верен: великодушное христианское сердце законной супруги приняло в свои недра новые страдания. Одного поверхностного взгляда ей было достаточно, чтобы оценить всю чистоту души соперницы и измерить глубину горя, сломившего ее молодую жизнь. Грех мужа обнаружился перед законной женой во всей своей неприглядности, и она решила загладить его по мере сил. Почти вдвое старше обманутой женщины, она окружила ее поистине материнской лаской, и только благодаря ее постоянному уходу Ульрика могла выдержать тяжелую болезнь, вызванную роковым ударом. Через несколько месяцев она родила дочь, названную Натальей.

Пережитое горе в чуждой стране подкосило здоровье баронессы Поссе, в тридцать лет красавица умерла.

О ее красоте в семейных преданиях существует необычное свидетельство. Однажды случился пожар в Зимнем дворце. Вызванным войскам было поручено спасать только самые ценные вещи из горевших апартаментов. Один офицер, проникший в комнаты фрейлины Екатерины Ивановны Загряжской (сестры Натальи Ивановны), был поражен стоявшей в комнате миниатюрой, изображавшей обаятельную женскую головку в напудренном парике. В дворцовой конторе при сдаче вещей выразили удивление, почему именно этот «маленький ничтожный предмет» спас офицер.

— Да вглядитесь хорошенько! — воскликнул тот. — И вы поймете тогда, что я не мог оставить изображение такой редкой красавицы в добычу огню.

Впоследствии эта миниатюра, изображавшая баронессу Поссе, перешла к Наталье Ивановне, а потом пропала. Помнившие живую Ульрику говорили Наталье Ивановне, что хотя она, дочь, и очень хороша собою, но сравниться с матерью не может. Эту необыкновенную красоту унаследовала внучка Ульрики — Наталья Николаевна Пушкина. Поистине — трагическая красота!..

После смерти чужестранки Александра Степановна Загряжская так привязалась к ее дочке-сиротке, что не делала никаких различий между нею и собственными дочерьми. При помощи своей влиятельной родни она сделала все возможное, чтобы узаконить рождение Натальи Ивановны, оградив все ее наследственные права, что в то время сделать было нелегко. Стоит лишь добавить по этому поводу, что «наследство» существовало более в воображении, чем в действительности. Когда отец трех дочерей и двух сыновей окончил свою бесшабашную жизнь, промотав и строгановское приданое, и личное состояние, из всех богатств чудом уцелел только Ярополец, да и то обремененный долгами. Материальное положение семьи было тяжело, дочери входили в брачный возраст бесприданницами.

Маминька и папинька

Когда дочери подросли, Александра Степановна переехала в Петербург под покровительство Натальи Кирилловны Загряжской, урожденной графини Разумовской, «кавалерственной дамы ордена святой Екатерины». Наталья Кирилловна приходилась родной теткой сестрам Софье, Екатерине и младшенькой Наталье. Она занимала высокое положение при дворе, и по ее рекомендации сестры были приняты во фрейлины к императрице Елизавете Алексеевне, жене Александра I.

Красота Натальи Ивановны заблистала при дворе. В нее влюбился кавалергард А. Я. Охотников, фаворит императрицы. От него у императрицы была дочь, не дожившая и до трех лет. В октябре 1806 года человек, подосланный якобы великим князем Константином Павловичем, тяжело ранил Охотникова при выходе из театра, и в январе 1807 года он умер.

Возможно, чтобы замять эту историю, Наталью Ивановну выдали замуж за Николая Афанасьевича Гончарова, который был чрезвычайно счастлив происшедшим, потому что, как упоминалось, был сильно влюблен в свою избранницу.

Венчание фрейлин, по обычаю, совершалось в дворцовой церкви. Не была исключением и эта свадьба. В камер-фурьерском журнале матери Александра I императрицы Марии Федоровны есть запись, датированная 27 января 1807 года, в которой подробно описывается бракосочетание Натальи Ивановны и Николая Афанасьевича. По странному стечению обстоятельств, ровно через тридцать лет муж их дочери Натальи Николаевны стрелялся на дуэли, отстаивая «честь жены». 27 января 1837 года Пушкин был смертельно ранен.

На венчании присутствовала вся царская фамилия: император Александр I, императрица Елизавета Алексеевна, вдовствующая императрица, супруга Павла I, Мария Федоровна, великие князья Михаил и Николай — будущий император Николай I, великие княжны Екатерина и Анна.

Перед венчанием Наталья Ивановна была «препровождена во внутренние покои к государыне императрице Марии Федоровне и убираема была бриллиантовыми к венцу наколками».

Много уже говорено о красоте Натальи Ивановны, но и ее супруг, Николай Афанасьевич, был под стать ей. Высокий, стройный, с классически правильными чертами лица, богато одаренный природой, он с детства был окружен самыми нежными заботами как единственный ребенок в семье. По повелению императрицы Екатерины с самого рождения он был зачислен

капралом в Конный полк. Эта монаршая милость пришлась не по вкусу матери, которая считала, что единственный наследник крупного майората не может подвергаться тяготам и лишениям военной службы. Тщетно рвался Николай Афанасьевич к военной карьере — мать была непреклонна. Это сопротивление задушевным внутренним стремлениям молодого человека оставило горький след во всей его жизни. Однако мать приложила все старание, чтобы сын получил домашнее образование на уровне самых высоких требований того времени.

В 1808 году Николай Афанасьевич получил коллежского асессора, перевелся в Москву и поступил на должность секретаря московского губернатора. Медовый месяц и первые годы протекли для четы Гончаровых в упоении любви и радостях молодой супружеской жизни. Но постепенно тучи стали появляться на безоблачном небосклоне. Отец Афанасий Николаевич «хозяйничал» на Полотняном Заводе. Он всячески отдалял своего сына от дел, скрывая свои безумные любовные траты. Молодой человек слепо верил в неприкосновенность гончаровских миллионов до той минуты, когда старик, потеряв спокойствие ввиду приближения грозной катастрофы, открыл ему неутешительную правду. По своему обычаю, не задумываясь о последствиях, Афанасий Николаевич свалил тяжелую ношу запутанных дел и подорванного кредита на неопытные плечи наследника и укатил на несколько лет за границу.

С Божьей помощью дела поправились. Николай Афанасьевич без сожаления отказался от праздной московской жизни, переселился с семьей на Полотняный Завод и с неутомимой энергией принялся наводить порядок. Беззастенчивое растаскивание барского добра прекратилось, под зорким хозяйским оком снова заработали фабрики. За пять лет упорного труда Николаю Афанасьевичу удалось заделать отцовские прорехи. Сын высылал отцу большие суммы, удерживая его тем самым за границей. В 1811 году Николай Афанасьевич был награжден орденом Владимира IV степени «за приведение к должному устройству и усовершенствованию состояния в Калужской губернии фабрики полотняной и писчей бумаги».

Но наступил грозный 1812 год: наполеоновская война нарушила мир и равновесие Европы. Французы близко подошли к гончаровским владениям. В Полотняном Заводе некоторое время стоял со своим штабом фельдмаршал Кутузов. Комнаты, в которых он жил, сделались исторической реликвией и стали называться кутузовскими. Можно себе представить, сколько пищи для детской фантазии маленьких Гончаровых дал этот факт столь

близкого соприкосновения судьбы Отечества с обычным течением времени родительского дома. Увы! Хранимый от французов, дом этот подвергся опустошительному нашествию собственного «иностранца». Афанасий Николаевич в самом начале войны сумел пробраться через границу и вернуться в Завод. Он привез с собой любовницу мадам Бабетт и стал требовать, чтобы ей оказывали все знаки внимания, положенные хозяйке дома. Этим событием чрезвычайно осложнились семейные отношения.

Ко всему прочему, старику показалось, что сын кичится перед ним своей деловитостью и умственным превосходством, и вместо признательности за поправку дел затаил к нему злобу. Нашлось немало приближенных к хозяину людей, которым хотелось бы вернуться к прежней безалаберной жизни. Они разжигали страсти, наушничая и раздувая недоброжелательство отца к сыну. Очень скоро от критики поведения Николая Афанасьевича перешли и к отмене его распоряжений. Какое-то время сын еще пытался удержать отца от бесхозяйственности и расточительства, но на открытый скандал не шел, однако в 1815 году Афанасий Николаевич полностью отстранил Николая Афанасьевича от дел.

Добрая душа Николая Афанасьевича доходила до отчаяния: он увидел, что его труды по восстановлению хозяйства разбиваются в прах в угоду мимолетному капризу отца (в одном из писем к нему он назвал себя «уничтоженной тварью»), но ничего нельзя было изменить. Огромная ответственность лежала на нем за судьбу уже собственных детей, которых к тому времени было шестеро: первенец и наследник майората Дмитрий, Екатерина, Иван, Александра, Наталья и новорожденный Сергей. Несмотря на то что первые годы после отстранения сына от дел Афанасий Николаевич выдавал его семье достаточное содержание — 40 тысяч рублей ежегодно, но Николай Афанасьевич теперь не мог обмануться, предчувствуя угрозу полного разорения. И его предчувствия, к сожалению, оправдались. После скоропостижной смерти Афанасия Николаевича в 1832 году оказалось, что он оставил в «наследство» своим потомкам полтора миллиона долга!

Обстоятельства жизни Николая Афанасьевича складывались так, чтобы беспощадно терзать напряженный ум и наболевшую душу, подготавливая взрыв рокового неизлечимого недуга, который, в свою очередь, не мог не отразиться на самочувствии всех членов его собственной семьи. Начало болезни Николая Афанасьевича относят к концу 1814 года. Сведения о недуге весьма противоречивы. Его считали «повредившимся в уме» — то ли вследствие падения с лошади, то ли благодаря наследственности со стороны матери. Скорее всего, он не был психически ненормальным. В юности мать не дала ему сделать

военной карьеры, теперь, в его зрелые года, по воле отца оборвалась так прекрасно начавшаяся карьера преуспевающего промышленника. Надо полагать, что Николай Афанасьевич мог бы достичь высоких степеней на любом поприще, но разрыв с отцом послужил причиной к тому, что он запил. Жизнь надломилась.

Детство Наташи

Наталья Николаевна Гончарова родилась 27 августа 1812 года — на следующий день после Бородинского сражения. Ее семейство, спасаясь от французов, уже оставило Полотняный Завод и переселилось к близким родственникам Натальи Ивановны в богатое родовое поместье Загряжских Кариан, «в одно из лучших дворянских гнезд на Тамбовщине». Здесь и родился младенец женского пола и крещен в местной Знаменской церкви с именем Наталья.

После победоносного окончания Отечественной войны семья вернулась в Полотняный Завод. Однако болезнь Николая Афанасьевича вынудила семейство переехать в Москву, в собственный дом на Никитской. Родители не взяли с собой маленькую Наташу, потому что старик Гончаров сильно привязался к внучке и настоятельно требовал отдать девочку на его попечение. Наталья Ивановна скрепя сердце согласилась на это, чтобы хоть как-то приспособиться к новым обстоятельствам жизни. Молодая тридцатилетняя женщина вынуждена была взять на себя заботы о больном муже и малолетних детях.

Дед души не чаял в маленькой внучке. Наташа росла подобно сказочной принцессе в волшебном царстве. Зная отношение деда к ребенку, все прихлебатели и приживальщики Полотняного Завода старались угадать ее наималейшее желание. Самые дорогие и затейливые игрушки выписывались на смену тех, что не успели еще надоесть, от нарядов ломились сундуки, на каждом шагу предлагались разнообразные и изысканные лакомства, так что от них совершенно пропадал аппетит. Любимым развлечением в имении стало придумывать новые забавы для общей любимицы.

В одно мгновение все переменилось. На шестом году Наташу вернули в родное гнездо. Событие, связанное с переменой участи, навсегда врезалось в ее память. Стояла зима. Девочку, укутанную в драгоценную соболью шубку, на руках вынесли из возка и доставили прямо в гостиную. Братья и сестры с любопытством разглядывали забытое лицо. Мать сдержанно поцеловала девочку и, с неудовольствием оглядывая дорогой наряд, сказала: «Это преступление — приучать ребенка к неслыханной роскоши!» Нянюшкам было приказано строго: от всего привитого в дедовом доме ребенка без сожаления отучить. Не прошло и двух дней, как дорогая шуба, предмет общего восхищения детей, была изрезана на муфточки и палантинки для трех сестер.

Дедушкино баловство ничуть не испортило мягкого

характера Наташи. Внезапная перемена отношения к ней взрослых не озлобила ее, она безропотно подчинилась суровому режиму, заведенному в доме, и выносила его гораздо легче своих сестер.

Надо сказать, что Наташа Гончарова никогда не переставала любить своего дедушку Афанасия Николаевича, хотя наверняка знала, что он — виновник разорения семьи, болезни отца, человек, уличенный во множестве других грехов. В шестнадцать лет она писала деду: «Любезный Дединька! Я воспользоваюсь сим случаем, дабы осведомиться о вашем здоровии и поблагодарить вас за милость, которую вы оказали нам, позволив нам провести лето в Ильицыно. Я очень жалею, любезный Дединька, что не имею щастия провести с вами несколько времени, подобно Митиньки. Но в надежде скоро вас видеть, целую ваши ручки и остаюсь навсегда ваша покорная внучка Наталья Гончарова». Поистине — трогательное признание.

Дедушка Афанасий Николаевич, видимо, сознавая свою вину перед сыном, старался поддерживать добрые отношения с внуками. Он посылал им небольшие подарки, приглашал иногда к себе. К старшему Дмитрию, наследнику майората, было особое благоволение: дед часто писал к нему и, бывало, присылал значительные суммы «для профессоров и наук». В письмах Афанасий Николаевич слово «деньги» всегда пишет с большой буквы в знак преклонения перед главным своим кумиром.

«1 ноября 1821 года
Любезный друг Митинька!
На письмо твое скажу тебе, что я требуемые тобой книги «Сочинения Державина и Хераскова» сколько ни старался искать в библиотеке, но не нашел, да и в каталогах за рукой отца твоего их вовсе нет, а потому, буде они тебе нужны, то приценись в лавках, что то будет стоить и уведомь меня: я тотчас на покупку оных пришлю тебе Деньги…»

В Москве Наталья Ивановна старалась обустроить жизнь семьи так, как полагалось богатым помещикам. Но это было лишь внешнее впечатление: денег на такой образ жизни не хватало, видимость создавалась за счет строжайшей экономии внутренней жизни. Об обновках думать не приходилось. Младшие дети донашивали то, что становилось мало старшим. Не только выражение какого-либо желания, но необдуманная ссылка на привольную жизнь в прошлом становилась в вину. Детский каприз, шумное веселье строго преследовались. Да и не до того было при той тяжелой обстановке, в которой протекало детство

Гончаровых.

Наталья Ивановна неоднократно жаловалась свекру на враждебность мужа во время запоев. «Все его расстройство происходит лишь от большого употребления вина, как он сам мне в оном признался, что выпивал до семи стаканов простого вина». «Николай Афанасьевич, кажется, стал лучше, заходит в детскую, на Ташины проказы иногда улыбается» (из писем Н. И. Гончаровой свекру 1818–19 годов). После запоев наступали сильнейшие депрессии, которые, надо полагать, и принимали за «психическую» болезнь. Бывали времена просветления, когда отношения между супругами становились нормальными, о чем также сообщала Наталья Ивановна в письмах к свекру, рассказывая, что каждый день навещает мужа во флигеле, где он живет отдельно от остального семейства.

В доме временами разыгрывались дикие сцены, подобные той, которую Наташа Гончарова запомнила на всю жизнь. Дело было так. Николай Афанасьевич временами выходил из своего флигеля к назначенному часу и обедал за столом вместе с семьей и домочадцами. Поспешно убиралась водка и вино, потому что капли алкоголя было достаточно, чтобы вызвать возбуждение. Если же ему удавалось перехватить рюмку, то трапеза неминуемо заканчивалась бурным инцидентом. По заведенному порядку никто не смел выйти из-за стола, пока мать не делала условного знака своей салфеткой. Однажды близорукая Наташа не заметила, как Наталья Ивановна взмахнула салфеткой, и все, покинув стол, устремились наверх, в мезонин, за тяжелые железные двери, а замешкавшаяся Наташа осталась с разъяренным отцом один на один. Он вдруг схватил со стола нож и бросился вслед за девочкой. Лестница наверх казалась бесконечной, отец с ножом почти настигал беглянку: достаточно одного неверного шага и… трудно предположить, чем могло кончиться это происшествие. Сверху из-за чуть приоткрытой железной двери за сценой с ужасом в глазах следили домочадцы, не в состоянии что-либо предпринять. Еще прыжок — и Наташа в безопасности, но каково было ребенку видеть отца в припадке безумия и спасаться от того, кого она не могла не любить.

После подобных сцен Наталья Ивановна решалась на крайние меры. Для ограждения детей она пыталась добиться признания мужа сумасшедшим, чтобы поместить его в лечебницу. Но каждый раз при появлении комиссии врачей он, на удивление всех домашних, проявлял такое самообладание, что в течение нескольких часов с его уст не слетало ни единого неразумного слова. Николай Афанасьевич толково отвечал на самые замысловатые вопросы и в конце концов с затаенной грустью

намекал на затаенную вражду жены, которая ради корысти преследовала его. Его поведение всегда вызывало сострадание, а Наталье Ивановне решительно отказывали в ее ходатайстве. Так постепенно стало складываться предубежденное мнение современников: «суровая и властная, неуравновешенная и несдержанная» — говорили о ней. А ведь в сущности это была глубоко страдающая душа. Блестящая фрейлина императрицы, выходя замуж по любви за искреннего человека, надеялась, что всю жизнь будет с ним счастлива, но уже к тридцати годам эти надежды рухнули. Дом разорялся, сводные сестры Натальи Ивановны София и Екатерина не только не сочувствовали несчастью, но делали попытки лишить ее, как незаконную дочь Загряжского, доли наследства после смерти брата и дяди.

«Поистине тяжело и горько быть несправедливо осужденной своими самыми близкими людьми, особенно теми, с кем прошло детство и юность, казалось бы, эти первые узы дружбы сестер должны остаться неразрывными, так как были завязаны в лета, когда всякое притворство исключается, когда сердца и нравы искренни и правдивы, и однако корыстные расчеты меняют все — печальная действительность, вот что мне остается.

Единственное удовлетворение, которое я могу противопоставить недоброжелательству, ничем не вызванному с моей стороны, это полное спокойствие моей совести, да будет Бог тому судья», — писала Наталья Ивановна сыну Дмитрию. Разве может так спокойно и мудро рассуждать особа «несдержанная и неуравновешенная», «ибо от избытка сердца говорят уста». А говорят они трогательно, доверительно, опытно. Так же надо судить и о ее сердце.

Это сердце, не находя поддержки у людей, со всем пылом обратилось к Богу. Долгие часы проводила Наталья Ивановна в своей домашней молельне. В доме у нее жили монахини и странницы. Подобное покровительство всегда считалось на Руси признаком жизни благочестивой. Богомольцы и скитальцы хранили в своей памяти множество повестей о житиях святых и святых местах, о чудесных событиях… Подобные рассказы с детства слышали дети Гончаровы, ими образовывались их сердца. Постоянный молитвенный подвиг матери не пропал даром. Это был пример живой веры, которая передалась детям, в особенности Наташе. Об этом мало и неохотно говорится в силу давнего предубеждения, с одной стороны, а с другой — из-за непонимания многими той главенствующей роли, которую имеет вера в жизни религиозного человека. Пушкин несомненно ценил искреннюю религиозность своей «женки», иначе не написал бы таких проникновенных слов: «…благодарю тебя за то, что ты Богу

молишься на коленях среди комнаты. Я мало Богу молюсь и надеюсь, что твоя чистая молитва лучше моих, как для меня, так и для тебя» (из письма от 3 августа 1834 года).

Биографы Пушкина прилепили к Наталье Ивановне ярлыки: ханжа, религиозная фанатичка, которая искала «забвения в религии»; по их мнению, слишком надеялась она на Бога, а не на человеков… Но ведь это евангельское установление… Вот что писал Николай Афанасьевич Гончаров своей дочери Екатерине после разыгравшейся трагедии — дуэли Пушкина: «Гнев Божий на наш род. Со всех сторон летят на нас бедствия и напасть на нашу семью. Горя — моря!» Наталья Ивановна предчувствовала эти «моря горя» гораздо раньше и много молилась, отвращая Божий гнев. Ежегодно будущая теща Пушкина ходила пешком на богомолье в Иосифо-Волоколамский монастырь, где проводила до двух недель; сюда делала богатые вклады, в нем же умерла во время последнего своего паломничества, там и похоронена.

Принципы воспитания детей Натальи Ивановны выражены в «Правилах жизни», которые были найдены в записной книжке молодых девиц Гончаровых:

«Никогда не иметь тайны от той, кого Господь дал тебе вместо матери и друга теперь, а со временем, если будет муж, то от него. Никогда никому не отказывать в просьбе, если только она не противна твоему понятию о долге.

Старайся никогда не рассказывать ни про кого ничего дурного, исключая того, кто должен это знать.

Не осуждай никогда никого ни голословно, ни мысленно, а старайся найти, если не оправдание, то его хорошие стороны, могущие возбудить жалость».

Внушенные с раннего детства, подобные правила охранили нравственность детей Гончаровых незамутненной и чистой.

Живое благочестие и прекрасное образование необыкновенно гармонично сочетались у младшей дочери Натальи Ивановны и Афанасия Николаевича — Натали Гончаровой.

«Наташа была действительно прекрасна, и я всегда восхищалась ею. Воспитание в деревне на чистом воздухе оставило ей в наследство цветущее здоровье. Сильная, ловкая, она была необыкновенно пропорционально сложена, отчего и каждое движение ее было преисполнено грации. Глаза добрые, веселые, с подзадоривающим огоньком из-под длинных бархатных ресниц. Но покров стыдливой скромности всегда вовремя останавливал слишком резкие порывы. Но главную прелесть Натали составляли отсутствие всякого жеманства и естественность. Большинство считало ее кокеткой, но обвинение это несправедливо.

Необыкновенно выразительные глаза, очаровательная улыбка и притягивающая простота в обращении, помимо ее воли, покоряли ей всех.

— Федька, принеси самовар, — скажет она и так посмотрит, что Федька улыбнется во весь рот, точно рублем его подарили, и опрометью кинется исполнять приказание.

— Мерси, мсье, — произнесет она, благодаря кавалера за какую-нибудь услугу, и скажет это совершенно просто, но так мило и с такой очаровательной улыбкой и таким взглядом, что бедный кавалер всю ночь не спит, думает и ищет случая еще раз услыхать это «мерси, мсье». И таких воздыхателей было у Наташи тьма.

Не ее вина, что все в ней было так удивительно хорошо. Но для меня так и осталось загадкой, откуда обрела Наталья Николаевна такт и умение держать себя? Все в ней самой и манера держать себя было проникнуто глубокой порядочностью. Все было «comme il faut» (безупречно) — без всякой фальши. И это тем более удивительно, что того же нельзя было сказать о ее родственниках. Сестры были красивы, но изысканного изящества Наташи напрасно было бы искать в них. Отец слабохарактерный, а под конец и не в своем уме, никакого значения в семье не имел. Мать далеко не отличалась хорошим тоном и была частенько пренеприятна. Впрочем, винить ее за это не приходится. Гончаровы были полуразорены, и все заботы по содержанию семьи и спасению остатков состояния падали на нее. Дед Афанасий Николаевич, известный мот, и в старости не отрешался от своих замашек и только осложнял запутанные дела. Поэтому Наташа Гончарова явилась в этой семье удивительным самородком». Такой помнила ее Надежда Михайловна Еропкина, близкая знакомая семьи Гончаровых.

В архивах Гончаровых найдены толстые подшивки ученических тетрадей по многим предметам. Перелистывая их, можно убедиться, что дети Гончаровы подробно изучали историю (русскую и всеобщую), географию, русский язык и литературу, мифологию. У Гончаровых был фактически свой домашний лицей, в который приглашались лучшие учителя. Удивления достойны познания десятилетней Наташи в области географии. Она, например, подробно описывает Китай, перечисляя все его провинции, повествуя о государственном устройстве. В ее тетрадях (1820–1829 гг.) — старинные пословицы, высказывания философов XVIII века, собственные замечания по тому или иному поводу, написанные в основном по-французски. Целая тетрадка, но уже по-русски, посвящена правилам стихосложения с примерами из Княжнина, Хераскова, Сумарокова. В детском

альбоме Ивана Гончарова есть стихотворение на французском, написанное рукой Наташи. Перевод дословно звучит так:

Пройди без невзгод свой жизненный путь,
Пусть дружество украсит дни твои,
И помни о чистосердечной привязанности,
Что я всегда питала к тебе.

На память от искренне тебе преданной сестры Натали Гончаровой 23 февраля 1822 г.

В 1822 году Натали Гончаровой было всего десять лет, но кажется, что это посвящение брату написала взрослая девушка — так не по-детски проникновенны слова и сильны чувства. В своей детской тетрадке она записала: «Ежели под щастием будем разуметь такое состояние души, в которой бы она могла наслаждаться в сей жизни новыми удовольствиями, то оно невозможно по образованию души нашей и по множеству неприятностей, с которыми часто невольным образом встречаемся в юдоле печалей». С самой ранней юности Наташа глубоко прочувствовала, что с помощью Божией можно перенести любые трудности и страдания, в чем убедиться было немало случаев: вся история ее рода свидетельствовала о том.

С чуткой, мужественной и верующей душой, которую так полюбил Пушкин, явилась Натали Гончарова миру.

Глава вторая
Поэт и красавица

«Я совсем огончарован…»

Зимой, в самом конце 1828 года на балу у знаменитого своими детскими утренниками танцмейстера Йогеля Пушкин увидел Натали… «Ей только минуло шестнадцать лет, когда они впервые встретились на бале в Москве. В белом воздушном платье с золотым обручем на голове, она в этот знаменательный вечер поражала всех своей классической царственной красотой. Александр Сергеевич не мог оторвать от нее глаз, испытав на себе натиск чувств, окрещенный французами coup de foudre (буквально: «удар грома»). Слава его уже тогда прогремела на всю Россию. Он всюду являлся желанным гостем; толпы ценителей и восторженных поклонниц окружали его, ловя всякое слово, драгоценно сохраняя его в памяти. Наталья Николаевна была скромна до болезненности; при первом знакомстве их его знаменитость, властность, присущие гению, — не то что сконфузили, а как-то придавили ее. Она стыдливо отвечала на восторженные фразы, но эта врожденная скромность, столь редкая спутница торжествующей красоты, только возвысила ее в глазах влюбленного поэта.

Вскоре после первого знакомства вспыхнувшая любовь излилась в известном стихотворении, оканчивающемся шутливым признанием:

Я влюблен, я очарован,
Я совсем огончарован!

Более подробных сведений, чем воспоминания А. П. Араповой, о зарождении любви Пушкина к будущей жене мы не знаем. Брат Натали — Сергей только уточняет: «Пушкин, влюбившись в Гончарову, просил Американца графа Толстого, старинного знакомого Гончаровых, чтоб он к ним съездил и испросил позволения привезти Пушкина. На первых порах Пушкин был застенчив, тем более, что вся семья обращала на него большое внимание… Пушкину позволили ездить, он беспрестанно бывал. А. П. Малиновская (супруга известного археолога) по его просьбе уговаривала в его пользу, но с Натальей Ивановной (матерью) у них бывали частые размолвки, потому что Пушкину случалось проговариваться о проявлениях благочестия и об императоре Александре Павловиче, а у Натальи Ивановны была особая молельня со множеством образов, и про покойного государя она выражалась не иначе, как с

благоговением. Пушкину напрямик не отказали, но отозвались, что надо подождать и посмотреть, что дочь еще слишком молода и пр.».

В конце апреля 1829 года через Толстого — Американца поэт сделал предложение, и даже неопределенный ответ осчастливил его… «На коленях, проливая слезы благодарности, должен был бы я писать вам теперь, после того как граф Толстой передал мне ваш ответ: этот ответ не отказ, вы позволяете мне надеяться. Не обвиняйте меня в неблагодарности, если я все еще ропщу, если к чувству счастья примешиваются еще печаль и горечь; мне понятна осторожность матери! — Но извините нетерпение сердца больного, которому недоступно счастье. Я сейчас уезжаю и в глубине своей души увожу образ небесного существа, обязанного вам жизнью. — Если у вас есть для меня какие-либо приказания, благоволите обратиться к графу Толстому, он передаст их мне.

Удостойте, милостивая государыня, принять дань моего глубокого уважения» (Пушкин — Н. И. Гончаровой, 1 мая 1829 г.).

Но «приказаний», как видно, не последовало, и Пушкин был волен снова распоряжаться своей судьбой по собственному усмотрению. Однако именно эта свобода с некоторых пор стала тяготить поэта. Все годы, прошедшие между возвращением из ссылки в Михайловское и женитьбой, ему не сиделось на месте. Большую часть этого времени он провел в Петербурге, но делал оттуда частые наезды в Москву, в Псковскую и Тверскую губернии, совершил самое длинное путешествие в своей жизни, предприняв поездку в Эрзерум, к армии генерала Паскевича, в рядах которой в то время сражался его брат Лев Сергеевич.

Жить поэту приходилось исключительно на холостую ногу, безо всякого семейного уюта и без малейших удобств, то в гостиницах и трактирах, то у приятелей, вроде С. А. Соболевского, побочного сына одного из богатых помещиков.

«Известный Соболевский (молодой человек из московской либеральной шайки) едет в деревню к поэту Пушкину и хочет уговорить его ехать с ним за границу. Было бы жаль, Пушкина надобно беречь как дитя. Он поэт, живет воображениями, и его легко увлечь. Партия, к которой принадлежит Соболевский, проникнута дурным духом…» (из донесения агента III Отделения).

Пушкин поселился у Соболевского в Москве после приезда из Михайловского. У него было более шумно и беспокойно, чем в любом трактире, сам Пушкин сравнивал эту квартиру с полицейской съезжей: «Наша съезжая в исправности, частный пристав Соболевский бранится и дерется по-прежнему, шпионы,

драгуны, б… и пьяницы толкутся у нас с утра до вечера».

Пушкин невольно подчинялся привычкам и обыкновениям той совершенно беспутной компании, в которую попал, возмущая тем самым своих солидных приятелей. «Досадно, — писал в своем дневнике М. П. Погодин, — что свинья Соболевский свинствует при всех. Досадно, что Пушкин в развращенном виде пришел при Волкове».

Это внешнее неблагообразие и неустроенность жизни, которую не удавалось изменить собственными силами, естественно породили желание основать свой собственный семейный очаг, свить свое гнездо. «Он, как сам говорил, — вспоминал кн. П. П. Вяземский, — начал помышлять о женитьбе, желая покончить жизнь молодого человека и выйти из того положения, при котором какой-нибудь юноша мог потрепать его по плечу на бале и звать в неприличное общество… Холостая жизнь и несоответствующее летам положение в свете надоели Пушкину.

Развлечений, порой весьма бурных и шумных, было предостаточно в эти годы, но они ничего не оставляли в душе, кроме ощущения усталости, тоски и скуки, которые как бы по наследству передал творец «Евгения Онегина» и своему герою.

Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому сплину,
Короче: русская хандра
Им овладела понемногу;
Он застрелиться, слава богу,
Попробовать не захотел,
Но к жизни вовсе охладел.
Как Child-Harold, угрюмый, томный
В гостиных появлялся он;
Ни сплетни света, ни бостон,
Ни милый взгляд, ни вздох нескромный,
Ничто не трогало его,
Не замечал он ничего…

Прошлое тяготило, будущее не радовало…

«В 1828 году Пушкин был уже далеко не юноша, тем более, что после бурных годов первой молодости и после тяжких болезней он казался по наружности истощенным и увядшим; резкие морщины виднелись на его лице, но все еще хотел казаться юношей. Раз как-то, не помню, по какому обороту разговора, я произнес стих его, говоря о нем самом:

Ужель мне точно тридцать лет?

Он тотчас возразил: «Нет, нет, у меня сказано: ужель мне скоро тридцать лет. Я жду этого рокового термина, а теперь еще не прощаюсь с юностью». Надо заметить, что до рокового термина оставалось несколько месяцев. Кажется в этот же раз я сказал, что в сочинениях его встречается иногда такая искренняя веселость, какой нет ни в одном из наших поэтов. Он отвечал, что в основании характер его грустный, меланхолический, и если он иногда бывает в веселом расположении, то редко и не надолго» (записки К. А. Полевого).

«В Петербурге — тоска, тоска…» Не было бы спасения без возможности излить ее в поэтические строки «Дорожной жалобы»:

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?

Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть господь судил,

На каменьях под копытом,
На горе под колесом,
Иль во рву, водой размытом,
Под разобранным мостом.

Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид.

Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине.

Долго ль мне в тоске голодной
Пост невольный соблюдать
И телятиной холодной
Трюфли Яра поминать?

То ли дело быть на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, о невесте
На досуге помышлять!

То ли дело рюмка рома,
Ночью сон, поутру чай;
То ли дело, братцы, дома!..
Ну, пошел же, погоняй!..

1829

Тоска, скука, несмотря на всероссийское признание его поэтического таланта. Навязчивая мысль о приближающейся осени жизни внушила поэту желание жениться. Хотя все предыдущие годы Пушкин был не особенно выгодного мнения о браке, во всяком случае, для себя считал его неподходящим состоянием. Многочисленные увлечения совершенно не были связаны с его матримониальными планами. Еще в мае 1826 года он с некоторой тревогой спрашивал у князя Вяземского: «Правда ли, что Боратынский женится? Боюсь за его ум. Законная… род теплой шапки с ушами. Голова вся в нее уходит. Ты, может быть, исключение. Но и тут, я уверен, что ты гораздо был бы умнее, если б еще лет десять был бы холостой. Брак холостит душу».

Эти рассуждения были больше от ума, но сердце постепенно потребовало своего: поискать там, где миллионы людей уже нашли спасение от одиночества. Трижды уже Александр Сергеевич серьезно примеривался к браку и трижды его намерениям не суждено было осуществиться, эти неудачи не слишком опечалил поэта. Позже, встретив Натали Гончарову, он понял, для кого хранил он свое сердце.

«Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее едва начали замечать в свете. Я полюбил ее, голова у меня закружилась, я сделал предложение, ваш ответ, при всей его неопределенности, на мгновение свел меня с ума; в ту же ночь я уехал в армию; вы спросите зачем? клянусь вам, я не знаю, но какая-то непроизвольная тоска гнала меня из Москвы; я бы не мог там вынести ни вашего, ни ее присутствия. Я вам писал, надеялся, ждал ответа — он не приходил. Заблуждения моей ранней молодости представлялись моему воображению; они были слишком тяжки сами по себе, а клевета их еще усилила; молва о них, к несчастью, широко распространилась. Вы могли ей поверить; я не смел жаловаться на это, но приходил в отчаяние», — писал Пушкин Наталье Ивановне Гончаровой,

поняв, что от нее зависит решение его судьбы и приговор может быть убийственным по единственной причине: у жениха дурная репутация.

Прошлое грянуло тяжелым залпом в настоящее и готово было уничтожить всякую надежду именно тогда, когда явилась настоятельная потребность покончить с «заблуждениями» и «жить, то есть познать счастье». Не молодость Натали Гончаровой была основной причиной отказа матери, ее страшили грехи молодости известного поэта, которые — не мудрено — издавна став настоящей притчей во языцех для публики, создали Пушкину репутацию плохого христианина и неблагонадежного человека во мнении высшей власти.

«Не уступавший никому, Пушкин за малейшую против него неосторожность готов был отплатить эпиграммой или вызовом на дуэль. В самой наружности его было много особенного: он то отпускал кудри до плеч, то держал в беспорядке свою курчавую голову; носил бакенбарды большие и всклокоченные, одевался небрежно, ходил скоро, повертывал тросточкой или хлыстиком, насвистывая или напевая песенку. В свое время многие подражали ему, и эти люди назывались a la Пушкин… Он был первым поэтом своего времени и первым шалуном… Между прочим, в нем оставалась студенческая привычка — не выставлять ни знаний, ни трудов своих. От этого многие в нем обманывались и считали его талантом природы, не купленным ни размышлением, ни ученостью, и не ожидали от него ничего великого. Но в тишине кабинета своего он работал более, нежели думали другие… В обществах на него смотрели, как на человека, который ни о чем не думал и ничего не замечал; в самом деле, он постоянно терялся: в мелочах товарищеской беседы и равно был готов вести бездельный разговор и с умным и с глупцом, с людьми почтенными и самыми пошлыми, но он все видел, глубоко понимал вещи, замечал каждую черту характера и видел насквозь людей. Чего другие достигали долгим учением и упорным трудом, то он светлым своим умом схватывал налету. Не показываясь важным и глубокомысленным, слывя ленивцем и праздным, он собирал опыты жизни и в уме своем скопил неистощимые запасы человеческого сердца.

Ветреность была главным, основным свойством характера Пушкина. Он имел от природы душу благородную, любящую и добрую. Ветреность препятствовала ему сделаться человеком нравственным, и от этой же ветрености пороки не глубоко пускали корни в его сердце» (М. М. Попов, чиновник III Отделения).

Несомненно, что Наталья Ивановна, сама пережившая на

своем недолгом веку немало трагедий, не могла согласиться с тем, чтобы будущий муж ее дочери-красавицы стал бы собирать «опыты» с ее молодой девственной жизни. Сердце матери подсказывало, что маловероятно счастье девушки, воспитанной в строгой религиозности, с человеком широко известных «свободолюбивых» взглядов.

Вспомним, на дворе была первая треть XIX века и подобное мировоззрение было скорее исключением, чем правилом. И исключением дерзким. За поэтический бунт против установленного порядка государственной жизни Пушкин дважды подвергался длительной ссылке. Несмотря на это он с огромной поэтической силой распространял свои религиозные заблуждения, веря в слепой и неотвратимый рок, довлеющий над каждым человеком и жестоко смеющийся над ним…

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

26 мая 1828 года в день 29-летия

Суеверие Пушкина и глубокая вера Натали могли ужиться только в одном случае — если бы Бог благословил их обоюдной взаимной любовью… Но могла ли на это с самого начала надеяться мать?

Не символично ли, что именно накануне свадьбы Московский митрополит Филарет (причисленный в XX веке к лику святых) ответил Пушкину на его «Дар напрасный», переиначив его же стихи и придав новому порядку слов смысл, заключающийся в том, что человек сам становится источником своих страданий, отступая от Бога, и снова обретает душевный мир и покой, возвращаясь в Его лоно. Пушкину еще только предстоял этот путь, помочь осилить который суждено было его Натали…

Не напрасно, не случайно,
Жизнь от Бога нам дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью
Ум сомненьем взволновал…

Как бы то ни было, но Наталья Ивановна, к счастью, не отвергла навсегда руку искателя сердца ее дочери, поэта гениального, но опального, душу благородную, но развращенную ветреностью и пороками. Нужно было время, чтобы понять, куда в действительности, а не в очередном порыве, склонится сердце поэта. Ему, пожалуй, и самому еще было неясно, к какому берегу прибиться. Потребовались два года, чтобы Пушкин твердо и осознанно остановил свой выбор на суженой, с которой он смело вступил на корму семейного корабля, дабы плыть на нем по бурному житейскому морю дальше…

В поисках суженой

«Пушкин — наше всё», — высказался однажды поэт и критик Аполлон Григорьев, и мы с тех пор горделиво повторяем в разных вариантах эту фразу, забывая, что всё — не только слава, гений, душевное многоцветие, полнота эмоций, поэтическое вдохновение, стремление к истине, идеал гармонического восприятия мира, но и — падения, ошибки, тяжкие грехи, утрата смысла жизни, ожесточенная внутренняя борьба и нередкие поражения в ней. Всё на то и всё, что всего намешано в нем: хорошего и дурного, светлого и темного. Это всё мы постараемся рассмотреть не для осуждения, но ради того, чтобы разобраться в смысле той трагедии, которая в конце жизни произошла с Пушкиным и которая вовлекла в свою орбиту множество других людей, судьбы которых внезапно изменились. Постараемся шаг за шагом проследить за развитием грозных событий, начиная с неудавшихся попыток Пушкина найти себе жену до встречи с Натальей Гончаровой.

Итак, устав от своей собственной жизни после бурно проведенной молодости, в которой было от чего закружиться голове: привилегированный Лицей, ранний поэтический успех, благословленный «стариком Державиным», быстрая слава на всю Россию, южная ссылка, сделавшая невольно поэта признанным «мучеником за идею», вступление в тайное общество — как следующий этап «избранничества» и при этом — заботы искренних друзей и необыкновенный успех у женщин.

Все девушки, которых Пушкин намечал себе в невесты, начиная с 1826 года, относились приблизительно к одному и тому же типу: молоденькие барышни из хорошего московского или петербургского общества, красивые, развитые, хорошо воспитанные и вместе с тем совсем юные существа, мотыльки и лилеи, каковых он намеревался со временем воспитать по своим меркам.

В 1826 году тогдашнее общество находилось под свежим впечатлением от декабрьских событий на Сенатской площади Петербурга и вызванных ими многочисленных арестов декабристов и их сообщников… Пушкин в это время находился в ссылке в Михайловском. В ночь на 4 сентября 1826 года присланный губернатором чиновник неожиданно явился в Михайловское и увез Пушкина во Псков. Там его уже ожидал фельдъегерь, немедленно ускакавший с поэтом в Москву, к государю.

«Фельдъегерь внезапно извлек меня из моего непроизвольного уединения, привезя по почте в Москву, прямо в кремль, и всего в пыли ввел в кабинет императора, который сказал мне: «А, здравствуй, Пушкин, доволен ли, что возвращен?» Я отвечал, как следовало в подобном случае. Император долго беседовал со мной и спросил меня: «Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14 декабря?» — «Неизбежно, государь; все мои друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них. Одно отсутствие спасло меня, и я благодарю Небо за то». — «Ты довольно шалил, — возразил император, — надеюсь, что теперь ты образумишься и что размолвки вперед у нас не будет…» (рассказано Пушкиным).

«Что бы вы сделали, если бы 14 декабря были в Петербурге?» — спросил я между прочим. — «Был бы в рядах мятежников, — отвечал он, не запинаясь. Когда потом я спрашивал его: переменился ли его образ мысли и дает ли мне он слово думать и действовать впредь иначе, если я пущу его на волю, он очень долго колебался и только после длинного молчания протянул мне руку с обещанием сделаться иным. И что же? Вслед за тем он без моего позволения и ведома уехал на Кавказ!» (рассказано государем Николаем I).

Эта историческая встреча нового императора и поэта произошла 8 сентября и положила начало их личным многолетним отношениям и взаимной симпатии. Государь же после той встречи сказал приближенным, что «разговаривал с умнейшим человеком России». Следствием встречи была монаршая милость, выраженная в официальном письме А. Х. Бенкендорфа от 30 сентября 1826 года:

«Милостивый государь Александр Сергеевич!

Я ожидал прихода вашего, чтоб объявить высочайшую волю по просьбе вашей, но, отправляясь теперь в С. Петербург и не надеясь видеть здесь, честь имею уведомить, что Государь император не только не запрещает приезда вам в столицу, но предоставляет совершенно на вашу волю с тем только, чтобы предварительно испрашивали разрешения чрез письмо.

Его величество совершенно остается уверенным, что вы употребите отличные способности ваши на передание потомству славы вашего Отечества, передав вместе бессмертию имя ваше. В сей уверенности Его императорскому величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметом о воспитании юношества. Вы можете употребить весь досуг, вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить ваши мысли и соображения; и предмет сей должен представить тем обширнейший круг, что на опыте видели совершенно все

пагубные последствия ложной системы воспитания.

Сочинений ваших никто рассматривать не будет, на них нет никакой цензуры: Государь император сам будет и первым ценителем произведений ваших, и цензором.

Объявляя вам сию монаршую волю, честь имею присовокупить, что как сочинения ваши, так и письма можете для предоставления Его величеству доставлять ко мне; но впрочем от вас зависит и прямо адресовать на высочайшее имя.

Примите при сем уверение в истинном почтении и преданности, с которым имею честь быть ваш покорный слуга А. Бенкендорф».

Друзья поздравляли Пушкина, радовались счастливой перемене его судьбы. Москва ликовала по случаю коронации Николая I. Недавний отшельник Пушкин не в силах справиться с нахлынувшим на него потоком новых, живительных впечатлений. Жизнь его превратилась в нескончаемый триумфальный праздник. Мицкевич сравнивал его с Шекспиром, другие друзья даже не знали, с кем его сравнивать и провозгласили его несравненным…

Именно на гребне этой славы в 1826 году Пушкин, пробыв полтора месяца в Москве, успел влюбиться в С. Ф. Пушкину и сделать ей предложение. Переменилась его судьба, эту перемену хотелось закрепить, создав свой дом. Он пытается убедить самого себя, что его чувство к Софии серьезно, и изливает его в письме к другу: «.. Но раз уж я застрял в псковском трактире, вместо того, чтобы быть у ног Софи, — поболтаем, т. е. поразмыслим.

Мне 27 лет, дорогой друг. Пора жить, т. е. познать счастье. Ты говоришь мне, что оно не может быть вечным: хороша новость! Не личное мое счастье заботит меня, могу ли я возле нее не быть счастливейшим из людей, — но я содрогаюсь при мысли о судьбе, которая, может быть, ее ожидает — содрогаюсь при мысли, что не могу сделать ее счастливой, как мне хотелось бы. Жизнь моя, доселе такая кочующая, такая бурная, характер мой — неровный, ревнивый, подозрительный, резкий и слабый одновременно — вот что иногда наводит меня на тягостные раздумья. — Следует ли мне связать с судьбой столь печальной, с таким несчастным характером — судьбу существа такого нежного, такого прекрасного?.. Бог мой, как она хороша! И как смешно было мое поведение с ней! Дорогой друг, постарайся изгладить дурное впечатление, которое оно могло на нее произвести, — скажи ей, что я благоразумнее, чем выгляжу, а доказательство тому — что тебе в голову придет… Если она находит, что Панин прав, она должна считать, что я сумасшедший, не правда ли? — объясни же ей, что прав я, что, увидав ее хоть раз, уже нельзя колебаться, что

у меня не может быть притязаний увлечь ее, что я, следовательно, прекрасно сделал, пойдя прямо к развязке, что, раз полюбив ее, невозможно любить ее еще больше, как невозможно с течением времени найти ее еще более прекрасной, потому что прекрасней невозможно…»

Пушкин влюбился и сразу же решил сделать предложение.

«Боже мой, как она красива, и до чего нелепо было мое поведение с ней. Мерзкий этот Панин! Знаком два года, а свататься собирается на Фоминой неделе; а я вижу ее раз в ложе, в другой на бале, а в третий сватаюсь», — признается Пушкин. Благоразумная Софи не прельстилась громкой славой поэта и отдала предпочтение «мерзкому Панину», став вскоре его невестой.

Поэт, который, казалось, еще недавно горел любовной страстью к Софи, быстро утешился и никогда впоследствии не вспоминал о ней. Многих красавиц обессмертил в своих стихах Пушкин, но первой избраннице он не посвятил ни строчки…

Вскоре появился новый предмет поклонения. Зимой тех же 1826–27 годов С. А. Соболевский представил на балу Пушкину свою дальнюю родственницу Екатерину Ушакову и вскоре привез поэта в дом на Пресне, который был одним из самых хлебосольных и гостеприимных в целой Москве. Многими чертами своего быта эта семья напоминала Ростовых из «Войны и мира». На четыре года, до самой помолвки Пушкина, семья Ушаковых стала для него одной из самых близких в Москве, здесь он появлялся постоянно во время приездов в древнюю столицу. Из двух сестер Ушаковых младшая — Елизавета — была красивее, но, к счастью, она была влюблена в доброго знакомого Пушкина С. Д. Киселева, за которого впоследствии и вышла замуж. С Елизаветой у Пушкина романа быть просто не могло. Он заинтересовался старшей — Екатериной. «Меньшая очень хорошенькая, а старшая чрезвычайно интересует меня, — писала одна москвичка в 1827 году, — потому что, по-видимому, наш знаменитый Пушкин намерен вручить ей судьбу жизни своей, ибо уже положил оружие свое у ног ее, т. е. сказать просто, влюблен в нее. Это общая молва, а глас народа — глас Божий. Еще не видевши их, я слышала, что Пушкин во все пребывание свое в Москве только и занимался, что N., на балах, на гуляньях он говорит только с нею, а когда случается, что в собрании N. нет, Пушкин сидит целый вечер в углу, задумавшись, и ничто уже не в силах развлечь его… Знакомство же с ними удостоверило меня в справедливости сих слухов. В их доме все напоминает о Пушкине: на столе найдете его сочинения, между нотами «Черную шаль» и «Цыганскую песню», на фортепьяно его «Талисман»… В альбомах

несколько листочков картин, стихов и карикатур, а на языке вечно вертится имя Пушкина».

Эта зима была счастливейшей в жизни Екатерины Ушаковой. Пушкин ездил чуть ли не каждый день, они читали стихи, слушали музыку, дурачились и заполняли бесконечными карикатурами и стихотворными надписями альбомы Екатерины и Елизаветы.

Впоследствии, когда Ек. Н. Ушакова сделалась г-жой Наумовой, молодой муж сильно ревновал к ее девическому прошлому, уничтожил браслет, подаренный ей поэтом, и сжег все ее альбомы. Зато альбом ее сестры Елизаветы Николаевны благополучно сохранился. Он особенно любопытен, ибо именно здесь, среди многочисленных карикатур, находятся обе части «Дон-Жуанского списка», в который Пушкин — в шутку или нет — внес имена женщин, в которых был влюблен. На последнем месте длинного списка поставлена Наталья — будущая жена поэта, его «113 любовь». Список был составлен в 1829–30 годах, а в 1827 году влюбленная в Пушкина Екатерина Ушакова ждала от него предложения. Но в мае он уехал, думая, что ненадолго, а получилось — на полтора года. «Он уехал в Петербург, может быть, он забудет меня; но нет, нет, будем лелеять надежду, он вернется, он вернется безусловно», — писала брату Екатерина. Перед отъездом из Москвы Пушкин написал в ее альбом стихотворение, в котором он выразил искреннее чувство, что вернется таким же, каким уезжает…

В отдалении от вас
С вами буду неразлучен,
Томных уст и томных глаз
Буду памятью размучен;
Изнывая в тишине,
Не хочу я быть утешен, —
Вы ж вздохнете ль обо мне,
Если буду я повешен?

Но в Петербурге новое девичье личико завладело его фантазией, и он готов был простить Петербургу его холод, гранит, скуку, потому что там:

Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой.

Обладательницей этой ножки была Анна Алексеевна

Оленина, дочь А. Н. Оленина, директора Публичной библиотеки и президента Академии художеств. Это был человек любезный и просвещенный, с большим артистическим вкусом, искусный рисовальщик, украсивший своими заставками и виньетками первое издание «Руслана и Людмилы».

Олениных приглашали к себе лучших, интереснейших людей эпохи. Друзья семьи особенно любили бывать у них на даче в Приютине — в пригороде Петербурга. Дом окружал романтический парк, в котором были построены специальные флигеля для многочисленных гостей.

Среди них были Г. Р. Державин, А. Мицкевич, В. А. Жуковский — поэты, читавшие свои стихи. М. И. Глинка часто играл свои произведения, нервные пальцы А. С. Грибоедова слегка касались клавикордов. Художники О. Кипренский, братья Карл и Александр Брюлловы, П. Ф. Соколов, Г. Г. Гагарин создали многочисленные портреты хозяев и их гостей. О. Монферран и П. В. Басин обсуждали постройку Исаакиевского собора. А. Воронихин и К. Тон немало способствовали украшению самого приютинского дома. Знаменитый театральный декоратор П. Гонзако нарисовал для Приютинского домашнего театра декорации и занавес.

Анет Оленина с детства была избалована вниманием знаменитостей.

25 мая 1827 года, накануне дня своего рождения, поэт возвратился после ссылки в Петербург. «Все мужчины и женщины старались оказывать ему внимание, которое всегда питают к гению. Одни делали это ради моды, другие — чтобы иметь прелестные стихи и приобрести благодаря этому репутацию, иные, наконец, вследствие нежного почтения к гению…» — записала в своем дневнике Анет.

В первых числах июня 1828 г. Пушкин услышал у Олениных привезенную с Кавказа Грибоедовым и обработанную Глинкой грузинскую мелодию. Анна Оленина прекрасно пела ее тогда. Под впечатлением этой дивной грузинской мелодии, очарованный голосом Анет, Пушкин написал изумительное:

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальний.

Увы! напоминают мне
Твои жестокие напевы

И степь, и ночь — и при луне
Черты далекой, бедной девы…

Я призрак милый, роковой,
Тебя увидев, забываю;
Но ты поешь — и предо мной
Его я вновь воображаю.

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальний.

«Девица Оленина довольно бойкая штучка: Пушкин называет ее «драгунчиком» и за этим драгунчиком ухаживает»[1], — сообщает кн. Вяземский жене. В другом письме: «Пушкин думает и хочет дать думать ей и другим, что он в нее влюблен… и играет ревнивого».

На полях рукописей Пушкина той поры в изобилии встречается имя Олениной: по-русски, по-французски, в обратном чтении и т. п.

Он и на людях всячески показывал свою влюбленность, однако его обожаемая Анет вела дневник, где чувства пропускала через рассудок и выходило, что она «не из тех романтических особ», которые могут «потерять голову», и каким бы лестным не было ухаживание Пушкина, замужество с ним нельзя назвать «большой партией».

«Итак все, что Аннета могла сказать после короткого знакомства, есть то, что он (Пушкин. — Н.Г.) умен, иногда любезен, очень ревнив, несносно самолюбив и неделикатен…»

При этом, однако, роман продолжался все лето.

11 августа 1828 года Анете исполнилось 20 лет. В дневнике запись: «Стали приезжать гости. Приехал премилый Сергей Голицын, Крылов, Гнедич, Зубовы, милый Глинка, который после обеда играл чудесно и в среду придет дать мне первый урок пения. Приехал, по обыкновению, Пушкин… Он влюблен в Закревскую, все об ней толкует, чтоб заставить меня ревновать, но притом тихим голосом прибавляет мне разные нежности…»

Праздники шли чередом. 5 сентября были именины Елизаветы, матери Анны Олениной. «Прощаясь, Пушкин мне сказал, что он должен уехать в свое имение, если, впрочем, у него хватит духу, прибавил он с чувством». После этого в дневнике Анет больше не встречается имя Пушкина. Он перестал посещать

дом Олениных, но в обществе ходили слухи, что поэт сватался и получил отказ. Мать решительно и резко ему отказала, как человеку неблагонадежному: началось следствие по «Гавриилиаде», глава семейства Алексей Николаевич был в числе разбирающих это дело. Пушкин опять оказался поднадзорным.

Спустя полвека Анна Алексеевна говорила своему племяннику: «Пушкин делал мне предложение». — «Почему же вы не вышли?» — «Он был вертопрах, не имел никакого положения и, наконец, не был богат». Однако она с теплотой говорила о его блестящих дарованиях.

«Я пустился в свет, потому что бесприютен», — жаловался Вяземскому Пушкин. Непревзойденный каламбурист Вяземский отвечал поэту: «Ты говоришь, что бесприютен: разве уж тебя не пускают в Приютино?» После «Гавриилиады» Пушкина туда действительно «пускали» неохотно.

Шутки шутками, но обида поэту была нанесена немалая, и он совершил акт «поэтического мщения». В декабре 1829 года, спустя почти полтора года после «отставки», Пушкин принялся за 8 главу «Евгения Онегина». В гостиную княгини Татьяны поэт «привел» семейство Олениных. Поначалу гостья была так и названа Annete Olenine, затем Пушкин превратил ее в Лизу Лосину; в конце концов появился еще вариант, более похожий на едкую эпиграмму:

Тут… дочь его была
Уж так жеманна, так мала,
Так неопрятна, так писклива,
Что поневоле каждый гость
Предполагал в ней ум и злость.

К счастью, все это были черновые варианты и в бессмертную поэму не вошли…

Итак, получив отказ от родителей Олениной, или сам отступив в последнюю минуту, наподобие гоголевского Подколесина, Пушкин в конце 1828 года вернулся в Москву, с намерением возобновить свои ухаживания за Екатериной Ушаковой. Но здесь ожидала его новая неудача. «При первом посещении пресненского дома узнал он плоды собственного непостоянства: Екатерина Николаевна помолвлена за князя Д-го.

— С чем же я остался? — вскрикивает Пушкин.

— С оленьими рогами, — отвечает ему невеста.

Впрочем, этим не окончились отношения Пушкина к бывшему своему предмету. Собрав сведения о Д-ом, он упрашивает Н. В. Ушакова (отца невесты) расстроить эту свадьбу.

Доказательства о поведении жениха, вероятно, были очень явны, потому что упрямство старика было побеждено, а Пушкин по-прежнему остался другом дома» (из воспоминаний племянника Ек. Н. Ушаковой).

Екатерина Николаевна дождалась Пушкина и вновь надеялась… В ее альбоме появились карикатуры на Оленину. И вдруг — перед Новым, 1829 годом на рождественском балу Пушкин встретил свою настоящую любовь — Натали, обладательницу имени, ставшего последним в «Дон-Жуанском» списке.

Пушкин не скрывал своего нового увлечения от сестер Ушаковых, оно затмило все бывшие привязанности до такой степени, что перед своим отъездом на Кавказ он почти каждый день ездил на Пресню к Ушаковым с намерением… дважды проехаться по Большой Никитской мимо окон Гончаровых. Екатерине пришлось смириться с ролью преданного друга Пушкина, с которой поэт обсуждал подробности взаимоотношений со своей новой пассией. В альбоме появился новый персонаж, к которому обращены взоры Пушкина и его протянутая рука, держащая письмо. Рядом приписка: «Каре, Каре, брат! Брат, Каре!» Та же особа была нарисована на другой картинке под подписью: «О горе мне! Каре! Каре! Прощай, бел свет! Умру!» Все эти возгласы сестры Ушаковы как бы вложили в уста терзаемого муками неразделенной любви к Натали Пушкина. Каре — название неприступной турецкой крепости…

Даже и в 1830 г. московские сплетницы, а заодно с ними и многие приятели Пушкина считали, что он мечется между Старой Пресней и Большой Никитской. Однако к тому времени «участь его была решена» и поэт просто не находил себе места в ожидании окончательного ответа «маменьки Карса» Наталии Ивановны Гончаровой. В ушаковском альбоме она выведена в образе пожилой особы в чепце.

Незадолго до помолвки Пушкина с Гончаровой Екатерина Ушакова не без горечи писала брату: «Каре все так же красива, как и была, и очень с нами предупредительна, но глазки ее в большом действии, ее А. А. Ушаков (генерал-майор, родственник Ушаковых — Н. Г.) прозвал Царство Небесное, но боюсь, чтобы не ошибся, для меня она сущее Чистилище. Карсы (три сестры Гончаровы. — Н. Г.) в вожделенном здравии. Алексей Давыдов был с нами в собрании и нашел, что Каре глупенькая, он, по крайней мере, стоял за ее стулом в мазурке более часу и подслушивал ее разговор с кавалером, но только и слышал из ее прелестных уст: да-с, нет-с. Может быть, она много думает или представляет роль невинности».

Вот с каких пор стали судить о Натали: может, «Царство Небесное», может, «глупенькая, представляющая роль невинности». Надо полагать, что непозволительная бестактность гения, бывало, ранившая самолюбие и сокровенные чувства «обычных» людей, часто являлась причиной, что на его «Мадонну» сразу же было направлено пристальное и не всегда милостивое внимание окружающих. Три его незавершившиеся браком жениховства показали свету, что он вовсе не завидная партия для девушек из «приличного общества». В самом деле, каковы его преимущества? Ни внешности, ни богатства. Разве что оригинальный характер, но зараженный пороками, да слава великого поэта — скандальная и переменчивая, да двусмысленное положение пред лицом царя и закона, таившие постоянную возможность неприятных случайностей и резкой перемены судьбы, подобно участи декабристов. Из последних — дело о безбожной поэме «Гавриилиада», которое автора чуть в государственные преступники не определило за пропаганду атеизма…

А на другом полюсе — Натали. Тот же гений мгновенно уловил то непостижимо-прекрасное в ней — молодость, невинность, естественность, прекрасное воспитание и скромность в гармонической совокупности. Откуда такое сокровище! Девушка, принадлежащая к аристократическому кругу, но не зараженная его надменностью и тщеславием, поистине бутон белой лилии, который строгая мать скрывает от нечистых взглядов и держит в дочернем повиновении.

Да, Пушкин, этот сердцеведец и знаток женских прелестей, должен был сразу оценить ее по достоинству. И именно с ней захотелось семейного счастья, дома, как у всех, наполненного детьми и тихими радостями…

Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой.

Постепенно, не сразу, Натали стала занимать главенствующее положение в сердце поэта. Ни к кому больше он не сватался и, хотя за те два года после встречи с Натали были и новые любовные страсти, и лихорадочное возвращение к былым, но уже написано было необыкновенное по силе чувства стихотворение:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

1829

Бесценный автограф стихотворения получила в свой альбом Анна Оленина при расставании с поэтом. Но дерзнем задуматься над более глубоким смыслом этого посвящения. Поэт говорил последнее «прости» всем когда-либо волновавшим его женщинам, готовя себя к роли мужа и отца. Это была новая, неизвестная ему роль, но теперь уже желанная и осознанная. И он совсем не был уверен, сможет ли хорошо сыграть её.

«Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери; я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться; если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца. Но будучи всегда окружена восхищением, поклонением, соблазнами, надолго ли сохранит она это спокойствие? Ей станут говорить, что лишь несчастная судьба помешала ей заключить другой, более равный, более блестящий ее союз; может быть, эти мнения и будут искренни, но уж ей они безусловно покажутся таковыми. Не возникнут ли у нее сожаления? Не будет ли она тогда смотреть на меня как на помеху, как на коварного похитителя? Не почувствует ли она ко мне отвращения? Бог мне свидетель, что я готов умереть за нее; но умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, вольной на другой день выбрать себе нового мужа, — эта мысль для меня — ад».

Откуда эти мысли об аде, ведь с Натали еще не было никакого объяснения… Верно, Пушкин почувствовал несносные угрызения совести, вообразив, каково было тем обманутым мужьям, с чьими женами у него велись амуры. Ревнивец, он в совершенстве владел наукой обольщать, но свой очаг хотел основать на твердом камне добродетели. Судя по всему, ее-то он и нашел и отступаться не собирался.

«Участь моя решена, я женюсь…»

В сентябре 1829 года Пушкин возвратился с Кавказа в Москву и по прибытии сразу нанес визит Гончаровым.

«Сколько мук ожидало меня по возвращении! Ваше молчание, ваша холодность, та рассеянность и безразличие, с каким приняла меня м-ль Натали… У меня не хватило мужества, и я уехал в Петербург в полном отчаянии. Я чувствовал, что сыграл очень смешную роль, первый раз в жизни я был робок, а робость в человеке моих лет никак не может понравиться молодой девушке в возрасте вашей дочери…» (Пушкин — Наталье Ивановне Гончаровой).

Какая это была унылая проза жизни! Ему отказали, в отчаянии он уехал на Кавказ, встретил там свое тридцатилетие, повидался с братом, набрался новых впечатлений, приехал снова в Москву, а тут — немилостивый прием в доме на Никитской, терзаясь неопределенностью своего положения, он отправился в Петербург, там — недовольство царя его кавказской эпопеей, конечно же — слежка… Конечно же — карты, пожирающие неслыханные в тогдашней литературе высокие гонорары…

Но разлука с Натали вызвала к жизни новый шедевр. И он… он не забыл ее, любовь к ней дает новые силы жить!

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой…
Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

Почему же она не дает знать о своем чувстве!

«На днях приехал в Петербург… Адрес мой: у Демута. Что ты? Что наши? В Петербурге тоска, тоска… Кланяйся неотъемлемым нашим Ушаковым. Скоро ли, Боже мой, приеду из Петербурга в Hotel d'angleterre мимо Карса? По крайней мере мочи нет — хочется», — передает свое настроение С. Д. Киселеву Пушкин в ноябре 29-го, а в январе следующего года, потеряв всякую надежду, язвит Вяземскому: «Правда ли, что моя Гончарова выходит за архивного Мещерского? Что делает

Ушакова, моя же? Я собираюсь в Москву, как бы не разъехаться». Пушкин вдруг действительно уехал в Москву, вызвав недоумение и Бенкендорфа, и царя, спросившего у Жуковского: «Какая муха его укусила?» Вяземский также был удивлен неожиданным отъездом друга, хотя догадывался, почему ему не сиделось на месте. И именно Вяземский невольно способствовал развитию дальнейших событий. Зная, что Пушкин влюблен в Натали, он на балу у губернатора поручил некоему И. Д. Лужину, который должен был танцевать с младшей Гончаровой, поговорить с ней и с ее матерью и узнать, что они о нем думают. Мать и дочь отозвались благосклонно и велели кланяться Пушкину. Приехав в Петербург, Лужин передал поклон Пушкину, и тот немедленно собрался в Москву.

Однако Вяземский, несмотря на уверения своей жены, с которой Пушкин был откровенен, не думал, что речь идет о женитьбе. Сохранилось его письмо к княгине Вере. «Ты меня мистифицируешь, заодно с Пушкиным, рассказывая о порывах законной любви его. Неужели он в самом деле замышляет жениться, но в таком случае как же может он дурачиться? Можно поддразнивать женщину, за которою волочишься, прикидываясь в любви к другой, и на досаде ее основать надежды победы, но как же думать, что невеста пойдет, что мать отдаст свою дочь замуж ветренику или фату, который утешается в горе. Какой же был ответ Гончаровых? Впрочем, чем более думаю о том, тем более уверяюсь, что вы меня дурачите».

На Пасху 6 апреля Пушкин сделал Наталье Гончаровой предложение, и оно было принято. Дело было в Москве, и несомненные доказательства этого в Петербурге Вяземский получил только две недели спустя: «Нет, ты меня не обманывала, мы сегодня на обеде у Сергея Львовича выпили две бутылки шампанского, а у него по пустому пить двух бутылок не будут. Мы пили здоровье жениха. Не знаю еще, радоваться ли или нет счастью Пушкина, но меня до слез тронуло письмо его к родителям, в котором он просит благословения их. Что он говорил тебе об уме невесты? Беда, если его нет в ней: денег нет, а если и ума не будет, то при чем же он останется с его ветреной головой?»

Вот это письмо к родителям: «Мои горячо любимые родители, обращаюсь к вам в минуту, которая определит мою судьбу на всю остальную жизнь.

Я намерен жениться на молодой девушке, которую люблю уже год — м-ль Натали Гончаровой. Я получил ее согласие, а также и согласие ее матери. Прошу вашего благословения, не как пустой формальности, но с внутренним убеждением, что это

благословение необходимо для моего благополучия — и да будет вторая половина моего существования более для вас утешительна, чем моя печальная молодость.

Состояние г-жи Гончаровой сильно расстроено и находится отчасти в зависимости от состояния ее свекра. Это является единственным препятствием моему счастью. У меня нет сил даже и помыслить от него отказаться. Мне гораздо легче надеяться на то, что вы придете мне на помощь» (черновое, 6–11 апреля).

«Тысячу, тысячу раз да будет благословен вчерашний день, дорогой Александр, когда мы получили от тебя письмо. Оно преисполнило меня чувством радости и благодарности. Да, друг мой, это самое подходящее выражение. Давно уже слезы, пролитые при его чтении, не приносили мне такой отрады. Да благословит Небо тебя и твою милую подругу жизни, которая составит твое счастье…» — заочно благословили родители, печалясь, что не могут тотчас приехать в Москву и «засвидетельствовать м-ль Гончаровой очень, очень нежную дружбу». Преданные друзья Пушкина, лишь только узнав о помолвке, спешили со своими советами, которые должны были помочь закрепить первый успех при покорении твердыни Карса…

«Я слышал, что будто бы ты писал к Государю о женитьбе. Правда ли? Мне кажется, что тебе в твоем положении и в твоих отношениях с царем необходимо просить у него позволения жениться. Жуковский думает, что хорошо бы тебе воспользоваться этим обстоятельством, чтобы просить о разрешении печатать «Бориса», представив, что ты не богат, невеста не богата, а напечатание трагедии обеспечит на несколько времени твое благосостояние. Может быть, царь и вздумает дать приданое невесте твоей… Прошу рекомендовать меня невесте, как бывшего поклонника ее на балах, а ныне преданного ей дружескою преданностью моею к тебе. Я помню, что говоря с старшею сестрой, сравнивал я Алябьеву с классической красотой, а невесту твою с романтической. Тебе, первому нашему романтическому поэту, и следовало жениться на первой романтической красавице…» — восторженно писал Вяземский. Здесь уместно было бы упомянуть о том, что в одно время с Натали стали «вывозить в свет» другую известную красавицу конца 20-х годов XIX века Александру Алябьеву; поклонники часто не знали, какой из них отдать предпочтение. Пушкин также сравнивал их в 1830 году («К вельможе»):

…влиянье красоты
Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты
И блеск Алябьевой и прелесть Гончаровой.

Сравнивал, но ни на миг не увлекся Алябьевой, отдав сразу предпочтение Гончаровой. Она, по словам современников, являла полную противоположность Алябьевой и многим другим красавицам «пониже рангом» полным отсутствием кокетства и заносчивости.

Пушкин по совету Вяземского обратился с письмом к Бенкендорфу, уверяя, что «Г-жа Гончарова боится отдать дочь за человека, который имел бы несчастье быть на дурном счету у Государя».

Начальник III отделения собственной его величества канцелярии вскоре ответил Пушкину.

«Милостивый государь.

Я имел счастье представить Государю письмо от 16-го сего месяца, которое Вам угодно было написать мне. Его императорское величество с благосклонным удовлетворением принял известие о предстоящей Вашей женитьбе и при том изволил выразить надежду, что вы хорошо испытали себя перед тем, как предпринять этот шаг, и в своем сердце и характере нашли качества, необходимые для того, чтобы составить счастье женщины, особенно женщины столь достойной и привлекательной, как м-ль Гончарова.

Что же касается вашего личного положения, в которое Вы поставлены правительством, я могу лишь повторить то, что говорил Вам много раз; я нахожу, что оно всецело соответствует Вашим интересам! в нем не может быть ничего ложного и сомнительного, если только Вы сами не сделаете его таковым. Его императорское величество в отеческом о Вас, милостивый государь, попечении, соизволил поручить мне, генералу Бенкендорфу, — не шефу жандармов, а лицу, коего он удостоивает своим доверием, — наблюдать за Вами и наставлять Вас своими советами: никогда никакой полиции не давалось распоряжения иметь за Вами надзор. Советы, которые я, как друг, изредка давал Вам, могли пойти Вам лишь на пользу, и я надеюсь, что с течением времени Вы будете в этом всё больше и больше убеждаться. Какая же тень падает на Вас в этом отношении? Я уполномачиваю Вас, милостивый государь, показать это письмо всем, кому найдете нужным.

Что же касается трагедии Вашей о Годунове, то его императорское величество разрешает Вам напечатать за Вашей личной ответственностью.

В заключение примите мои искреннейшие пожелания в смысле будущего вашего счастья, и верьте моим лучшим к вам

чувствам.

Преданный Вам А. Бенкендорф».

Рухнули, кажется, последние бастионы на пути Пушкина к полному счастью: Бенкендорф в своем ответе, блестяще обойдя щекотливый вопрос тайного надзора правительства, заверил адресата в высказанном Самодержцем желании покровительствовать будущему семейству поэта. Как известно, Николай Павлович не отделался формальными намерениями и впоследствии заботился о Пушкиных в самые бедственные для них времена.

«Сказывал ты Катерине Андреевне о моей помолвке? — спрашивал Пушкин у Вяземского. — Я уверен в ее участии, но передай мне ее слова — они нужны моему сердцу и теперь не совсем счастливому…»

Странно слышать это признание спустя всего лишь месяц после помолвки. В чем дело? Пушкин принял решение жениться, полюбил девушку, сделал предложение и не был отвергнут… Сам же говаривал в те дни знакомым: «Пора мне остепениться; ежели не сделает этого жена моя, то нечего уже ожидать от меня». Но по силам ли подобная «миссия» — «остепенить» признанного поэта — романтической красавице Натали? Та ли это женщина? Сущее несчастье было Пушкину терзаться подобными сомнениями, когда он возжаждал обновления своей души!.. Рассеять сомнения, возможно, могла лишь Екатерина Андреевна Карамзина, пятидесятилетняя опытная женщина, относившаяся к Пушкину нежно и преданно. «Я очень признательна, что Вы подумали обо мне в первые же минуты Вашего счастья, это — истинное доказательство Вашей дружбы. Я повторяю мои пожелания, или, скорее, надежду, что Ваша жизнь станет столь же сладостной и спокойной настолько же, насколько до этой поры была мрачной и бурной, и что избранная вами нежная и прекрасная подруга будет Вашим ангелом-хранителем, что сердце Ваше, всегда такое доброе, очистится возле Вашей молодой супруги». Отметим, что вечера в доме Е. А. Карамзиной были единственными в Петербурге, где не играли в карты и где говорили по-русски…

Первым литературным наброском Пушкина после помолвки был тот, в котором он выразил свои надежды и сомнения последнего времени:

«Участь моя решена. Я женюсь…

Та, которую любил я целые два года, которую везде первую отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством — Боже мой — она… почти моя.

Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей. Ожидание последней заметавшейся карты,

угрызение совести, сон перед поединком, — всё это в сравнении с ним ничего не значит…

Я женюсь, то есть я жертвую независимостию, моею беспечной, прихотливой независимостию, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством.

Я готов удвоить жизнь и без того неполную. Я никогда не хлопотал о счастии, я мог обойтиться без него. Теперь мне нужно на двоих, а где мне взять его?..

Все радуются моему счастию, все поздравляют, все полюбили меня. Всякий предлагает мне свои услуги: кто свой дом, кто денег взаймы, кто знакомого бухарца с шалями… Молодые люди начинают со мной чиниться: уважают во мне уже неприятеля. Дамы в глаза хвалят мне мой выбор, а заочно жалеют о моей невесте: «Бедная! Она так молода, так невинна, а он такой ветреный, такой безнравственный…»

«Наша свадьба точно бежит от меня…»

Бытует мнение, что Натали не была даже увлечена Пушкиным до свадьбы и подчинилась решению матери — лишь бы поскорее выскользнуть из сурового родительского дома. Документальных свидетельств в подтверждение этого нет, однако сохранилось письмо, которое Натали написала любимому дедушке. Судя по этому письму, трудно упрекнуть ее в безразличии сердца к будущему мужу.

«Любезный дедушка! Узнав… сомнения ваши, спешу опровергнуть оные и уверить вас, что все то, что сделала маменька, было согласно с моими чувствами и желаниями. Я с прискорбием узнала те худые мнения, которые вам о нем внушают, и умоляю вас по любви вашей ко мне не верить оным, потому что они суть не что иное, как лишь низкая клевета. В надежде, любезный дедушка, что все ваши сомнения исчезнут при получении сего письма и что вы согласитесь составить мое счастье, целую ручки ваши и остаюсь всегда покорная внучка ваша Наталья Гончарова 5 мая 1830».

Днем раньше жених с невестой были в театре, «ездили смотреть Семенову» в пьесе Коцебу, о чем сохранилось упоминание современницы. Новость переходила в разряд «площадных»: «…В числе интересных знакомых были Гончарова с Пушкиным. Судя по его физиономии, можно подумать, что он досадует на то, что ему не отказали, как он предполагал. Уверяют, что они помолвлены, но никто не знает, от кого это известно; утверждают кроме того, что Гончарова-мать сильно противилась свадьбе своей дочери, но что молодая девушка ее склонила. Она кажется очень увлеченной своим женихом, а он с виду так же холоден, как и прежде, хотя разыгрывает из себя сентиментального…» В светских салонах Петербурга не то, чтобы гудели, но оживленно обсуждали намечавшуюся свадьбу. «Здесь все спорят: женится ли он? Не женится? И того и смотри, что откроются заклады о женитьбе его, как о вскрытии Невы».

События, между тем, развивались своим чередом. В конце мая Пушкин со своей невестой съездили в Полотняный Завод представиться главе гончаровского семейства Афанасию Николаевичу. Он дал свое согласие на свадьбу, сроки которой ставились в зависимость от решения материальных дел Гончаровых.

Пушкин пробыл в гостях у Афанасия Николаевича дня три и возвратился в Москву. «Итак, я в Москве, — тотчас по возвращении написал он невесте, — такой печальной и скучной,

когда Вас там нет. У меня не хватило духу проехать по Никитской, еще менее — пойти узнать новости у Аграфены. Вы не можете себе представить, какую тоску вызывает во мне Ваше отсутствие. Я раскаиваюсь в том, что покинул Завод — все мои страхи возобновляются, еще более сильные и мрачные. Мне хотелось бы надеяться, что это письмо не застанет Вас в Заводе. Я отсчитываю минуты, которые отделяют меня от вас».

Уже и о «страхах» Пушкина знала невеста, очевидно, они много и интенсивно общались, а те прогулки по великолепному гончаровскому парку на Полотняном предоставили возможность по-настоящему сблизиться душевно.

В 1880 году в имении все еще находился альбом, напоминающий об этих счастливых днях, о нем сообщил В. П. Безобразов, побывавший в Заводе. «Я читал в альбоме стихи Пушкина к невесте и ее ответ — так же в стихах. По содержанию весь этот разговор в альбоме имеет характер взаимного объяснения в любви».

Материальная сторона сватовства была не так благополучна, поэтому день свадьбы был еще даже не намечен.

Выдать дочь замуж без приданого Наталья Ивановна не соглашалась, но денег на это взять было неоткуда. Принадлежавшее ей поместье Яропольц было заложено и приносило мало доходов. Тем не менее она обещала выделить часть Яропольца Натали.

Со стороны отца невесты денег ждать тоже не приходилось. Кроме майората, в который входили калужские фабрики и некоторые поместья, все остальное Афанасий Николаевич, дедушка Натали, давно заложил и перезаложил. Жених просил дать внучке доверенность на получение доходов с выделяемой ей трети имения и заемное письмо, но тем дело и кончилось: ни имений, ни денег любимая Ташенька не получила.

Но нельзя сказать, чтобы дед вовсе не старался… Он решил было «выплавить» приданое для младшей внучки из «медной бабушки» — громоздкой статуи Екатерины II, мертвым грузом лежавшей с тех баснословных времен, когда императрица собиралась посетить Полотняный Завод. Продав статую на переплавку, надеялись выручить до 40 тысяч. Дело поручили Пушкину, а статую перевезли в Петербург и получили высочайшее позволение.

Весь июль Пушкин пробыл в Петербурге, хлопоча о продаже «медной бабушки», об издании «Бориса Годунова» и о передаче части болдинского поместья по разделу перед свадьбой. Друг Вяземский опасается, «чтобы Пушкин не разгончаровался: не то, что влюбится в другую, а зашалится, замотается. В Москве скука

и привычка питают любовь его.»

«К стыду своему признаюсь, что мне весело в Петербурге, и я совершенно не знаю, когда вернусь…» — пишет в Москву жене Вяземского Пушкин. Почти в те же дни своей невесте в Полотняный Завод жених сообщает: «Я мало бываю в свете. Вас ждут там с нетерпением. Прекрасные дамы просят меня показать ваш портрет и не могут простить мне, что его у меня нет. Я утешаюсь тем, что часами простаиваю перед белокурой мадонной, похожей на вас как две капли воды; я бы купил ее, если бы она не стоила 40 000 рублей».

Мало-помалу жених знакомился со своими будущими родственниками…

Встреча с Натальей Кирилловной Загряжской вполне удовлетворила аристократическое чувство Пушкина. «Надо вам рассказать о моем визите к Наталье Кирилловне. Приезжаю, обо мне докладывают, она принимает меня за своим туалетом, как очень хорошенькая женщина прошлого столетия. — Это вы женитесь на моей внучатой племяннице? — Да, сударыня. — Вот как. Меня это очень удивляет, меня не известили, Наташа ничего мне об этом не писала. (Она имела в виду не вас, а маменьку.) На это я сказал ей, что брак наш решен совсем недавно, что расстроенные дела Афанасия Николаевича и Натальи Ивановны и т. д. и т. д. Она не приняла моих доводов; Наташа знает, как я ее люблю, Наташа всегда писала мне во всех обстоятельствах своей жизни, Наташа напишет мне; а теперь, когда мы породнились, надеюсь, сударь, что вы часто будете навещать меня.

Затем она долго расспрашивала о маменьке, о Николае Афанасьевиче, о вас; повторила мне комплименты Государя на ваш счет — и мы расстались очень добрыми друзьями. — Не правда ли, Наталья Ивановна ей напишет?

Я еще не видел Ивана Николаевича (брата Натали. — Н. Г.). Он был на маневрах и только вчера вернулся в Стрельну. Я поеду с ним в Парголово, так как ехать туда одному у меня нет ни желания, ни мужества…

Что поделывает заводская Бабушка — бронзовая, разумеется? Не заставит ли вас хоть этот вопрос написать мне? Что вы поделываете? Кого видите? Где гуляете? Поедете ли в Ростов? Напишите ли мне? Впрочем, не пугайтесь всех этих вопросов, вы отлично можете не отвечать на них, — потому что вы всегда смотрите на меня как на сочинителя…» — не рискнул написать нежностей невесте Пушкин, потому что знал, она была строгих правил. В другом письме он прощался с ней так: «…целую ручки Наталье Ивановне, которую я не осмеливаюсь еще называть маменькой, и вам также, мой ангел, раз вы не позволяете мне

обнять вас. Поклоны вашим сестрицам».

В Парголове на даче жила родная тетка Натали, фрейлина императрицы Екатерина Ивановна Загряжская. Пушкин не имел «ни желания, ни мужества» ехать к ней по той простой причине, что знал о натянутых отношениях сестер Натальи Ивановны и Екатерины Ивановны. Неизвестно, как посмотрела бы на этот визит будущая теща, для разговора нужен был свидетель, поэтому Пушкин и дожидался Ивана Николаевича.

Впоследствии чета Пушкиных очень дружила и с Натальей Кирилловной, и с Екатериной Ивановной. Обе эти женщины были добрыми покровительницами красавицы Натали и при том были вхожи в высшие аристократические круги Петербурга, и это особенно льстило самолюбию поэта, который и сам хотел принадлежать к этому обществу.

Источником постоянного раздражения впоследствии было то его двусмысленное положение, когда в светском обществе принимали его не как «законного сочлена; напротив, там глядели на него, как на приятного гостя из другой сферы жизни, как артиста, своего рода Листа или Серве» (К. А. Полевой).

В середине августа Пушкин вернулся в Москву, 20 августа умер дядя — поэт Василий Львович, предстоял сорокадневный траур, свадьба снова откладывалась. Да еще перед отъездом не сдержался, рассорился с Натальей Ивановной: при вспыльчивом характере много ли надо?

С дороги Пушкин писал невесте: «Я уезжаю в Нижний, не зная, что меня ждет в будущем. Если Ваша матушка решила расторгнуть нашу помолвку, а Вы решили повиноваться ей, — я подпишусь под всеми предлогами, какие ей угодно будет выставить, даже они будут так же основательны, как сцена, устроенная мне вчера, и как оскорбления, которыми ей угодно меня осыпать. Быть может, она права, а не прав был я, на мгновение поверив, что счастье создано для меня. Во всяком случае, Вы совершенно свободны, что же касается меня, то заверяю Вас честным словом, что буду принадлежать только Вам или никогда не женюсь».

Ссора матери с женихом расстроила Натали, вдогонку она послала письмо, в котором, судя по всему, уверяла Пушкина в неизменности своих чувств и о сожалениях матери в том, что погорячилась…

Более откровенен Пушкин пока с друзьями, всю накопившуюся горечь этих дней он высказывает П. А. Плетневу, неустанному ходатаю по издательским делам поэта. «Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха тридцатилетнего хуже 30-ти лет жизни игрока.

Дела будущей моей тещи расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я хладею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому же московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери — отселе размолвки, колкие обиняки, ненадежные примирения — словом, если я и не несчастлив, по крайней мере не счастлив. Осень подходит. Это любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет — пора моих литературных трудов настанет — а я должен хлопотать о приданом да о свадьбе, которую сыграем Бог весть когда. Все это не очень утешно. Еду в деревню, Бог весть, буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Каченовского.

Так-то, душа моя. От добра добра не ищут. Черт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостью, которой обязан Богу и тебе. Грустно, душа моя…»

Нижегородские леса отгородили Пушкина от суетных дел мира и волей-неволей оставили единственную возможность успокоиться и обрести душевное спокойствие — взять в руки гусиное перо, которое «просится к бумаге». Поэт весь отдался сочинительству.

Еще по дороге в Болдино Пушкин узнал о холере, надвигавшейся на среднерусские губернии, но назад не поворотил, почувствовав первый прилив вдохновения. Вот и получилось, что ехал Александр Сергеевич в деревню по своим предсвадебным имущественным делам недели на три, а застрял на всю осень — знаменитую Болдинскую осень.

«Наша свадьба точно бежит от меня; и эта чума с ее карантинами — не отвратительнейшая ли это насмешка, какую только могла придумать судьба? Мой ангел, ваша любовь — единственная вещь на свете, которая мешает мне повеситься на воротах моего печального замка (где, замечу в скобках, дед повесил француза-учителя, аббата Николя, которым был недоволен). Не лишайте меня этой любви и верьте, что в ней все мое счастье. Позволяете ли вы обнять вас? Это не имеет никакого значения на расстоянии 500 верст и сквозь 5 карантинов. Карантины эти не выходят у меня из головы. Прощайте, мой ангел», — жаловался невесте Пушкин в конце сентября, а на столе его в Болдино уже лежали написанными «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка», 8-я глава «Евгения Онегина», «Элегия»:

…Но не хочу, о други, умирать;

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

«Въезд в Москву запрещен, и вот я заперт в Болдине. Во имя неба, дорогая Наталья Николаевна, напишите мне, несмотря на то, что вам этого не хочется. Скажите мне, где вы? Уехали ли вы из Москвы? Нет ли окольного пути, который привел бы меня к вашим ногам? Я совершенно пал духом и право не знаю, что предпринять. Ясно, что в этом году нашей свадьбе не бывать. Но не правда ли, вы уехали из Москвы? Добровольно подвергать себя опасностям заразы было бы непростительно…»

Лейтмотивом всех октябрьских писем Пушкина к невесте из Болдина звучало нешуточное беспокойство о том, как бы Натали со своим семейством не стала жертвой эпидемии.

Этот месяц был особенно обилен поэтическими шедеврами, ясно обозначавшими, что года Пушкина «к суровой прозе клонят». Он переживал расцвет своего гения, вехами которого стали меткие по названию и новаторские по языку — чистому, ясному, доступному, повести Белкина: «Выстрел», «Метель» и истинно «драматические произведения» — «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», хрестоматийное теперь:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва…

В ноябре — все еще карантины. Пушкин продолжал работать с неиссякаемым вдохновением. Написаны «История села Горюхина», «Каменный гость», «Пир во время чумы» и навеянное разлукой:

Для берегов отчизны дальней
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал пред тобой.

Мои хладеющие руки
Тебя старались удержать;
Томленья страшного разлуки
Мой стон молил не прерывать…

Дух творца окреп, Пушкин и сам это чувствовал, довольный своим «прилежанием». «Посылаю тебе, барон, вассальскую мою подать, — обращался он к Дельвигу, — именуемую цветочной (для альманаха «Северные цветы». — Н. Г.) по той причине, что платится она в ноябре, в самую пору цветов. Доношу тебе, моему владельцу, что нынешняя осень была детородна, и что коли твой смиренный вассал не околеет от сарацинского падежа, холерой именуемого и занесенного нам крестовыми воинами, т. е. бурлаками, то в замке твоем, «Литературной газете», песни трубадуров не умолкнут круглый год. Я, душа моя, написал пропасть полемических статей, но, не получая журналов, отстал от века, не знаю, в чем дело — и кого надлежит душить, Полевого или Булгарина. Отец мне про тебя ничего не пишет. А это беспокоит меня, ибо я все-таки его сын — т. е. мнителен и хандрлив (каково словечко?). Скажи Плетневу, что он расцеловал бы меня, видя мое осеннее прилежание. Прощай, душа, на другой почте я, может, еще что-нибудь пришлю тебе…

Я живу в деревне как в острове, окруженный карантинами. Жду погоды, чтоб жениться и добраться до Петербурга — но я об этом не смею еще и думать» (4 ноября 1830 г.).

«Хандрливость» Пушкина делала его настроение переменчивым, как направление флюгера в ненастье, хотя, в сущности, его жизненный барометр показывал «ясно». Стесненные обстоятельства, как всегда, привели к необходимости заняться сочинительством, окунуться в «купель, исцеляющую язвы» — в работу, и эта купель восстановила растраченные в суете силы Пушкина…

В «скверном настроении» нападали на него прежние страсти, и он начинал беспричинно ревновать. Вернее сказать — по той причине, что судил малознакомых по себе: до последнего времени Пушкин мог позволить себе изменить женщине ради нового увлечения, то же свойство Пушкин подозревал и в невесте. Хоть и в шутку, но он писал ей, что «отец продолжает писать мне, что свадьба моя расстроилась. На днях он мне, может быть, сообщит, что вы вышли замуж… Есть от чего потерять голову… Прощайте, мой ангел, будьте здоровы, не выходите замуж за г-на Давыдова…»

Пушкин и сам понимал, что беспричинно ревнив, но поделать

ничего не мог с собой. И эта ревность тяжелым отпечатком легла на его дальнейшую семейную жизнь. Еще из Болдина писал он Плетневу: «Как же не стыдно было понять хандру мою, как ты ее понял? Хорош и Дельвиг, хорош и Жуковский. Вероятно, я выразился дурно, но это вас не оправдывает. Вот в чем было дело: теща моя отлагала свадьбу за приданым, а уж конечно не я. Я бесился. Теща начинала меня дурно принимать и заводить со мной глупые ссоры, и это бесило меня. Хандра схватила и черные мысли мной овладели. Неужто я хотел или думал отказаться? но я видел уже отказ и утешался чем попало. Всё, что ты говоришь о свете, справедливо; тем справедливее опасения мои, чтоб тетушки да бабушки, да сестрицы не стали кружить голову молодой жене моей пустяками. Она меня любит, но посмотри, Алеко Плетнев, как гуляет вольная луна…»

Приступы беспричинной ревности охватывали Пушкина все чаще, и он не знал, как с ними справиться. Та единственная, которая могла его успокоить и утешить, была далеко. Вдруг в самый разгар творческого горения он получил от своей невесты упрек в непостоянстве, так что пришлось несколько раз оправдываться: «Как могли вы подумать, что я застрял в Нижнем из-за этой проклятой княгини Голицыной? Знаете ли вы эту кн. Голицыну? Она одна толста так, как все ваше семейство вместе взятое, включая и меня. Право же, я готов снова наговорить резкостей…» (2 декабря 1830 г.)

Повод был дан самим Пушкиным, когда он написал Натали, что «отправился верст за 30 отсюда к кн. Голицыной, чтобы точнее узнать количество карантинов, кратчайшую дорогу и пр. Так как имение княгини расположено на большой дороге, она взялась разузнать все доподлинно…» Мы не знаем, в каком тоне невеста сделала упрек, возможно, что и в шутливом, да Пушкин не понял… В любом случае письмо, заставившее Пушкина оправдываться, свидетельствует о том, что Натали была серьезно влюблена в своего жениха и волновалась, что свадьба столько времени откладывается…

В начале декабря Пушкин наконец вернулся в Москву, заложил Кистенево, получил 38 тысяч, из которых 11 тысяч дал в долг Наталье Ивановне на приданое, 10 тысяч — П. В. Нащокину в долг же, а 17 тысяч оставил «на обзаведение и житье годичное». Продолжался Рождественский пост, венчание было разрешено по церковному уставу только после святок, то есть в следующем году…

«Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах…»

Новый, 1831 год начался с радостного и долгожданного события: вышел в свет «Борис Годунов». Ни одно произведение Пушкина не значило лично для него самого так много, как эта драма, посвященная памяти Николая Михайловича Карамзина. В «Годунове» Пушкин выразил свои заветные взгляды на русскую историю, на роль в ней личности самодержавного царя.

Первые известия об успехе трагедии в Петербурге (в один день разошлись сразу 400 экземпляров) были для автора неожиданной радостью. «Вы говорите об успехе «Бориса Годунова»: право, я не могу этому поверить. Когда я писал его, я меньше всего думал об успехе. Это было в 1825 году, и потребовалась смерть Александра, неожиданная милость нынешнего императора, его великодушие, его широкий и свободный взгляд на вещи, чтобы моя трагедия увидела свет. Впрочем, все хорошее в ней до такой степени мало пригодно для того, чтоб поразить почтенную публику (то есть, ту чернь, которая судит нас), и так легко осмысленно критиковать меня, что я думал доставить удовольствие лишь дуракам, которые могли бы поострить на мой счет» (9 февраля, Пушкин — Е. М. Хитрово).

Предчувствие поэта вскоре оправдалось. Романтические поэмы Пушкина встречались почти единодушными восторженными отзывами критики. На долю «Бориса Годунова» пришлись несправедливые порицания. Не только недоброжелатели, но и некоторые друзья не приняли «Бориса». «Годунов раскупается слабо. Пушкин точно издал его слишком и слишком поздно. Добро бы хоть в эти пять лет поправлял его, а то все прежнее и все не то, чего ожидать следовало» (Языков).

Надеждин в своей статье в «Телескопе» сочувственно цитировал напечатанную в «Северном Меркурии» эпиграмму:

И Пушкин стал нам скучен,
И Пушкин надоел:
И стих его незвучен,
И гений охладел.
«Бориса Годунова»
Он выпустил в народ:
Убогая обнова —
Увы! На Новый год!

К неприятным издевкам добавилось настоящее горе. Вечером 18 января Пушкин получил известие о внезапной смерти нежно любимого друга Антона Дельвига. «Без него мы точно осиротели… Свадебные хлопоты показались мелочными и ненужными перед лицом смерти».

Почт-директор А. Я. Булгаков сообщал: «В городе опять поползли слухи, что Пушкина свадьба расходится: это скоро должно открыться. Середа — последний день, в который можно венчать (перед Великим постом. — Н. Г.). Невеста, сказывают, нездорова. Он был… на бале, отличался, танцевал, после ужина скрылся. — Где Пушкин, я спросил, а Гриша Корсаков серьезно отвечал: «Он ведь был здесь весь вечер, а теперь отправился навестить невесту». Хорош визит в пять часов утра и к больной! Нечего ждать хорошего, кажется, я думаю, что не для нее одной, но для него лучше было бы, кабы свадьба разошлась».

Это письмо было написано 16 февраля, а неделей раньше Пушкин уже написал приятелю Кривцову: «Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах. Мне 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю как люди, и вероятно не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты».

Накануне свадьбы, 17 февраля, Пушкин по старому обычаю устроил мальчишник для прощания с холостой жизнью. Он пригласил друзей в свою новую, заново отделанную квартиру в доме Хитрово на Арбате, куда назавтра должен был привести свою молодую жену.

На мальчишник собрались близкие друзья: Нащокин, князь Вяземский, Денис Давыдов, Баратынский, Языков, Иван Киреевский, брат Левушка.

«Накануне свадьбы у Пушкина был девишник, так сказать, или, лучше сказать, пьянство — прощание с холостой жизнью» (Языков).

Грустный Пушкин уехал перед вечером к невесте. Но на другой день, на свадьбе, все любовались веселостью и радостью поэта и его молодой супруги, которая была изумительно хороша.

Говорили, что 18 февраля, в день свадьбы, Наталья Ивановна

прислала сказать, что все опять придется отложить — нет денег на карету. Жених послал денег. На свадебный фрак Пушкин не стал тратиться — венчался во фраке Нащокина.

Поначалу венчаться хотели в домовой церкви князя С. М. Голицына, однако митрополит Филарет запретил — не положено по уставу. Венчание состоялось в приходе невесты — в церкви Большого Вознесения, что у Никитских ворот. Во время венчания Пушкин, нечаянно задев аналой, уронил крест, когда менялись кольцами, одно упало на пол; погасла свечка; первым устал держать венец шафер жениха. Пушкин решил, что все это дурные предзнаменования, — мысль человека суеверного. Впоследствии он неоднократно повторял, что важнейшие события его жизни совпадали с днем Вознесения Господня: родился в Вознесение, венчался в церкви Вознесения — по его собственным словам, это не могло быть приписано одной лишь случайности.

В церковь старались не пускать посторонних, была на сей случай прислана полиция: событие для Москвы не из обычных.

«Я принимал участие в свадьбе, — вспоминал сын князя Вяземского Павел, которому в ту пору было лет 11, — и по совершении брака в церкви отправился вместе с П. В. Нащокиным на квартиру поэта для встречи новобрачных с образом, в щегольской, уютной гостиной Пушкина, оклеенной диковинными для меня обоями под лиловый бархат с рельефными набивными цветочками».

В квартире на Арбате было пять комнат: зал, гостиная, кабинет, спальня и будуар.

Молодые занимали весь второй этаж.

Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой…

Действительно, поразительная была пара. Тонкая, высокая, стройная, очень красивая особа, с кротким, застенчивым и меланхолическим выражением лица и «потомок негров безобразный», ниже ее на 9 сантиметров и старше на 13 лет, мятежный поэт…

О внешности Пушкина говорили по-разному. Черты лица его не были красивы в общепринятом смысле слова, но в иные времена необыкновенная одухотворенность и сильные чувства, им переживаемые, делали лицо прекрасным. Особенно хороши были глаза поэта — большие, ясные. Добавить сюда ослепительную белозубую улыбку и вьющиеся каштановые волосы да обаяние, возникавшее тотчас, когда Пушкин хотел

понравиться женщине: таким, наверно, видела его Натали, когда влюбилась. Не внешность сама по себе, а яркое свидетельство жизни его живой души, глубокие чувства, отражаемые во внешности, привлекли внимание красавицы.

Красавица Натали была признанная, но и в ее внешности недоброжелатели находили изъяны. Ей сразу же стали приписывать чувства, которых Натали не переживала, и переживания, чуждые ее кроткому нраву.

«Пушкин познакомил меня со своей женой. Не воображайте, однако ж, чтобы это было что-нибудь необыкновенное. Пушкина — беленькая, чистенькая девочка с правильными черными и лукавыми глазами, как у любой гризетки. Видно, что она неловка еще и неразвязна…» (В. И. Туманский).

«Пушкин женится на Гончаровой, между нами сказать, на бездушной красавице», — высказал свое мнение С. Д. Киселев. Возможно, оно было вызвано обидой за несостоявшийся брак с Пушкиным Екатерины Ушаковой, ведь Киселев был мужем ее сестры Елизаветы…

«Они очень довольны друг другом, моя невестка совершенно очаровательна, хорошенькая, красивая и остроумная, а со всем тем добродушная» (О. С. Павлищева, сестра Пушкина).

Далее всех простирался зоркий взгляд Долли Фикельмон: «Поэтическая красота госпожи Пушкиной проникает до самого сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике — эта женщина не будет счастлива, я в этом уверена! Она носит на челе печать страдания. Сейчас ей все улыбается, она совершенно счастлива, и жизнь открывается перед ней блестящая и радостная, а между тем голова ее склоняется и весь облик как будто говорит: «Я страдаю». Но и какую же трудную предстоит нести ей судьбу — быть женою поэта, и такого поэта, как Пушкин» (запись из дневника жены австрийского посланника от 12 ноября 1831 г.).

Со всех сторон на молодых посыпались поздравления.

«Поздравляю тебя, милый друг, с окончанием кочевой жизни, — радовался Плетнев. — Ты перешел в состояние истинно гражданское. Полно в пустыне жизни бродить без цели. Все, что на земле суждено человеку прекрасного, оно уже для тебя утвердилось. Передай искренние мои поздравления Наталье Николаевне: целую ручки».

Ответом Плетневу было признание Пушкина: «Я женат и счастлив, одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось — лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что кажется я переродился» (24 февраля 1831 г.).

Но в ощущениях его молодой жены не все было так

безоблачно. После свадьбы Натали рассказала княгине Вере Вяземской, что ее муж в первый день брака, как встал с постели, так и не видал ее. К нему пришли приятели, с которыми он до того заговорился, что забыл про жену и пришел к ней только к вечеру. Молодая горько плакала, оставшись одна в чужом доме. Спустя полторы недели молодожены устроили у себя свой первый бал.

«Пушкин славный задал вчера бал. И он, и она прекрасно угощали гостей своих. Она прелестна, и они, как два голубка. Дай Бог, чтобы всегда так продолжалось. Много все танцовали, и так как общество было небольшое, то я также потанцовал по просьбе прекрасной хозяйки, которая сама меня ангажировала, и по приказанию старика Юсупова: «и я бы танцовал, если бы у меня были силы», — говорил он. Ужин был славный; всем казалось странным, что у Пушкина, который жил все по трактирам, такое вдруг завелось хозяйство. Мы уехали почти в три часа…» (28 февраля, А. Я. Булгаков).

Новоиспеченных, но уже знаменитых супругов наперебой приглашали в гости: всем хотелось поглядеть на первую красавицу Москвы и первого поэта России. Балы, театр, маскарад в Большом театре, санные катания, устроенные знакомцем Пушкина Пашковым, гости непрерывно сменяли друг друга. Это были развлечения последней перед Великим постом масленичной недели.

На период Великого поста повсеместно закрывались театры, прекращались общественные балы и развлечения, дабы все силы души христианина сосредоточились, по возможности, на внутренней жизни.

По-видимому, глава молодого семейства легкомысленно отнесся к наступившему Великому посту: продолжались шумные встречи с друзьями, неположенные увеселения вкупе со столом, вовсе не постным. Это не могло не огорчать тещу Пушкина, она пыталась как-то увещевать зятя, по словам современницы, «вздумала чересчур заботиться о спасении души своей дочери». Надо заметить, что «чересчур» в этом вопросе не существует… Каждый руководствовался своей правдой, которая открывается человеку по мере веры его. Светское пушкиноведение отводило несчастной Наталье Ивановне роль «мучительницы» Пушкина, которая только то и делала, что «постоянно попрекала его безбожием и безнравственностью, даже скупостью, тем самым ускорив отъезд молодоженов из Москвы».

Однако еще в январе, за месяц до женитьбы, Пушкин писал Плетневу: «Душа моя, вот тебе план моей жизни: я женюсь в сем месяце, полгода проживу в Москве, летом приеду к вам. Я не

люблю московской жизни. Здесь живи не как хочешь, а как тетки хотят».

Нет, «в Москве остаться я никак не намерен, — докладывает Пушкин Плетневу в марте. — …Мне мочи нет хотелось бы к вам не доехать, а остановиться в Царском Селе… Лето и осень таким образом провел бы я в уединении вдохновительном, вблизи столицы, в кругу милых воспоминаний и тому подобных удобностей. А дома ныне, вероятно, там недороги; гусаров нет, двора нет — квартер пустых много. С тобой, душа моя, виделся бы я всякую неделю, с Жуковским также — Петербург под боком — жизнь дешевая, экипажа не нужно». «Мне кажется, что если все мы будем в кучке, то литература не может не согреться и чего-нибудь да не произвести: альманаха, журнала, чего доброго? и газеты!»

Итак, причин было предостаточно, чтобы переехать в Петербург, где сосредоточены милые сердцу приманки: друзья, литературные салоны, придворный, высший и блестящий круг, в котором, по расчетам Пушкина, Натали должна занять подобающее место. Недаром он писал: «Я не потерплю ни за что на свете, чтобы жена моя испытывала лишения, чтобы она не бывала там, где она призвана блистать, развлекаться. Она вправе этого требовать. Чтобы угодить ей, я согласен принести в жертву свои вкусы, всё, чем я увлекался в жизни, мое вольное, полное случайностей существование. И всё же не станет ли она роптать, если положение ее в свете не будет столь блестящим, как она заслуживает и как я того хотел бы?..»

В этом отрывке из письма, написанного Наталье Ивановне накануне помолвки Пушкина, речь шла о средствах, которые необходимы, чтобы вести «блестящий, как она заслуживает» образ жизни. Пушкин искренне обещает «принести в жертву свои вкусы», но, как оказалось, сделать это было ему не под силу. Он продолжал играть, игра его была по большей части несчастлива, отсюда и всегдашняя нехватка достаточных средств в постоянном ожидании внезапного большого выигрыша.

«Пушкин, получив из Опекунского совета до 40 тысяч, сыграл свадьбу и весною 1831 года, отъезжая в Петербург, уже нуждался в деньгах, так что Нащокин помогал ему в переговорах с закладчиком Веером». «Из полученных денег (до 40 тысяч) он заплатил долги свои и, живучи около трех месяцев в Москве, до того истратился, что пришлось ему заложить у еврея Веера женины бриллианты, которые потом и не были выкуплены» (Нащокин).

Наталья Ивановна ни гроша не дала в приданое своей дочери Наталье, с Пушкина же требовала 11 тысяч на приданое… О

каких бриллиантах идет речь? Оказывается, о ее собственных, Натальи Ивановны, бриллиантах.

«Несмотря на свое личное пренебрежение к деньгам, когда становилось чересчур жутко и все ресурсы иссякали, Александр Сергеевич вспоминал об обещанном и не выплаченном приданом жены. Происходил обмен писем между ним и Натальей Ивановной, обыкновенно не достигавшим результата и порождавший только некоторое обострение отношений.

Кончилось тем, что теща, в доказательство своей доброй воли исполнить обещание, прислала Пушкину объемистую шкатулку, наполненную бриллиантами и драгоценными парюрами, на весьма значительную сумму. Несколько дней Наталья Николаевна любовалась уцелевшими остатками гончаровских миллионов[2]. Муж объявил ей, что они должны быть проданы для уплаты долгов, и разрешил сохранить на память только одну из присланных вещей. Выбор ее остановился на жемчужном ожерелье, в котором она стояла перед венцом (стало быть, бриллианты были присланы до свадьбы. — Н.Г.). Оно было ей особенно дорого, и, несмотря на лишения и постоянные затруднения в тяжелые годы вдовства, она сохраняла его, и только крайность заставила его продать графине Воронцовой-Дашковой, в ту пору выдававшей дочь замуж. Не раз вспоминала она о нем со вздохом, прибавляя: «Промаяться бы мне тогда еще шесть месяцев! Потом я вышла замуж, острая нужда отпала навек, и не пришлось б мне с ним расстаться» (А. П. Арапова).

Итак, в апреле Москва Пушкину «слишком надоела», единственная радость, что «женка моя прелесть не по одной наружности». Конечно же поэтому не терпелось представить свою красавицу на суд настоящих ценителей, которые — в Петербурге. И вот уже его отчаянный вопль своему главному столичному корреспонденту Плетневу: «…ради Бога, найми мне фатерку — нас будет: мы двое, 3 или 4 человека да 3 бабы. Фатерка чем дешевле, разумеется, тем лучше — но ведь 200 рублей лишних нас не разорит. Садика нам не будет нужно, ибо под боком у нас будет садище. А нужна кухня да сарай, вот и все. Ради Бога, скорее ж! и тотчас давай нам и знать, что всё-де готово и милости просим приезжать. А мы тебе как снег на голову!..»

И все же Пушкин чувствует себя счастливым. Мечта воплотилась в жизнь, и Пушкин шутливо констатировал: «Жена не то, что невеста. Куда! Жена свой брат!» Свыкнувшись со своим положением женатого человека, он заметил: «Юность не имеет нужды в at home (домашнем очаге), зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен кто находит подругу — тогда удались он домой».

«Смиренница» Натали подарила своему супругу то, чего не получить от «молодых вакханок», расточающих «пылкие ласки» и терзающих свои жертвы «язвами лобзаний». Она давала ему возможность почувствовать себя настоящим мужчиной. Появился на свет новый прочувствованный шедевр любовной лирики…

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, виясь в моих объятиях змией,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий!

О как милее ты, смиренница моя!
О как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склоняяся на долгие моленья,
Ты предаешься мне, нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему
И оживляешься потом все боле, боле
И делишь наконец мой пламень поневоле!

«Она похожа на героиню романа…»

После свадьбы Пушкины прожили в Москве три месяца и в середине мая выехали в Петербург, где усилиями Плетнева была найдена и обставлена «фатерка».

По приезде в Петербург супруги остановились на несколько дней в гостинице Демута, а затем переехали в Царское Село на дачу в дом Китаева, придворного камер-фурьера. С той поры как в 1817 году Пушкин закончил царскосельский Лицей, душой он всегда рвался туда, где прошла его юность. И вот уже времени жизни его оставалось всего 6 лет…

Теперь у Пушкина была не маленькая лицейская комнатка в одном из подсобных помещений Екатерининского дворца, а целый дом о 9 комнатах, из которых любимой стал кабинет в мезонине, накалявшийся от жары в то знойное холерное лето. «Жара стоит как в Африке, а у нас там ходят в таких костюмах», — объяснялся Пушкин с приятелями, заставававшим его в наряде Адама в мезонине. В ту пору он писал свои сказки: «О попе и работнике его Балде», «О царе Салтане». В письмах к друзьям сообщал:

«Теперь, кажется, все уладил и стану жить потихоньку без тещи, без экипажа, следственно, без больших расходов и сплетен».

«Мы здесь живем тихо и весело, будто в глуши деревенской, насилу до нас и вести доходят».

Через полтора месяца и теща получила письмо, не совсем свободное от злопамятных чувств: «Я был вынужден оставить Москву во избежание всяких дрязг, которые, в конце концов, могли бы нарушить более чем одно мое спокойствие; меня изображали моей жене, как человека ненавистного, жадного, презренного ростовщика, ей говорили: с вашей стороны глупо позволять мужу и т. п. Сознайтесь, что это значит проповедовать развод. Жена не может, сохраняя приличие, выслушивать, что ее муж — презренный человек, и обязанность моей жены подчиняться тому, что я себе позволяю. Не женщине в 18 лет управлять мужчиной 32 лет. Я представил доказательства терпения и деликатности, но, по-видимому, я только напрасно трудился. Я люблю собственное спокойствие и сумею его обеспечить. При моем отъезде из Москвы вы не сочли нужным говорить о делах со мною; вы предпочли отшутиться насчет возможности развода или чего-нибудь в этом роде. Между тем мне необходимо окончательно выяснить ваше решение относительно меня. Я не говорю, что предполагалось сделать для

Натали, это меня не касается, и я никогда не думал об этом, несмотря на мою алчность. Я имею в виду 11 тысяч рублей, данные мною взаймы. Я не требую их возврата и никоим образом не тороплю вас. Я только хочу в точности знать, как вы намерены поступить, чтобы я мог сообразно этому действовать…»

Письмо дышит раздражением: Пушкина тяготили невозвращенные долги — их набиралось до 25 тысяч.

Пушкин дописывал на даче в Царском Селе свои сказки. Его кабинет был на втором этаже, а «Наталья Николаевна сидела обыкновенно внизу за книгою», — вспоминала А. О. Смирнова-Россет, фрейлина императрицы и близкая приятельница Пушкина, которая славилась своим умом и образованностью и зачастую бывала первой читательницей и ценительницей произведений поэта. В своих записках-воспоминаниях она запечатлела любопытные подробности домашней атмосферы молодой четы.

О Натали она писала в слегка пренебрежительном тоне. Не потому ли, что, тщеславясь своей дружбой с Пушкиным, Александра Осиповна ревновала его к жене, которая в силу супружеской близости могла бы заменить ее в роли первой ценительницы известнейшего поэта…

«Когда мы жили в Царском Селе, Пушкин каждое утро ходил купаться, после чая ложился у себя в комнате и начинал писать. По утрам я заходила к нему. Жена его так уж и знала, что я не к ней иду. «Ведь ты не ко мне, а к мужу пришла, ну и пойди к нему». — «Конечно, не к тебе, а к мужу. Пошли узнать, можно ли войти». — «Можно». С мокрыми, курчавыми волосами лежит, бывало, Пушкин в коричневом сюртуке на диване. На полу вокруг книги, у него в руках карандаш. «А я вам приготовил кой-что прочесть», — говорит. «Ну читайте». Пушкин начинал читать (в это время он сочинял всё сказки). Я делала ему замечания, он отмечал и был очень доволен. Читал стихи он плохо. Жена его ревновала ко мне. Сколько раз я ей говорила: «Что ты ревнуешь ко мне? Право, мне все равны: и Жуковский, и Пушкин, и Плетнев, — разве ты не видишь, что я не влюблена в него, ни он в меня». — «Я это хорошо вижу, — говорит, — да мне досадно, что ему с тобой весело, а со мной он зевает…»

На долю Смирновой-Россет и в дальнейшем выпадали «вершки» праздничного — после вдохновенных поэтических трудов — общения с Пушкиным. «Корешками» была вынуждена питаться Натали. Те долгие для нее часы одиночества, когда муж по вдохновению своим характерным почерком исписывал лист за листом, сливались в недели, недели в месяцы… Основные черты семейного уклада сложились, видимо, в первое время

супружеской жизни, начиная с Царского Села. Вот о чем свидетельствует А. П. Арапова, дочь Н. Н. Пушкиной от второго брака:

«Когда вдохновение сходило на поэта, он запирался в свою комнату, и ни под каким предлогом жена не дерзала переступить порог, тщетно ожидая его в часы завтрака и обеда, чтобы как-нибудь не нарушить прилив творчества. После усидчивой работы он выходил усталый, проголодавшийся, но окрыленный духом, и дома ему не сиделось. Кипучий ум жаждал обмена впечатлений, живость характера стремилась поскорей отдать на суд друзей-ценителей выстраданные образы, звучными строфами скользнувшие из-под его пера.

С робкой мольбой просила его Наталья Николаевна остаться с ней, дать ей первой выслушать новое творение. Преклоняясь перед авторитетом Жуковского или Вяземского, она не пыталась удерживать Пушкина, когда знала, что он рвется к ним за советом, но сердце невольно щемило, женское самолюбие вспыхивало, когда, хватая шляпу, он с своим беззаботным, звонким смехом объявлял по вечерам: «А теперь пора к Александре Осиповне на суд! Что-то она скажет? Угожу ли я ей своим сегодняшним трудом?»

— Отчего ты не хочешь мне прочесть? Разве я понять не могу? Разве тебе не дорого мое мнение? — И ее нежный, вдумчивый взгляд с замиранием ждал ответа.

Но, выслушивая эту просьбу, как взбалмошный каприз милого ребенка, он с улыбкой отвечал:

— Нет, Наташа! Ты не обижайся, но это дело не твоего ума, да и вообще не женского смысла.

— А разве Смирнова не женщина, да вдобавок красивая? — с живостью протестовала она.

— Для других — не спорю. Для меня — друг, товарищ, опытный оценщик, которому женский инстинкт пригоден, чтобы отыскать ошибку, ускользнувшую от моего внимания, или указать что-нибудь ведущее к новому горизонту. А ты, Наташа, не тужи и не думай ревновать! Ты мне куда милей со своей неопытностью и незнанием. Избави Бог от ученых женщин, а коли оне еще за сочинительство ухватятся, тогда уж прямо нет спасения…

И нежно погладив ее понуренную головку, он с рукописью отправлялся к Смирновой, оставляя ее одну до поздней ночи, со своими невеселыми, ревнивыми думами.

Хотя в эту отдаленную эпоху вопроса феминизма не было даже в зародыше, Пушкин оказался злейшим врагом всяких посягательств женщин на деятельность вне признанной за ними сферы. Он не упускал случая зло подтрунить над всеми

встречавшимися ему «синими чулками», и, ярый поклонник красоты, он находил, что их потуги на ученость и философию только вредят женскому обаянию…»

Дочка «друга и товарища» Пушкина — О. М. Смирнова записала такую историю царскосельских времен: «Раз, когда Пушкин читал моей матери стихотворение, которое она должна была в тот же вечер передать Государю, жена Пушкина воскликнула: «Господи, до чего ты мне надоел со своими стихами, Пушкин!» Он сделал вид, что не понял и отвечал: «Извини, этих ты не знаешь: я не читал их при тебе». «Эти ли, другие ли, все равно. Ты вообще мне надоел своими стихами». Несколько смущенный, поэт сказал моей матери, которая кусала себе губы от вмешательства: «Натали еще совсем ребенок. У нее невозможная откровенность малых ребят». Он передал стихи моей матери, не дочитав их, и переменил разговор».

Кажется, чего тут странного: невозможно же целыми днями слушать стихи, стихи, стихи, пусть даже и самого Пушкина! Но на подобных эпизодах возводились предвзятые понятия и мнения, будто Натали «его не понимала и, конечно, светские успехи его ставила выше литературных». В защиту Натали приведем малоизвестный факт. Коротая в одиночестве время царскосельской жизни, она прилежно переписывала черновики Пушкина и необходимые ему документы, в том числе — еще неизданный «Домик в Коломне», сняла копию с «Секретных записок Екатерины II», сделала выписки из «Журнала дискуссий».

Режим жизни на даче был довольно монотонным. Пушкин весь день работал, потом спускался к обеду — вполне однообразному; ели зеленый суп с крутыми яйцами, рубленые котлеты со шпинатом или щавелем и любимое варенье из крыжовника на десерт. Часов в 5–6, когда спадала жара, молодые отправлялись на прогулку, являя собой несомненную достопримечательность Царского Села. В это время «многие нарочно ходили смотреть на Пушкина, как он гулял под руку с женой, обыкновенно вокруг озера. Она бывала в белом платье, в круглой шляпе, и на плечах свитая по тогдашнему красная шаль».

Если бы те, кто тогда видел Пушкиных, обладали такой же проницательностью, как Долли Фикельмон, они могли бы сказать про супругов так же, как она записала в своем дневнике: «Пушкин к нам приехал к нашей большой радости. Я нахожу, что он в этот раз любезнее. Мне кажется, что я в уме его отмечаю серьезный оттенок, который ему и подходящ. Жена его прекрасное создание; но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастья. Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем: у

Пушкина видны все порывы страстей, у жены — вся меланхолия отречения от себя…»

Эти гулянья у озера необыкновенной пары запомнились многим. Впоследствии было замечено, что Пушкин не любил стоять рядом с женой. Он шутя говаривал, что «ему подле нее быть унизительно», так мал он был в сравнении с ней ростом.

Между тем в Петербурге началась эпидемия холеры. Город был оцеплен и находился во власти страха, ибо «несмотря на значительное число вновь устроенных больниц, их становилось мало, священники не успевали отпевать умерших — до 600 человек в день».

Родители Пушкина, узнав про холеру в Петербурге, в 24 часа уложили пожитки и выехали из города, остановившись на даче в Павловске. С сыном и невесткой они часто виделись, с дочерью Ольгой только переписывались. Из этой переписки известны милые подробности женатой жизни Пушкина.

«Вчера я провела свой день рождения у Александра, — сообщает Надежда Осиповна 22 июня, — не имея возможности принять их у себя, ибо мы перебрались лишь за сутки перед этим». «Здесь, на мой взгляд, лучше, чем в Царском Селе, — добавляет Сергей Львович. — Не так великолепно, но куда более по-сельски… Натали была бы в восторге, если бы ты была у нее и с ней, как и Александр».

25 июня: «Мы видаемся с Александром и Натали, Царское не оцеплено, но, как ни у нас, ни у твоего брата нет лошадей и найти их невозможно, то мы и не видаемся так часто, как бы хотели… Александр часто делает этот конец (ходит пешком в Павловск. — Н. Г.), жена его плохой пешеход, она гуляет лишь по саду».

В то лето «духота в воздухе была нестерпимая. Небо было накалено как бы на далеком юге, и ни одно облачко не застилало его синевы, трава поблекла от страшной засухи, везде горели леса и трескалась земля. Двор переехал из Петергофа в Царское Село, куда переведены были и кадетские корпуса. За исключением Царского, холера распространилась по всем окрестностям столицы».

С приездом императорской фамилии «Царское Село закипело и превратилось в столицу». Вместе с двором прибыл и воспитатель наследника Василий Андреевич Жуковский. С этого дня оба поэта обычно проводили все вечера у фрейлины Смирновой-Россет. Кажется, никогда Пушкин и Жуковский не проводили так много времени вместе, делясь своими заветными мыслями и творческими планами.

«Возвращаю тебе твои прелестные пакости. Всем очень доволен. Напрасно сердишься на «Чуму», она едва ли не лучше «Каменного гостя». На «Моцарта» и «Скупого» сделаю некоторые замечания. Кажется, и то, и другое можно усилить. Пришли «Онегина», сказку октавами, мелочи и прозаические сказки все, читанные и нечитанные. Завтра все возвращу» (Жуковский — Пушкину, июль 1831, Царское Село).

Натали многие вечера проводила в полном одиночестве. Пушкин, ядовито констатировала Смирнова-Россет, с женой стал «зевать»… Скорее всего Надежда Осиповна видела только то, что хотела видеть, и упорно старалась не замечать растущую популярность юной жены Пушкина, которой довелось поближе узнать ее.

«Пушкин мой сосед, и мы видимся с ним часто. С тех пор, как ты мне сказал, что у меня слюни текут, глядя на жену его, я не могу себя иначе и вообразить, как под видом большой датской собаки, которая сидит и дремлет, глядя, как перед ней едят очень вкусное, а с морды ее по обеим сторонам висят две длинные ленты из слюны. А женка Пушкина очень милое создание. Иначе и не скажешь! И он с нею мне весьма нравится. Я более и более за него радуюсь тому, что он женат. И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше» (Жуковский князю Вяземскому).

Из Москвы, скучая, писал Нащокин, которого Натали уже успела искренне полюбить, как ближайшего друга своего мужа. «…Я на счет твой совершенно спокоен, зная расположение Царского Села, холеры там быть не может — живи и здравствуй с Натальей Николаевной, которой я свидетельствую свое почтение. Я уверен, что ты, несмотря на все ужасные перевороты, которые тебя окружают, еще никогда не был так счастлив и покоен как теперь — и для меня это не ничего; без всякой сантиментальности скажу тебе, что мысль о твоем положении мне много доставляет удовольствия… Натальи Николаевне не знаю, что желать — все имеет в себе и в муже. Себе желать могу, чтобы Вас когда-нибудь увидеть. Прощай, добрый для меня Пушкин — не забывай меня, никого не найдешь бескорыстнее и преболее преданного тебе друга как П. Нащокина» (15 июля).

«Мы с женой тебя всякий день поминаем, — отвечал Пушкин. — Она тебе кланяется. Мы ни с кем покамест не знакомы, и она очень по тебе скучает».

Под выражением «не знакомы ни с кем» подразумевался придворный круг, высшая знать. Но сокровище, которым теперь обладал Пушкин, не могло долго оставаться необнаруженным…

«…Я не могу спокойно прогуливаться по саду, так как узнала от одной фрейлины, что Их величества желали узнать час, в

который я гуляю, чтобы меня встретить. Поэтому я и выбираю самые уединенные места», — жалуется Натали своему любимому Деду. Но спустя две недели ее свекровь пишет дочери: «Сообщу тебе новость. Император и императрица встретили Наташу с Александром, они остановились поговорить с ними, и императрица сказала Наташе, что она очень рада с нею познакомиться и тысячу других милых и любезных вещей. И вот теперь она принуждена, совсем этого не желая, появиться при дворе». «Весь двор от нее в восторге, императрица хочет, чтобы она к ней явилась, и назначит день, когда надо будет прийти. Это Наташе очень неприятно, но она должна будет подчиниться…»

«Моя невестка очаровательна; она вызывает удивление в Царском, и императрица хочет, чтобы она была при дворе. Она от этого в отчаянии, потому что неглупа; я не то хотела сказать: хотя она вовсе неглупа, она еще немного робка, но это пройдет, и она, красивая, молодая и любезная женщина, поладит со двором, с императрицей. Но зато Александр, я думаю — на седьмом небе. Физически они — две полные противоположности: Вулкан и Венера, Кирик и Улита и т. д., и т. д.», — делилась своими наблюдениями с мужем, служившим в Варшаве, Ольга Сергеевна Павлищева. Месяцем раньше она выражалась более определенно: «Моя невестка очаровательна, она заслуживала бы иметь мужем более милого парня, чем Александр, который при всем моем уважении к его шедеврам, стал раздражителен, как беременная женщина; он написал мне письмо такое нахальное и глупое, что пусть меня похоронят живою, если оно когда-нибудь дойдет до потомства, хотя, по-видимому, он питал эту надежду, судя по старанию, которое он приложил к тому, чтобы письмо до меня дошло».

Да, Пушкин, безусловно, не являлся тем «милым парнем», с которым жена могла чувствовать себя всегда спокойной и уверенной. Княгине Вере Вяземской запомнился такой случай. Натали рассказывала ей, как напугал ее муж, ушедши гулять и возвратившись домой только на третьи сутки. Оказалось, что он встретился с дворцовыми ламповщиками, которые отвозили из Царского Села на починку в Петербург подсвечники и лампы, разговорился с ними и добрался с ними до Петербурга, где и заночевал.

Сильное раздражение часто нападало на Пушкина при денежных затруднениях. Все время приходилось думать о постоянном заработке. Он мог зарабатывать на жизнь только литературным трудом. Перед женитьбой он уже написал Бенкендорфу: «…Мне не может подойти подчиненная должность, какую только я могу занять по своему чину. Такая служба

отвлекла бы меня от литературных занятий, которые дают мне средства к жизни, и доставила бы мне лишь бесцельные и бесполезные неприятности…» Спустя полтора года Пушкин вновь обратился к графу Бенкендорфу — посреднику между поэтом и царем.

«…С радостию взялся бы я за редакцию политического и литературного журнала, т. е. такого, в коем печатались бы политические и заграничные новости. Около него соединил бы я писателей с дарованиями и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных, и которые все еще дичатся, напрасно полагая его неприязненным к просвещению.

Более соответствовало бы моим занятиям и склонностям дозволение заняться историческими изысканиями в наших архивах и библиотеках. Не смею и не желаю взять на себя звание историографа после незабвенного Карамзина; но могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать Историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III».

Просьба была принята благосклонно, и уже в июле Пушкин сообщает Плетневу: «.. Кстати скажу тебе новость (но да останется это, по многим причинам, между нами): царь взял меня в службу — но не в канцелярскую, или придворную, или военную — нет, он дал мне жалованье, открыл мне архивы, с тем чтоб я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли? Он сказал: «Раз он женат и небогат, надо дать ему средства к жизни». Ей-богу, он очень со мною мил…»

Каких земных благ еще можно было желать! Красавица-жена, любимая и преданная, благоволение императора, предвкушение серьезной и интересной работы, великие друзья, поэтическое призвание и слава на сем необыкновенном поприще… Для смиренного человека одного из этих даров было бы достаточно, чтобы сделаться благодарным судьбе навеки. Пушкин никогда не был доволен своим положением. Теперь ему хотелось, чтобы Натали заблистала посреди звезд первой величины в «высшем свете», будто кто-то настойчиво призывал Пушкина превратить свое семейное благополучие в ходовой товар на публичной «ярмарке тщеславия».

Императрица сказала своей фрейлине про Натали: «Она похожа на героиню романа, она красива, и у нее детское лицо».

Александра Федоровна словно заглянула в будущее Натали. В самом деле, слишком приметна была она и как жена гениального поэта, и как одна из красивейших русских женщин. Малейшую оплошность, неверный шаг сразу замечали, и восхищение немедленно сменялось завистливым осуждением, как водится — несправедливым… Только на людях можно было стать «героиней

романа». Семейный круг защитил бы Натали от «мнений света», который желал приручить скромницу…

«Четвертого дни воспользовался снятием карантина в Царском Селе, чтобы повидаться с Ташей. Я видел также Александра Сергеевича; между ими царствует большая дружба и согласие. Таша обожает своего мужа, который также ее любит, дай Бог, чтоб их блаженство и впредь не нарушилось. Они думают переехать в Петербург в октябре, а между тем ищут квартиру» (Дмитрий Николаевич Гончаров — деду Афанасию Николаевичу 24 сентября 1831 г.).

«Женщина, наиболее здесь модная…»

Пушкин часто переменял квартиры. Прибыв из Царского Села в Петербург, он съехал с квартиры почти тотчас же, как нанял — его не устроил этаж. Супруги поселились на Галерной в доме Брискора. Эту квартиру, видимо, подыскал брат Натали Дмитрий Николаевич, который жил на той же улице. Дом был сквозной на Английскую набережную, рядом с ним помещался морской штаб. За наем платили 2500 рублей.

«Моя невестка беременна, но этого еще не видно; она прекрасна и очень мила» (О. С. Павлищева — мужу 23 октября 1831 г.).

Именно к этому периоду относится воспоминание О. Н. Смирновой-Россет, которая как будто специально записывала для потомства эпизоды, которые рисуют Натали взбалмошной и капризной, но не выставляла причину того: молодая женщина уже ждала ребенка…

«Отец (Смирновой. — Н. Г.) рассказывал мне, что как-то вечером, осенью, Пушкин, прислушиваясь к завыванию ветра, вздохнул и сказал: «Как хорошо бы теперь быть в Михайловском! Нигде мне так хорошо не пишется, как осенью в деревне. Что бы нам поехать туда!» У моего отца было имение в Псковской губернии, и он собирался туда для охоты. Он стал звать Пушкина ехать с ним вместе. Услыхав этот разговор, Пушкина воскликнула: «Восхитительное местопребывание! Слушать завывание ветра, бой часов и вытье волков. Ты с ума сошел!» И она залилась слезами, к крайнему изумлению моих родителей. Пушкин успокоил ее, говоря, что он только пошутил, что он устоит от искушения и против искусителя (отца моего). Тем не менее Пушкина еще некоторое время дулась на моего отца, упрекая его, что он внушает сумасбродные мысли ее супругу».

В Петербурге молодых окружала ближайшая родня: родители Пушкина, все три брата Натали, Наталья Кирилловна Загряжская и Екатерина Ивановна — фрейлина императрицы. Очень быстро через влиятельных теток Натали Пушкины перезнакомились со всей знатью.

«Госпожа Пушкина, жена поэта, здесь (у Фикельмонов) впервые появилась в свете; она очень красива, и во всем ее облике есть что-то поэтическое — ее стан великолепен, черты лица правильны, рот изящен и взгляд, хотя и неопределенный, красив; в ее лице есть что-то кроткое и утонченное, я еще не знаю, как она разговаривает, — ведь среди 150 человек вовсе не разговаривают, — но муж ее говорит, что она умна. Что до него,

то он перестает быть поэтом в ее присутствии; мне показалось, что он вчера испытал все мелкие ощущения, всё возбуждение и волнение, какие чувствует муж, желающий, чтобы его жена имела успех в свете» (из дневника Д. Ф. Фикельмон, 25 октября 1831 г.).

«Жена Пушкина появилась в большом свете, где ее приняли очень хорошо; она понравилась всем и своими манерами, и своей фигурой, в которой находят что-то трогательное. Я встретил их вчера утром на прогулке на Английской набережной» (барон Сердобин, ноябрь).

«Моя невестка — женщина наиболее здесь модная. Она вращается в самом высшем свете, и говорят вообще, что она — первая красавица; ее прозвали «Психеей» (О. С. Павлищева — мужу, ноябрь).

Высший свет не хотел отпускать от себя Натали. Балы следовали за балами, выезды за выездами. Пушкин, хоть и жаловался, что приходится кружиться в свете, где жена в большой моде, и что «все это требует денег», но жалобы его были большею частью притворны. По свидетельству близких и расположенных к Пушкину лиц, он проводил время на балах вместе с женой «не столько для ее потехи, сколько для собственной». Всем было очевидно, что светские успехи жены, выделявшейся на приемах, балах и маскарадах среди самых прославленных красавиц — Закревской, Радзивил-Урусовой, Мусиной-Пушкиной и других — тешили самолюбие Пушкина.

Даже на наряды жене не нужно было тратиться, хотя, вероятно, не все это знали. «Некоторые из друзей Пушкина, посвященные в его денежные затруднения, ставили в упрек Наталье Николаевне светскую жизнь и изысканность нарядов. Первое она не отрицала (муж позволял, да и 19 лет требовали впечатлений — «блажен, кто смолоду был молод». — Н. Г.), что вполне понятно и даже извинительно было после ее затворнической юности, нахлынувшего успеха и родственной связи с аристократическими домами Натальи Кирилловны Загряжской и Строгановых, где, по тогдашним понятиям, ей прямо обязательно было появляться, но всегда упорно отвергала она обвинение в личных тратах. Все ее выездные туалеты, все, что у нее было роскошного и ценного, оказывалось подарками Екатерины Ивановны. Она гордилась красотою племянницы; ее придворное положение (фрейлины. — Н. Г.) способствовало той благосклонности, которой удостаивала Наталью Николаевну царская чета, а старушку тешило, при ее значительных средствах, что ее племянница могла поспорить изяществом с первыми щеголихами. Она не смущалась мыслью, а вероятно и не подозревала даже, что этим самым она подвергает молодую

женщину незаслуженным нареканиям и косвенно содействует складывающейся легенде о ее бессердечном кокетстве» (из воспоминаний А. П. Араповой).

Между балами был полный штиль: «Наталья Николаевна вспоминала, бывало, как в первые годы ее замужества ей иногда казалось, что она отвыкнет от звука собственного голоса, — так одиноко и однообразно протекали ее дни! Она читала до одури, вышивала часами с артистическим изяществом, но кроме доброй, беззаветно преданной Прасковьи, впоследствии вынянчившей всех ее семерых детей, ей не с кем было перекинуться словом. Беспричинная ревность уже в ту пору свила гнездо в сердце мужа и выразилась в строгом запрете принимать кого-либо из мужчин в его отсутствие или когда он удалялся в свой кабинет. Для самых степенных друзей не допускалось исключения, и жене, воспитанной в беспрекословном подчинении, в ум не могло прийти нарушить заведенный порядок» (А. П. Арапова).

«Возвращаясь к отношениям Натальи Николаевны к Смирновой, я добавлю, что они хоть и продолжали видеться часто и были на короткой дружеской ноге, пока Смирнова жила в Петербурге, но искренней симпатии между ними не было. Наталья Николаевна страдала от лишения того должного авторитета, которым Александра Осиповна завладела ей в ущерб, часто не щадя ее самолюбия. Смирнова своей страстной натурой, увлекшись Пушкиным не только как поэтом, не находила в нем желанного отклика. Она, избалованная легкими победами, объясняла это только пылкой страстью к жене, и это сознание наполняло ее сердце затаенной завистью к сопернице.

Этим только чувством объясняется тлеющее недоброжелательство, таким коварным светом озарившее личность жены Пушкина в мемуарах А. О. Смирновой» (А. П. Арапова).

Пушкин, женившись, получил возможность вступить в круг высшей аристократической знати, некоторые представители которой прежде осмеливались высказывать ему свое пренебрежение. Всего лишь год назад с Пушкиным случилась неприятная история, которую он никак не мог выбросить из головы. «Однажды, кажется, у А. Н. Оленина, С. С. Уваров, не любивший Пушкина, гордого и не низкопоклонного, сказал о нем, что он хвалится своим происхождением от негра Аннибала, которого продали в Кронштадте (Петру Великому) за бутылку рому! Булгарин, услыша это, не преминул воспользоваться случаем и повторил в «Северной пчеле» этот отзыв. Этим объясняются стихи Пушкина «Моя родословная» (Н. И. Греч).

Сам Пушкин любил писать эпиграммы и обращался с ними ко

многим лицам. Но тут, кажется, на него написали эпиграмму. Что же он? В ноябре 1831 года, в пору, когда его жена вошла в моду, поэт писал графу Бенкендорфу:

«Генерал!.. Пользуюсь этим случаем, чтобы обратиться к вам по одному чисто личному делу. Внимание, которое вы всегда изволили мне оказывать, дает мне смелость говорить с вами обстоятельно и с полным доверием.

Около года тому назад в одной из наших газет была напечатана сатирическая статья, в которой говорилось о некоем литераторе, претендующем на благородное происхождение, в то время как он лишь мещанин во дворянстве. К этому было прибавлено, что мать его — мулатка, отец которой, бедный негритенок, был куплен матросом за бутылку рому. Хотя Петр Великий вовсе не похож на пьяного матроса, это достаточно ясно указывало на меня, ибо среди русских литераторов один я имею в числе своих предков негра. Ввиду того, что вышеупомянутая статья была напечатана в официальной газете и непристойность зашла так далеко, что о моей матери говорилось в фельетоне, который должен был бы носить чисто литературный характер, и так как журналисты наши не дерутся на дуэли, я счел своим долгом ответить анонимному сатирику, что и сделал в стихах, и притом очень круто.

Я послал свой ответ покойному Дельвигу с просьбой поместить его в газете. Дельвиг посоветовал мне не печатать его, указав на то, что было бы смешно защищаться пером против подобного нападения и выставлять напоказ аристократические чувства, будучи самому, в сущности говоря, если не мещанином во дворянстве, то дворянином в мещанстве. Я уступил, и тем дело и кончилось; однако несколько списков моего ответа пошло по рукам, о чем я не жалею, так как не отказываюсь ни от одного его слова. Признаюсь, я дорожу тем, что называют предрассудками; дорожу тем, чтобы быть столь же хорошим дворянином, как и всякий другой, хотя от этого мне выгоды мало, наконец, я чрезвычайно дорожу именем моих предков, этим единственным наследством, доставшимся мне от них.

Однако ввиду того, что стихи мои могут быть приняты за косвенную сатиру на происхождение некоторых фамилий, если не знать, что это очень сдержанный ответ на заслуживающий крайнего порицания вызов, я счел своим долгом откровенно объяснить вам, в чем дело, и приложить при сем стихотворение, о котором идет речь.

Смеясь жестоко над собратом,
Писаки русские толпой

Меня зовут аристократом:
Смотри, пожалуй, вздор какой!
Не офицер я, не асессор,
Я по кресту не дворянин,
Не академик, не профессор;
Я просто русский мещанин.

Понятна мне времен превратность,
Не прекословлю, право, ей:
У нас нова рожденьем знатность,
И чем новее, тем знатней.
Родов дряхлеющих обломок
(И по несчастью, не один),
Бояр старинных я потомок;
Я, братцы, мелкий мещанин.

Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князья не прыгал из хохлов,
И не был беглым он солдатом
Австрийских пудреных дружин,
Так мне ли быть аристократом?
Я, слава Богу, мещанин.

Под гербовой моей печатью
Я кипу грамот схоронил
И не якшаюсь с новой знатью,
И крови спесь угомонил.
Я грамотей и стихотворец,
Я Пушкин просто, не Мусин,
Я не богач, не царедворец,
Я сам большой: я мещанин…

Оказалось, что тяжело быть объектом сатиры, героем эпиграммы… Пушкин, видимо, хотел, чтобы сам Государь как-то «приструнил» оскорбителей, но Николай Павлович отнесся к этому делу мудро, истинно по-аристократически:

«Милостивый государь, ответом на Ваше почтенное письмо от 24-го ноября будет дословное воспроизведение отзыва его императорского величества: «Вы можете сказать от моего имени Пушкину, что я всецело согласен с мнением его покойного друга Дельвига. Столь низкие и подлые оскорбления, как те, которыми

его угостили, бесчестят того, кто их произносит, а не того, к кому они обращены. Единственное оружие против них — презрение. Вот как я поступил бы на его месте. Что касается его стихов, то я нахожу, что в них много остроумия, но более всего желчи. Для чести его пера и особенно его ума будет лучше, если он не станет распространять их» (гр. Бенкендорф — Пушкину).

Недюжинный ум Пушкина обнаруживался тогда, когда страсти не волновали его. Только что вышли в свет «Повести Белкина» — анонимные, но они сразу же обратили на себя внимание, и непосвященные допытывались, кто бы мог быть их автором, на Пушкина это было непохоже… «Вскоре по выходе повестей Белкина (в середине октября) я на минуту зашел к Александру Сергеевичу; они лежали у него на столе. Я и не подозревал, что автор их — он сам. «Какие это повести? И кто этот Белкин?» — спросил я, заглядывая в книгу. «Кто бы он там ни был, а писать повести надо вот эдак: просто, коротко и ясно» (П. И. Миллер).

Цензуру «Повести» прошли без задержек: «ни перемен, ни откидок не воспоследовало». Николай I все более и более благоволил к автору. Один за другим были подписаны два высочайших приказа.

От 14 ноября: «Государь Император высочайше повелеть соизволил: отставного коллежского секретаря Александра Пушкина принять на службу тем же чином и определить его в государственную Коллегию Иностранных дел».

От 6 декабря: «Государь Император всемилостивейше пожаловать соизволил состоящего в ведомстве государственной Коллегии Иностранных дел коллежского секретаря Пушкина в титулярные советники».

«Высочайше повелено требовать из государственного казначейства с 14 ноября 1831 года по 5000 рублей в год на известное Его императорскому величеству употребление, по третям года, и выдавать сии деньги тит. сов. Пушкину» (на рапорте гр. Нессельроде).

Перед тем как поступить в Иностранную Коллегию, чтобы «рыться в архивах и ничего не делать», Пушкину пришлось удостоверить власти в своей лояльности.

«Я, нижеподписавшийся, сим объявляю, что я ни к какой масонской ложе и ни к какому тайному обществу не принадлежу ни внутри империи, ни вне ее, и обязываюсь и впредь оным не принадлежать и никаких сношений с ними не иметь.

Титулярный советник Пушкин, 4 декабря 1831 г.».

Государь разрешил поэту доступ в архивы, в том числе и в

некоторые архивы Тайной канцелярии.

«Александр Пушкин точно сделан биографом Петра I и с хорошим окладом» (А. П. Тургенев — Н. И. Тургеневу).

Безо всякой натяжки можно сказать, что Николай I дорожил гением Пушкина и, зная его гордый характер, умел своей державной рукой направлять творческие порывы в нужное русло к обоюдному удовлетворению.

Вступив в «государеву службу», Пушкин поспешил в Москву, чтобы уладить другие неотложные дела. «Александр ускакал в Москву еще перед Николиным днем и, по своему обыкновению, совершенно нечаянно, предупредив только Наташу, объявив, что ему необходимо видеться с Нащокиным и совсем не по делам поэтическим, а по делам гораздо более существенным — прозаическим. Какие именно у него дела денежные, по которым улепетнул отсюда, — узнать от него не могла, а жену не спрашиваю. Жду брата, однако, весьма скоро назад. Очень часто вижусь с его женой, то захожу к ней, то она ко мне заходит, но наши свидания всегда происходят среди белого дня. Застать ее по вечерам и думать нечего, ее забрасывают приглашениями то на бал, то на раут. Там от нее все в восторге…» (О. С. Павлищева — мужу).

В Москве Пушкину нужно было расплатиться с неким Огонь-Догановским, которому еще до женитьбы проиграл 25 тысяч в карты. Долг помельче нужно было отдать другому карточному игроку Жемчужникову. Остановился поэт, по обычаю, у своего друга П. В. Нащокина.

Это была первая разлука с женой, благодаря которой теперь мы имеем возможность прочесть письма к ней мужа, русского поэта, в которых чувства его изливались совершенно естественно и непринужденно. Жене Пушкин всегда писал «набело» — совершенно свободно, хотя ко всем прочим обычно делал черновики. Натали знала уже натуру и образ жизни Нащокина, еще большего картежника и мота. Судя по письму от 16 декабря, можем заключить, что Пушкин не скрывал от жены своих дел. А не скрывал потому, что был уверен в ее сочувствии и понимании… Он сам говорил про нее, что Натали обладает здравым умом.

«Здесь мне скучно; Нащокин занят делами, а дом его — такая бестолочь и ералаш, что голова кругом идет. С утра до вечера у него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно заимодавцы. Всем вольный вход. Всем до него нужда; всякий кричит, курит трубку, обедает, поет, пляшет; угла нет свободного — что делать? Между тем денег у него нет, кредита нет, — время идет, а дело мое не

распутывается. Все это поневоле бесит меня. К тому же, я опять застудил себе руку, и письмо мое, вероятно, будет пахнуть бобковой мазью. Жизнь моя однообразная, выезжаю редко. Вчера Нащокин задал нам цыганский вечер; я так от этого отвык, что от крику гостей и пенья цыганок до сих пор голова болит. Тоска, мой ангел, до свидания».

За короткий период совместной жизни, в течение которого Пушкин несколько раз покидал Петербург, наибольшее количество писем — 64 было написано им жене. Надо думать, что эти письма были продолжением того доверительного характера отношений между супругами, который сложился в первые же месяцы совместной жизни. Он привык разговаривать с женой и в разлуке особенно почувствовал, как не хватает ему этих задушевных бесед. Нащокин вспоминал, что когда Пушкин получал письма от Натали, он радостно бегал по комнате и целовал их. За две недели поэт написал несколько пространных писем, приводим лишь выдержки из них.

«Здравствуй женка, мой ангел! Не сердись, что третьего дня написал тебе только три строки: мочи не было, так устал… Нащокина не нашел я на старой его квартире, насилу отыскал я его у Пречистенских ворот в доме Ильинской (не забудь адреса). Он все тот же: очень мил и умен; был в выигрыше, но теперь проигрался, в долгах и хлопотах. Твою комиссию исполнил: поцеловал за тебя и потом объявил, что Нащокин дурак, дурак Нащокин. Дом его (помнишь?) отделывается: что за подсвечники, что за сервиз! Он заказал фортепиано, на котором играть можно будет пауку, и судно, на котором испразнится разве шпанская муха. Видел я Вяземских, Мещерских, Дмитриева, Тургенева, Чаадаева, Горчакова, Дениса Давыдова. Все тебе кланяются, очень расспрашивают о тебе и твоих успехах; я поясняю сплетни, а сплетен много. Дам московских еще не видал; на балах и в собрание не явлюсь. Дело с Нащокиным и Догановским скоро кончу, о твоих бриллиантах жду известия от тебя. Здесь говорят, что я ужасный ростовщик; меня смешивают с моим кошельком. Кстати: кошелек я обратил в мошну и буду ежегодно праздновать родины и крестины сверх положенных именин. Москва полна еще пребыванием Двора, в восхищении от царя, и еще не отдохнула от балов… Надеюсь увидеть тебя недели через две: тоска без тебя; к тому же с тех пор, как я тебя оставил, мне всё что-то страшно за тебя. Дома ты не усидишь, поедешь во дворец, и того и гляди, выкинешь на сто пятой ступени комендантской лестницы. Душа моя, женка моя, ангел мой! Сделай мне такую милость: ходи два часа в сутки по комнате и побереги себя. Вели брату смотреть за собою и воли не давать. Брюллов пишет ли твой портрет? Была

ли у тебя Хитрова и Фикельмон? Если поедешь на бал, ради Бога, кроме кадрилей не пляши ничего; напиши, не притесняют ли тебя люди? И можешь ли ты с ними сладить. Засим целую тебя сердечно. У меня гости» (8 декабря).

«.. Что скажу тебе о Москве? Москва еще пляшет, но я на балах еще не был. Вчера обедал в Английском клубе, поутру был на аукционе Власова, вечер провел дома, где нашел студента дурака, твоего обожателя. Он поднес мне роман «Теодор и Розалия», в котором он описывает нашу историю. Умора. Всё это, однако ж, не слишком забавно, и меня тянет в Петербург. Не люблю я твоей Москвы… Целую тебя и прошу ходить взад и вперед по гостиной, во дворец не ездить и на балах не плясать. Христос с тобой» (10 декабря).

«Оба письма твои получил я вдруг, и оба меня огорчили и осердили. Василий врет, что он истратил на меня 200 рублей. Алешке я денег давать не велел, за его дурное поведение. За стол я заплачу по моему приезду; никто тебя не просил платить мои долги. Скажи от меня людям, что я ими очень недоволен. Я не велел им тебя беспокоить, а они, как я вижу, обрадовались моему отсутствию. Как смели пустить к тебе Фомина, когда ты принять его не хотела? Да и ты хороша. Ты пляшешь по их дудке: платишь деньги, кто только попросит, эдак хозяйство не пойдет. Вперед, как приступят к тебе, скажи, что тебе до меня дела нет, и чтоб твои приказания были святы… Не сердись, что я сержусь… Тебя, мой ангел, люблю так, что выразить не могу, с тех пор, как я здесь, я только и думаю, как бы удрать в Петербург — к тебе, женка моя.

…Пожалуйста, не стягивайся, не сиди, поджавши ноги, и не дружись с графинями, с которыми нельзя кланяться в публике. Я не шучу, а говорю тебе серьезно и с беспокойством… Стихов твоих не читаю. Черт ли в них; и свои надоели. Пиши мне лучше о себе — о своем здоровье…» (до 16 декабря).

«Милый мой друг, ты очень мила, ты пишешь мне часто, одна беда: письма твои меня не радуют. Что такое vertige? Обмороки или тошнота? Виделась ли ты с бабкой? Пустили ли тебе кровь? Все это ужас меня беспокоит. Чем больше думаю, тем яснее вижу, что я глупо сделал, что уехал от тебя. Без меня ты что-нибудь да с собою напроказишь. Того и гляди выкинешь. Зачем ты не ходишь? А дала мне честное слово, что будешь ходить по два часа в сутки. Хорошо ли это? Бог знает, кончу ли я здесь мои дела, но к празднику к тебе приеду. Голкондских алмазов дожидаться не намерен, и в новый год вывезу тебя в бусах. Здесь мне скучно…» (16 декабря).

«Голкондские алмазы» — это те самые бриллианты, которые

подарила Наталья Ивановна дочери на свадьбу. Пушкину никак не удавалось их выкупить из заклада.

Об одном из балов, которые посетила Натали в то время, как муж был в Москве, сохранилось воспоминание А. В. Веневитинова, брата известного поэта. Бал давал В. П. Кочубей — князь, председатель Государственного совета и комитета министров, женатый на племяннице Н. К. Загряжской. «Самой красивой женщиной на балу была, бесспорно, Пушкина, жена Александра, хотя среди 400 присутствующих были все те, которые славятся здесь своей красотой».

Имена Натали и Пушкина стали неразрывны. За год супружеской жизни они не только не разошлись, по предположениям многих, но сблизились совершенно, как только и бывает в романах. «Пушкин был ревнив и страстно любил жену свою» (Я. П. Полонский). «Жена его хороша, хороша, хороша! Но страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность», — продолжала пророчествовать Долли Фикельмон, предчувствуя развязку необыкновенного романа «модной» женщины и гения.

«Переходы от порыва веселья к припадкам подавляющей грусти происходили у Пушкина внезапно, как бы без промежутков, что обуславливалось, по словам его сестры, нервною раздражительностью в высшей степени. Он мог разражаться и гомерическим смехом, и горькими слезами, когда ему вздумается, по ходу своего воображения, стоило ему только углубиться в посещавшие его мысли. Не раз он то смеялся, то плакал, когда олицетворял эти мысли в стихах. Восприимчивость нервов проявлялась у него на каждом шагу, а когда его волновала желчь, он поддавался легко порывам гнева. Нервы Пушкина ходили всегда, как на каких-то шарнирах, и если бы пуля Дантеса не прервала нити жизни его, то он немногим бы пережил сорокалетний возраст» (племянник Пушкина Л. Н. Павлищев).

«Сложения он был крепкого и живучего. По всем вероятностям он мог бы прожить еще столько же, если не более, сколько прожил. Дарование его было также сложения могучего и плодовитого. Он мог еще долго предаваться любимым занятиям. Движимый, часто волнуемый мелочами жизни, а еще более внутренними колебаниями не совсем еще установившегося равновесия внутренних сил, он мог увлекаться или уклоняться от цели. Но при нем, но в нем глубоко таилась охранительная и спасительная нравственная сила. Еще в разгаре самой заносчивой и треволненной молодости, в вихре и разливе разнородных страстей он нередко отрезвлялся и успокаивался на лоне этой спасительной силы. Эта сила была любовь к труду, потребность

труда, неодолимая потребность творчески выразить, вытеснить из себя ощущения, образы, чувства» (князь П. А. Вяземский).

Сложный был Пушкин человек. Натали должна была уже тысячу раз испытать на себе приливы и отливы его переменчивых настроений. Уезжая в Москву, он не возражал, чтобы она без него бывала на балах, однако, однажды узнав, что графиня Нессельроде, жена министра, взяла без ведома Пушкина Натали на небольшой придворный Аничковский вечер, он был взбешен и наговорил грубостей графине и между прочим сказал: «Я не хочу, чтоб жена моя ездила туда, где я сам не бываю». Бывать он там не мог, потому что не имел придворного звания…

24 декабря по старому стилю — сочельник Рождества Христова, праздника, по обычаю, семейного и необыкновенно радостного, когда все стремятся в лоно своих родных и близких — разговеться за обильным столом с непременным фаршированным поросенком. Кончался сорокадневный Филиппов пост, и впереди были Святки. Может быть, впервые в жизни Пушкину захотелось стать обыкновенным человеком, сделавшись причастным многовековой традиции, почувствовав всю мудрость истинно христианских устоев жизни. Он, бывший циник и вольнодумец, стремился к своей жене, в свою семью, прочь от «разных народов», которые до того представляли для него постоянный и неизменный интерес.

24 декабря Пушкин выехал из Москвы в Петербург, чтобы поспеть домой к Рождеству: «.. к празднику к тебе приеду».

«Образ жизни мой совершенно переменился…»

«Между нами будет сказано, Пушкин приезжал сюда (в Москву. — Н. Г.) по делам не чисто литературным, или вернее сказать, не за делом, а для картежных сделок, и находился в обществе самом мерзком: между щелкоперами, плутами и обдиралами. Это всегда с ним бывает в Москве. В Петербурге он живет опрятнее. Видно, брат, не права пословица: женится — переменится!» (Н. М. Языков — брату).

Пушкин на этот предмет смотрел иначе. Не разрешив своего «дела», он обратился за помощью к богатому помещику и игроку М. О. Судиенке. «Надобно тебе сказать, что я женат около года и что вследствие сего образ жизни мой совершенно переменился, к неописанному огорчению Софьи Остафьевны (содержательница публичного дома в Петербурге. — Н. Г.) и кавалергардских шаромыжников. От карт и костей я отстал более двух лет; на беду мою я забастовал, будучи в проигрыше, и расходы свадебного обзаведения, соединенные с уплатою карточных долгов, расстроили дела мои. Теперь обращаюсь к тебе: 25 000, данные мне тобою заимообразно, на три или по крайней мере на два года, могли бы упрочить мое благосостояние. В случае смерти есть у меня имение, обеспечивающее твои деньги.

Вопрос: можешь ли ты мне сделать сие, могу сказать, благодеяние? В сущности из числа крупных собственников трое только на сем свете состоят со мною в сношениях более или менее дружеских: ты, Яковлев и третий (имеется в виду Николай I. — Н. Г.). Сей последний записал меня недавно в какую-то коллегию и дал уже мне (сказывают) 6000 годового дохода; более от него не имею права требовать. К Яковлеву в прежнее время явился бы я со стаканчиком и предложил бы ему «легкий завтрак», но он скуп, и я никак не решаюсь просить у него денег взаймы. Остаешься ты. К одному тебе могу обратиться откровенно, зная, что если ты и откажешь, то это произойдет не от скупости или недоверчивости, а просто от невозможности.

Еще слово: если надежда моя не будет тщетна, то прошу тебя назначить мне свои проценты, не потому что они были бы нужны для тебя, но мне иначе деньги твои были бы тяжелы. Жду ответа и дружески обнимаю тебя. Весь твой А. Пушкин» (15 января 1832 г.).

Итак, царь, по словам самого же поэта, состоит с ним «в сношениях более или менее дружеских» и сделал для Пушкина в

сложившейся ситуации все, что только мог.

В Москву было послано письмо к другу Нащокину, где за напускным цинизмом не трудно уловить тешащие самолюбие чувства, что высокий покровитель не оставляет вниманием жены-красавицы: «Выронил у тебя серебряную копеечку. Если найдешь ее, перешли. Ты их счастию не веришь, а я верю. Жену мою нашел я здоровою, несмотря на девическую ее неосторожность. На балах пляшет, с государем любезничает, с крыльца прыгает. Надобно бабенку приструнить. Она тебе кланяется и готовит шитье» (10 января 1832 г.).

Натали, как видно, от мужа ничего не скрывала, да и обмен любезностями происходил на глазах у публики.

«Женитьба произвела в характере поэта глубокую перемену. С того времени он стал смотреть серьезнее, а все-таки остался верен привычке своей скрывать чувство и стыдиться его. В ответ на поздравление с неожиданной способностью женатым вести себя, как прилично любящему мужу, он шутя отвечал: «Я только притворяюсь».

Быв холостым, он редко обедал у родителей, а после женитьбы — почти никогда; когда же это встречалось, то после обеда на него иногда находила хандра…», «Это было на другой год после женитьбы Пушкина. П. А. Осипова была в Петербурге и у меня остановилась: они вместе приезжали к ней с визитом в открытой колясочке, без человека. Пушкин казался очень весел, вошел быстро и подвел жену ко мне… Уходя, он побежал вперед и сел прежде ее в экипаж; она заметила шутя, что это он сделал от того, что муж» (А. П. Керн).

Между тем Натали «готовила шитье» младенцу, который должен был родиться в мае. Являться на балах сделалось ей затруднительно.

Пушкин продолжал получать знаки царской милости. Государь подарил поэту Полное собрание законов Российской империи — по цене немалой: 560 рублей ассигнациями. Пушкин был тронут и дерзнул просить о новой услуге — через «милостивого государя Александра Христофоровича», графа Бенкендорфа.

«С чувством глубочайшего благоговения принял я книгу, всемилостивейше пожалованную мне Его императорским величеством. Драгоценный знак царского ко мне благоволения возбудит во мне силы для совершения предпринимаемого мною труда, и который будет ознаменован если не талантом, то по крайней мере усердием и добросовестностью.

Ободренный благосклонностью Вашего высокопревосходительства, осмеливаюсь вновь беспокоить Вас

покорнейшею просьбой: о дозволении мне рассмотреть находящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера, пользовавшегося разными редкими книгами и рукописями, доставленными ему Шуваловым для составления его «Истории Петра Великого» (24 февраля 1832 г.).

Библиотека Вольтера была куплена Екатериной II, и ни один русский писатель еще не прикасался к ценнейшей коллекции философских, исторических, богословских произведений. Пушкину первому было разрешено пользоваться ею для своих исторических изысканий.

Перед самыми родами жены Пушкиным снова овладела охота к перемене мест, и с Галерной они переселились на Фуршатскую улицу в дом Алымова…

19 мая родилась девочка, названная в честь покойной прабабки — любимой бабушки Пушкина Марии Александровны Ганнибал. Муж плакал при первых родах и говорил, что убежит от вторых. Маша родилась слабенькой, поздно начала ходить и говорить, много болела, к ней часто приглашали ИТ. Спасского — постоянного домашнего доктора Пушкиных, одного из самых лучших русских медиков того времени. Маша выправилась и росла «премилой и бойкой девочкой», дожив до глубокой старости.

В самое время первых родов Натали в Петербурге появился ее милый Дединька Афанасий Николаевич, который приехал просить у царя или субсидий на поправление дел в Полотняном Заводе, или разрешения продать майоратные владения. В ожидании результатов своего посольства к царю Афанасий Николаевич «разыгрывает молодого человека и тратит деньги на всякого рода развлечения» — это слова из письма Александры Николаевны Гончаровой к брату Дмитрию.

В записной книжке Афанасия Николаевича появляются заметки о деньгах. «Мая 22 — Наташе на зубок положил 500», «Июня 9 — Мите на крестины к Пушкиной дано 100». Тратил он на врачей, лекарства, раздаривал подарки своим любовницам.

Все три брата Гончаровы жили в Петербурге, две старшие сестры Натали проводили свою молодость в Полотняном Заводе, рискуя остаться старыми девами. «Чем тратить так деньги в его возрасте, лучше бы подумал, как нас вывезти отсюда и как дать нам возможность жить в городе. То-то и есть, что каждый думает о себе, а мы, сколько бы не думали о себе, ничего не можем сделать, как бы мы ни ломали голову, так и останемся в том положении раскрывши рот в чаянии неизвестно чего… У меня не выходит из головы, что нас прокатят в Ярополец для разнообразия и для того, чтобы развлечь немного, и забудут там,

так же как и во всяком другом месте. Нет, серьезно, любезный братец, сжалься над нами и не оставляй нас!» — взывали обе сестры к старшему брату, еще не подступаясь с криком о помощи к Натали.

Получив отказ у царя на свои прошения, Ташин Дединька слег, и 8 сентября 1832 года умер. Хоронить его повезли в Полотняный Завод.

Возможно, что смерть главы семейства Гончаровых ускорила поездку в Москву Пушкина. Натали, видимо, поручила мужу узнать, не оставил ли Афанасий Николаевич завещания, что собираются предпринять мать Наталья Ивановна и брат Дмитрий, наследник майората.

Кроме того, Пушкин рассчитывал договориться с москвичами-литераторами о сотрудничестве в его предполагаемом журнале. Как писал он в своем ходатайстве к императору после рождения Маши, «до сих пор я сильно пренебрегал своими денежными средствами. Ныне, когда я не могу оставаться беспечным, не нарушая долга перед семьей, я должен думать о способах увеличения своих средств и прошу на то разрешения Его величества… Мое положение может обеспечить литературное предприятие…»

В письмах во время второй разлуки Пушкин делится с женой своими заботами, не скрывает своего истинного настроения, постоянно жалуется на «тоску» без нее, беспокоится о дочке — одним словом, обращается к Натали как к человеку дорогому и близкому по духу, способному понять причины его волнений. Натали чуть ли не каждый день писала мужу из Петербурга в Москву; в который раз приходится пожалеть, что письма ее пропали. Но и без того понятно, какие нежные и трогательные чувства связывали супругов, а взаимные полушутливые приступы ревности свидетельствуют лишь о том, как дороги были друг другу поэт и красавица…

«Не сердись, женка, дай слово сказать. Я приехал в Москву вчера, в среду. Велосифер, по-русски поспешный дилижанс, несмотря на плеоназм, поспешал как черепаха, а иногда даже как рак. В сутки случилось мне сделать три станции. Лошади расковывались, и — неслыханная вещь! — их подковывали на дороге. 10 лет езжу я по большим дорогам, отроду не видывал ничего подобного. Насилу дотащился в Москву, дождем встревоженную и приездом двора. Теперь послушай, с кем я путешествовал, с кем провел я пять дней и пять ночей. То-то мне будет гонка! с пятью немецкими актрисами, в желтых кацавейках и в черных вуалях. Каково? ей-богу, душа моя, не я с ними кокетничал, они со мной амурились в надежде на лишний

билетик. Но я отговаривался незнанием немецкого языка и, как маленький Иосиф, вышел чист от искушения… Государь здесь с 20 числа и сегодня едет к вам, так что с Бенкендорфом не успею увидеться, хоть было бы и нужно. Великая княгиня была очень больна, вчера было ей легче, но двор еще беспокоен, и Государь не принял ни одного праздника. Видел Чаадаева в театре, он звал меня повсюду с собой, но я дремал. Дела мои, кажется, скоро могут кончиться, а я, мой ангел, не мешкая ни минуты, поскачу в Петербург. Не можешь вообразить, какая тоска без тебя. Я же всё беспокоюсь, на кого я покинул тебя! на Петра, на сонного пьяницу, который спит, не проспится, ибо он и пьяница и дурак, на Ирину Кузьминичну, которая с тобой воюет, на Ненилу Ануфриевну, которая тебя грабит. А Маша-то? Что ее золотуха и что Спасский? Ах женка, душа! Что с тобою будет? прощай, пиши» (22 сентября).

«Какая ты умненькая, какая ты миленькая! какое длинное письмо, как оно дельно! благодарствуй, женка. Продолжай, как начала, и я век за тебя буду Бога молить. Заключай с поваром какие хочешь условия, только бы не был я принужден, отобедав дома, ужинать в клубе… Твое намерение съездить к Плетневу похвально, но соберешься ли? Ты съезди, женка, спасибо скажу… Нащокин мил до чрезвычайности. У него проявились два новых лица в числе челядинцев. Актер, игравший вторых любовников, ныне разбитый параличом и совершенно одуревший, и монах, перекрест из жидов, обвешанный веригами, представляющий нам в лицах жидовскую синагогу и рассказывающий нам соблазнительные анекдоты о московских монашенках… не понимаю, как можно жить окруженным такой сволочью… Дела мои принимают вид хороший. Завтра начну хлопотать, и если через неделю не кончу, то оставлю всё на попечение Нащокина, а сам отправлюсь к тебе — мой ангел, милая моя женка. Покамест прощай, Христос с тобой и с Машей…» (25 сентября)

«Вот видишь, что я прав, нечего тебе было принимать Пушкина. Просидела бы у Идалии и не сердилась на меня. Теперь спасибо тебе за твое милое-милое письмо. Я ждал от тебя грозы, ибо, по моему расчету, прежде воскресенья ты письма от меня не получила; а ты так тиха, так снисходительна, так забавна, что чудо. Что это значит? Уж не кокю ли я? Смотри! Кто тебе говорит, что я у Баратынского не бываю? Я и сегодня провожу у него вечер, и вчера у него был. Мы всякий день видимся. А до жен нам и дела нет. Грех тебе меня подозревать в неверности к тебе и в разборчивости к женам друзей моих. Я только завидую тем из них, у коих супруги не красавицы, не ангелы прелести, не мадонны и т. д. Знаешь русскую песню —

Не дай Бог хорошей жены,
Хорошу жену часто в пир зовут.

А бедному-то мужу во чужом пиру похмелье, да и в своем тошнит. — Сейчас от меня — альманашник. Насилу отговорился от него. Он стал просить стихов для альманаха, а я статьи для газеты. Так и разошлись. На днях был я приглашен Уваровым в университет. Там встретился с Каченовским [3] (с которым, надобно тебе сказать, бранивались мы, как торговки на вшивом рынке). А тут разговорились с ним так дружески, так сладко, что у всех предстоящих потекли слезы. Передай это Вяземскому. Благодарю, душа моя, за то, что в шахматы учишься. Это непременно нужно во всяком благоустроенном семействе, докажу после… Мне пришел в голову роман, и я, вероятно, за него примусь, но покамест голова моя идет кругом при мысли о газете. Как-то слажу с ней?..» (30 сентября)

«По пунктам отвечаю на твои обвинения. 1) Русский человек в дороге не переодевается и, доехав свинья свиньею до места, идет в баню, которая наша вторая мать… Ты разве не крещеная, что всего этого не знаешь? 2) В Москве письма принимаются до 12 часов, а я въехал в Тверскую заставу ровно в 11 часов, следственно, и отложил писать тебе до другого дня. Видишь ли, что я прав, а что ты кругом виновата? виновата 1) потому, что всякий вздор забираешь себе в голову, 2) потому, что пакет Бенкендорфа (вероятно важный отсылаешь, с досады на меня, Бог ведает куда, 3) кокетничаешь со всем дипломатическим корпусом, да еще жалуешься на свое положение, будто б подобное нащокинскому («он кокю[4] и видит, что это состояние приятное и независимое. Он ездил со мною в баню…», писал Пушкин еще 22 сентября). Женка, женка! но оставим это. Ты, мне кажется, воюешь без меня дома, сменяешь людей, ломаешь картеры, сверяешь счеты, доишь кормилицу. Ай-да хват баба! что хорошо, то хорошо. Здесь я не так-то деятелен… Брат Дмитрий Николаевич здесь. Он в Калуге никакого не нашел акта, утверждающего болезненное состояние отца, и приехал хлопотать о том сюда. С Натальей Ивановной они сошлись и помирились. Она не хочет входить в управление имения и во всем полагается на Дмитрия Николаевича. Отец поговаривает о духовной, на днях будет он освидетельствован гражданским губернатором. К тебе пришлют для подписания доверенности… Прощай, душа моя, целую тебя и Машу. Христос с тобою» (3 октября).

Речь идет о доверенности, которую должны были подписать все члены семьи Гончаровых, в том, что они согласны передать

Дмитрию Николаевичу, как старшему в роде, в связи с болезнью отца Натали управление майоратом, минуя законного наследника Николая Афанасьевича. Для установления опеки требовались соответствующие документы, которых не оказалось… После длительных хлопот опека наконец был утверждена, и Дмитрий Николаевич стал во главе гончаровского майората. «Путаник в делах», неопытный в коммерческих делах, Дмитрий Гончаров допускал поначалу много ошибок, да и впоследствии не сумел привести в полный порядок устройство предприятий, выплачивая огромные проценты (иногда превышавшие сумму долга) по обязательствам и закладным. Ему приходилось выдавать значительные средства на содержание большой гончаровской семьи, и долги деда не удалось покрыть до самой смерти.

1832 год отмечен малым количеством произведений Пушкина, основное из них — роман «Дубровский». Нащокин в Москве рассказал ему о процессе бедного дворянина Островского с состоятельным соседом. Пушкин добыл подлинное судебное дело о селе Новопанском, по прочтении его тотчас явилась идея повести. «Мне пришел в голову роман, и я, вероятно, за него примусь», — сообщает он из Москвы жене в Петербург — одной из самых первых. И действительно, вернувшись домой, Пушкин увлекся новой работой и, как всегда, писал «запоем»: 21 октября начата первая глава, к концу года их было уже 15, январь 33-го довел повествование до 19-й главы, и на том оно оборвалось. В третьей части романа, по одной из версий, Дубровский приезжает в Москву и, выданный предателем, оказывается в руках полиции… При жизни автора роман не был напечатан.

11 декабря Вяземский писал Жуковскому: «Пушкин собирался было издавать газету, все шло горячо, и было позволение на то, но журнал нам, как клад не дается. Он поостыл, позволение как-то попризапуталось или поограничилось, и мы опять без журнала».

В конце года Пушкин пишет другу Нащокину: «К лету будут у меня хлопоты. Наталья Николаевна брюхата опять и носит довольно тяжело. Не приедешь ли ты крестить Гаврила Александровича? Я такого мнения, что Петербург был бы для тебя пристанью и ковчегом спасения…» В это же время мать Пушкина пишет своему любимцу младшему сыну Льву, которого между тем в Варшаве «выключили» из полка за дисциплинарные упущения: «Александр болен, маленькая тоже, Натали брюхата». Несколько месяцев Пушкин страдал сильнейшим ревматизмом, который «разыгрался у него в ноге еще до выезда из Москвы, и, судя по письму, Александр страдает ужасно. Снаружи нога как нога: ни

красноты, ни опухоли, но адская внутренняя боль делает его мучеником, говорит, что боль отражается во всем теле, да и в правой руке, почему и почерк нетвердый и неразборчивый, который насилу изучил, читая более часа довольно длинное, несмотря на болезнь сына, послание. Не может он без ноющей боли ни лечь, ни сесть, ни встать, а ходить тем более, отлучаться же из дома Александр был принужден и ради перемены квартиры, и ради других дел, опираясь на палку, как восьмидесятилетний старец. Жалуется, что Наташа дала, во время его отсутствия, слишком большую волю прислуге, почему и вынужден был по приезде, несмотря на болезнь, поколотить хорошенько известного вам пьяницу Алешку за великие подвиги и отослать его назад в деревню. Алешка всегда пользовался отсутствием барина, чтобы повеселиться по-своему» (С. Л. Пушкин, отец поэта — дочери).

С декабря молодые Пушкины снова жили на новой квартире «на проспекте Гороховой улицы, состоящей из 12 комнат и принадлежащей кухни, и при оном службы: сарай для экипажей, конюшня на четыре стойла, небольшой сарай для дров, ледник и чердак для вешания белья… За наем 3300 рублей ассигнациями в год».

Зимой 1832–33 года, когда ревматизм перестал сильно беспокоить, Пушкин «каждое утро отправлялся в какой-нибудь архив, выигрывая прогулку возвращением оттуда к позднему обеду. Даже летом пешком с дачи он ходил для продолжения своих занятий» (Плетнев).

Тем не менее отзывы друзей начала 1833 года становятся критическими, неодобрительными. Многие подмечали, что Пушкин слишком увлекся светской жизнью.

«Пушкин волнист, струист, и редко ухватишь его. Жена его процветает красотою и славою. Не знаю, что он делает с холостою музой своей, но с законной трудится он для потомства, и она опять с брюшком» (Вяземский).

«Пушкина нигде не встретишь, как только на балах. Так он протранжирит всю жизнь свою, если только какой-нибудь случай, и более необходимость, не затащут его в деревню» (Н. В. Гоголь).

«Вы теперь вправе презирать таких лентяев, как Пушкин, который ничего не делает, как только утром перебирает в гадком своем сундуке старые к себе письма, а вечером возит жену свою по балам, не столько для ее потехи, сколько для собственной» (Плетнев).

«Вчерашний маскарад был великолепный, блестящий, разнообразный, жаркий, душный, восхитительный. Много совершенных красавиц: Завадовская, Радзвилова-Урусова… Хороша очень была Пушкина-поэтша, но сама по себе, не в

кадрилях, по причине, что Пушкин задал ей стишок свой, который, с помощью Божией, не пропадает также для потомства», — намекал Вяземский в письме к А. Я. Булгакову на беременность Натали, которая была уже всем заметна. Как кажется, Пушкин ездил с женой на балы более «для своей потехи». Ей самой — какое же веселье во второй половине беременности, тем более что переносила она ее тяжело. Но подчиняясь мужу, она продолжала появляться на балах и маскарадах. Никаких тайных мыслей или желаний не приходило в голову Натали. Счастливый — открытый и любезный ее молодой характер, соединенный с необыкновенной красотой, надо думать, производил в высшем свете то впечатление, которое тонко схватил Гоголь и запечатлел в одном из писем знаменитой «Переписки с друзьями» — «Женщина в свете»: «…вы точно, слишком молоды, не приобрели ни познанья людей, ни познанья жизни, словом — ничего того, что необходимо, дабы оказывать помощь душевную другим; но у вас есть другие орудия, с которыми вам все возможно. Во-первых, вы имеете уже красоту, во-вторых, неопозоренное, неоклеветанное имя, в третьих — власть, которой сами в себе не подозреваете, — власть чистоты душевной. Красота женщины есть тайна. Бог недаром повелел иным из женщин быть красавицами; недаром определено, чтобы всех равно поражала красота, — даже и таких, которые ко всему бесчувственны и ни к чему не способны. Если уже один бессмысленный каприз красавицы бывал причиной переворотов всемирных и заставлял делать глупости людей наиумнейших, что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру? Сколько бы добра тогда могла бы произвести красавица сравнительно перед другими женщинами! Стало быть, это орудие сильное! Но вы имеете еще высшую красоту, чистую прелесть какой-то особенной, одной вам свойственной невинности, которую я не умею определить словом, но в которой так и светится всем ваша голубиная душа. Знаете ли, что мне признавались наиразвратнейшие из нашей молодежи, что перед вами ничто дурное не приходило им в голову, что они не отваживались сказать в вашем присутствии не только двусмысленного слова, которым потчевают других избранниц, но даже просто никакого слова, чувствуя, что все будет перед вами как-то грубо и отзовется чем-то ухарским и неприличным. Вот уже одно влияние, которое совершается без вашего ведома от одного вашего присутствия!..»

Именно эту непохожесть Натали на других красавиц — «на вид она была сдержанна до холодности и вообще мало говорила» — принимали за «странность»: «В Петербурге, где она блистала,

во-первых, своей красотой и в особенности тем видным положением, которое занимал ее муж, — она бывала постоянно в большом свете и при дворе, но ее женщины находили несколько странной. Я с первого раза без памяти в нее влюбился; надо сказать, что тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал по Пушкиной; ее лучезарная красота рядом с этим магическим именем всем кружила головы; я знал очень много молодых людей, которые серьезно были уверены, что влюблены в Пушкину, не только вовсе с нею незнакомых, но чуть ли никогда собственно даже ее и не видевших» (граф В. А. Соллогуб, 1833 г.).

Как тут снова не вспомнить слова императрицы «она похожа на героиню романа». При этом Натали была настолько непохожа своей недоступностью на многих «доступных» красавиц высшего света, что этой «странностью» через пару лет поразила Жоржа Дантеса в самое сердце и невольно заставила добиваться себя… Но в этой истории еще предстоит разобраться, теперь же Натали достигла степени какого-то языческого «обожествления» своей красоты. На костюмированном масленичном балу в Главном Управлении уделов «она появилась в костюме жрицы солнца и имела успех. Император и императрица подошли к ней, похвалили ее костюм, и император объявил ее царицей бала. Натали подробно нам о том писала» (мать Пушкина — дочери).

Интересно было бы узнать, кто придумал этот не лишенный аллегорического смысла костюм — поэт или красавица… Бог Солнца в греческой мифологии, Аполлон, обладавший даром предвидения, был также и богом гармонии и искусств — поэзии и музыки. Аналогия напрашивалась сама собой: Натали, «жрица Аполлона», муза Пушкина — главного бога поэзии России.

«Жизнь моя в Петербурге ни то, ни се. Заботы о жизни мешают мне скучать. Но нет у меня досуга вольной холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в большой моде — все это требует денег, деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения», — затосковал Пушкин в феврале, а в мае эта тоска переходит чуть не в отчаяние: «Петербург мне не подходит ни в каком отношении; ни мои вкусы, ни мои средства не могут приспособиться к нему. Но два или три года придется потерпеть».

В мае родители Пушкина направились из Москвы в Михайловское и заехали в Петербург, чтобы добыть денег в Опекунском совете на бесконечные залоги и перезалоги болдинских крестьянских душ. И тут бабушка и дедушка впервые увидели свою годовалую внучку Мари. «Александр и Натали пришли тотчас же, их маленькая очень была больна, но,

благодаря Бога, со вчерашнего дня совершенно избавилась от болезни и, право, хороша, как ангелок. Хотел бы я, дорогая Олинька, чтоб ты ее увидела, ты почувствуешь соблазн написать ее портрет, ибо ничто как она не напоминает ангелов, писанных Рафаэлем» (Сергей Львович Пушкин). «Я была в восторге, что снова вижу наших, маленькая хороша как ангел и очень мила, чувствую, что полюблю ее до безумия и буду баловницей, как все бабушки… Натали должна родить в июле. Мы видаемся всякий день…» Родители обсудили с Александром дела своего младшего сына Льва, и Пушкин включился в отчаянную родственную борьбу за его спасение от служебных неприятностей и долгов. С помощью и при содействии своих высокопоставленных знакомых Пушкину удалось переменить позорную «выключку» брата со службы в Варшаве на благопристойную «отставку» и за отсутствием денег у родителей взять долги Льва Сергеевича на себя. К старым долгам Пушкина добавились новые — брата, однако такое самоотвержение сблизило старшего сына с родителями, как никогда… Натали была очень довольна этим.

«Александр и Натали на Черной речке, они наняли дачу Миллера, она очень красивая, при ней большой сад и дом очень большой: в нем 15 комнат вместе с верхом… Александр и Натали целуют вас, она вскоре должна родить, и он уедет в деревню через несколько недель после того» (мать Пушкина младшим детям в Варшаву).

На этой даче Миллера 6 июля у Пушкиных родился сын, названный в честь отца Александром. Наталья Ивановна, обрадованная рождением внука, послала в подарок дочери 1000 рублей. Она писала своему старшему сыну Дмитрию, что Пушкин «рассчитывает через несколько недель приехать в Москву и спрашивает моего разрешения заехать в Ярополец и навестить меня, что я принимаю с удовольствием». Как видно, в отношениях зятя с тещей начинался тот период, когда она, по воспоминаниям Е. А. Долгоруковой, «полюбила Пушкина, слушалась его. Он с ней обращался как с ребенком…»

Наталья Ивановна, надо думать, наконец поверила в искренность чувств Пушкина к своей младшей дочери, под влиянием которой поэт старался исправить свою жизнь: теперь было несомненно, что его «образ жизни… переменился».

На крестины младенца Александра приезжал из Москвы дорогой гость Павел Воинович Нащокин. Крестной матерью была тетка матери фрейлина Екатерина Ивановна Загряжская. Крестили в Предтеченской церкви Каменного острова 20 июля 1833 года.

К этому времени относится воспоминание Фр. Титца: «Это

было в начале июля в одну из тех очаровательных ночей, какие только можно видеть на дальнем Севере. В такую пору я с моим приятелем гулял по островам. Уже прошла полночь. В недалеком расстоянии от нас, то медленно, то ускоряя шаги, прогуливался среднего роста, стройный человек. Походка его была небрежна, иногда он поднимал правую руку высоко вверх, как пламенный декламатор. Казалось, что незнакомец разговаривал сам с собой… Одет он был по последней моде, но заметна была какая-то небрежность. Между тем и незнакомец заметил нас. «Здравствуйте, Пушкин!» Приятель мой, уже знакомый с ним, представил нас друг другу. Поэт и мой спутник начали между собой оживленный разговор по-французски. Тоска и разорванность со светом были заметны в речах Пушкина и не казались мне пустым представлением. «Я не могу более работать, — отвечал он на вопрос: не увидим ли мы вскоре его новое произведение? — Здесь бы я хотел построить себе хижину и сделаться отшельником», — прибавил он с улыбкою. «Если бы в Неве были прекрасные русалки, — отвечал мой спутник, намекая на юношеское стихотворение Пушкина «Русалка» и приводя из него слова, которыми она манит отшельника: «Монах, монах! Ко мне, ко мне!» «Как это глупо! — проворчал поэт, — никого не любить, кроме самого себя». «Вы имеете достойную любви прекрасную жену», — сказал ему мой товарищ. Насмешливое, протяжное «да!» было ответом. Я выразил мое восхищение прекрасною, теплою ночью. «Она очень приятна после сегодняшней страшной жары», — небрежно и прозаически отвечал мне поэт. Товарищ мой старался навести его на более серьезный разговор (как будто Пушкину вменялось в обязанность день и ночь говорить «серьезно». — Н. Г.), но он постоянно от того отклонялся. «Там вечерняя заря, малое пространство ночи, а там уже заря утренняя, — сказал мой друг. — Смерть, мрак гроба и пробуждение к прекраснейшему дню!» Пушкин улыбнулся. «Оставьте это, мой милый! Когда мне было 22 года, знал и я такие возвышенные мгновенья, но в них ничего нет действительного. Утренняя заря! Пробуждение! Мечты, только одни мечты!» В это время плыла вниз по Неве лодка с большим обществом. Раздалось несколько аккордов гитары, и мягкий мужской голос запел «Черную шаль» Пушкина. Лишь только окончилась первая строфа, как Пушкин, лицо которого мне показалось гораздо бледнее обыкновенного, проговорил про себя: «С тех пор я не знаю спокойных ночей!» и, сказав нам короткое «доброй ночи!», исчез в зеленой темноте леса…»

Всё существо Пушкина снова жаждало перемен, движения, новых впечатлений, необычайных знакомств. Трудясь в архивах,

он невольно разгорячил воображение историческими образами, удивляясь тому, «сколько отдельных книг можно составить тут! Сколько творческих мыслей тут могут развиться!» Действительно, изучая материалы эпохи Петра I, Пушкин наткнулся на множество документов и сведений о пугачевском страшном бунте, «бессмысленном и беспощадном», и решился писать книгу о его главаре, который возбудил чернь к восстанию и надолго лишил спокойствия пределы родной земли. Большая часть «Истории Пугачева» была написана за пять недель в апреле — мае, и возникла нужда посетить места, связанные с восстанием, а затем, уединившись в Болдине, в котором не был уже два года, закончить начатую работу.

«Путешествие нужно мне нравственно и физически…»

«В продолжение двух последних лет занимался я одними историческими изысканиями, не написав ни одной строчки чисто литературной. Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую, и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду. Мне самому совестно тратить время на суетные занятия, но что делать, они одне доставляют мне независимость и способ проживать с моим семейством в Петербурге, где труды мои, благодаря Государя, имеют цель более важную и полезную.

Кроме жалованья, определенного мне щедростию его величества, нет у меня постоянного дохода, между тем жизнь в столице дорога и с умножением моего семейства умножаются и расходы.

Может быть, Государю угодно знать, какую именно книгу хочу дописать в деревне: это роман, коего большая часть происходит в Оренбурге и Казани, и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии…» (30 июля, Мордвинову, ближайшему помощнику графа Бенкендорфа)

7 августа 1833 года было получено высочайшее разрешение на четырехмесячный отпуск, и Пушкин собрался в дорогу, оставив жену с годовалым и месячным младенцами на даче Миллера, под покровительством тетушки Екатерины Ивановны.

23 августа он приехал в Ярополец и пробыл там более суток вместо предполагаемых нескольких часов. В день именин Натальи 26 августа Пушкин послал жене полный отчет о встрече с тещей. «Поздравляю тебя со днем твоего ангела, мой ангел, целую тебя заочно в очи — и пишу тебе продолжение моих похождений — из антресолей вашего Никитского дома, куда прибыл я вчера благополучно из Яропольца. В Ярополец я приехал в середу поздно. Наталья Ивановна встретила меня как нельзя лучше. Я нашел ее здоровою, хотя возле нее лежала палка, без которой далеко ходить не может. Четверг я провел у нее. Много говорили о тебе, о Машке и Катерине Ивановне. Мать, кажется, тебя к ней ревнует; но хотя она по своей привычке и жаловалась на прошедшее, однако с меньшей уже горечью. Ей очень хотелось бы, чтобы ты будущее лето провела у нее. Она живет очень уединенно и тихо в своем разоренном дворце и разводит огороды над прахом твоего прадедушки Дорошенки, к которому ходил я на

поклонение… Я нашел в доме старую библиотеку, и Наталья Ивановна позволила мне выбрать нужные книги. Я отобрал их десятка три, которые к нам и прибудут с варением и наливками. Таким образом набег мой на Яропolец был вовсе не напрасен…».

Пушкин отсутствовал дома три месяца, путешествуя по пугачевским местам. Он посетил Нижний Новгород, Казань, Симбирск и Оренбург, выезжая порой в окрестные места для встреч и бесед со старожилами, которые могли помнить рассказы о минувших событиях. Пушкин по-прежнему часто писал жене с дороги, представляя ей подробнейший отчет своего путешествия.

«Мой ангел, кажется, я глупо сделал, что оставил тебя и опять начал кочевую жизнь. Живо воображаю первое число. Тебя теребят за долги, Параша, повар, извозчик, аптекарь и т. д., у тебя не хватает денег, Смирдин перед тобой извиняется, ты беспокоишься — сердишься на меня — и поделом. А это еще хорошая сторона картины — что, если у тебя опять нарывы, что, если Машка больна? А другие, непредвиденные случаи? Пугачев не стоит того. Того и гляди, я на него плюну — и явлюсь к тебе. Однако буду в Симбирске и там ожидаю найти писем от тебя…» (из Нижнего Новгорода, 2 сентября)

«Мой ангел, здравствуй. Я в Казани с пятого числа и до сих пор не имел время тебе написать. Сейчас еду в Симбирск, где надеюсь найти от тебя письмо. Здесь я возился со стариками, современниками моего героя, объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту сторону…» (из Казани, 8 сентября)

Из Оренбурга: «Я здесь со вчерашнего дня. Насилу доехал, дорога прескучная, погода холодная, завтра я еду к яицким казакам, пробуду у них дни три — и отправляюсь в деревню через Саратов и Пензу.

Что, женка? Скучно тебе? Мне тоска без тебя. Кабы не стыдно было, воротился бы прямо к тебе, ни строчки не написав. Да нельзя, мой ангел. Взялся за гуж, не говори, что не дюж, — то есть: уехал писать, так пиши же роман за романом, поэтому за поэмой. А уж чувствую, что дурь на меня находит — я и в коляске сочиняю, что же будет в постеле?.. Кстати о хамовом племени: как ты ладишь своим домом? Боюсь, людей у тебя мало: не наймешь ли ты кого? На женщин надеюсь, но с мужчинами как тебе ладить? Всё это меня беспокоит — я мнителен, как отец мой…

Как я хорошо веду себя! Как ты была бы мной довольна! за барышнями не ухаживаю, смотрительшей не щиплю, с калмычками не кокетничаю — и на днях отказался от башкирки,

несмотря на любопытство, очень простительное путешественнику. Знаешь ли ты, что есть пословица: на чужой сторонке и старушка Божий дар. То-то, женка. Бери с меня пример» (19 сентября).

В письмах конечно же всего не опишешь, но интересного было много: говорить — не переговорить… Разговоры остались до дома.

«Милый друг, я в Болдине со вчерашнего дня — думал здесь найти от тебя письма, и не нашел ни одного. Что с вами? Здорова ли ты? Здоровы ли дети? Сердце замирает, как подумаешь. Подъезжая к Болдину, у меня были самые мрачные предчувствия, так что не нашед о тебе никакого известия, я почти обрадовался — так боялся я недоброй вести. Нет, мой друг: плохо путешествовать женатому; то ли дело холостому! Ни о чем не думаешь, ни о какой смерти не печалишься. Последнее письмо мое должна ты была получить из Оренбурга. Оттуда поехал я в Уральск — тамошний атаман и казаки приняли меня славно, дали мне два обеда, подпили за мое здоровье, наперерыв давали мне все известия, в которых имел нужду, и накормили меня свежей икрой, при мне изготовленной… Въехав в границы болдинские, встретил я попов и так же озлился на них на симбирского зайца (который при выезде из Симбирска перебежал дорогу. Встреча с «попом» тоже суеверно считалась несчастливою — Пушкин верил в приметы. — Н. Г.). Недаром все эти встречи. Смотри, женка. Того и гляди избалуешься без меня, забудешь меня — искокетничаешься. Одна надежда на Бога да на тетку. Авось сохранят тебя от искушений рассеянности…» (из Болдина, 2 октября)

«Мой ангел, сейчас получаю от тебя вдруг два письма… Две вещи меня беспокоят: то, что я оставил тебя без денег, а может быть и брюхатою. Воображаю твои хлопоты и твою досаду. Слава Богу, что ты здорова, что Машка и Сашка живы, и что ты хоть и дорого, но дом наняла. Не стращай меня, женка, не говори, что ты искокетничалась; я приеду к тебе, ничего не успев написать — и без денег сядем на мель. Ты лучше оставь меня в покое, а я буду работать и спешить. Вот уж неделю, как я в Болдине, привожу в порядок мои записки, то у нас будет тысяч 30 чистых денег. Заплатим половину долгов и заживем припеваючи…» (8 октября)

Натали, впервые оставшись надолго главою своего семейства, должна был сама нанять квартиру, чтобы переехать с дачи на зиму в город. С помощью тетушки Екатерины Ивановны она присмотрела жилище побольше с просторными детскими и удобным кабинетом для мужа. Пришлось переплатить, и Натали, чтобы не беспокоить лишний раз мужа, вынуждена была обратиться за помощью к брату Дмитрию: «Я только что получила

твое письмо, дорогой Дмитрий, и благодарю тебя миллион раз за 500 рублей, которые ты мне позволяешь занять. Я их уже нашла, но с обязательством уплатить в ноябре месяце. Как ты мне уже обещал, ради Бога, постарайся быть точным, так как я в первый раз занимаю деньги, и еще у человека, которого мало знаю, и была бы в очень большом затруднении, если бы не сдержала слова. Эти деньги мне как с неба свалились, не знаю, как выразить тебе за них мою признательность, еще немного, и я осталась бы без копейки, а оказаться в таком положении с маленькими детьми на руках было бы ужасно. Денег, которые муж мне оставил, было бы более, чем достаточно до его возвращения (деликатно защищает Натали мужа в ответ на упрек брата, что Пушкин оставил жене, уезжая, мало денег, в чем он и сам признавался. — Н. Г.), если бы я не была вынуждена уплатить 1600 рублей за квартиру (задаток); он и не подозревает, что я испытываю недостаток в деньгах, и у меня нет возможности известить его, так как только в будущем месяце он будет иметь твердое местопребывание…»

Натали так и не решилась писать Пушкину о своих денежных затруднениях, оставив «новость» до его приезда. Но она торопила этот приезд, по-видимому, сильно скучая, и начинала ревновать, зная его пылкую натуру. Может, именно поэтому Натали подробно описывала мужу своих поклонников, стараясь пробудить в нем ревность, чтобы поскорее вернуть его домой.

«…В прошлое воскресенье не получил от тебя письма и имел глупость на тебя надуться, а вчера такое горе взяло, что и не запомню, чтобы на меня такая хандра находила. Радуюсь, что ты небрюхата и что ничто не помешает тебе отличаться на нынешних балах… кокетничать я тебе не мешаю, но требую от тебя холодности, благопристойности, важности — не говорю уже о беспорочном поведении, которое относится не к тону, а к чему-то уже важнейшему. Охота тебе, женка, соперничать с графиней Соллогуб. Ты красавица, ты бой-баба, а она шкурка. Что тебе перебивать у нее поклонников? Все равно, кабы граф Шереметев стал оттягивать у меня кистеневских моих мужиков. Кто еще за тобой ухаживает, кроме Огарева? Пришли мне список по азбучному порядку. Да напиши мне также, где ты бываешь и что Карамзины, Мещерская и Вяземские… О себе тебе скажу, что я работаю лениво, через пень-колоду валю. Все эти дни голова болела, хандра грызла меня, нынче легче. Начал многое, но ни к чему нет охоты, Бог знает, что со мною делается. Старам стала и умом плохам. Приеду оживиться твоею молодостию, мой ангел…» (21 октября)

«Теперь, женка, целую тебя, как ни в чем не бывало, и

благодарю за то, что подробно и откровенно описываешь мне свою беспутную жизнь. Гуляй, женка, только не загуливайся и меня не забывай. Мочи нет, хочется мне тебя увидеть причесанную a la Ninon, ты должна быть чудо, как мила… Опиши мне свое появление на балах, которые, как ты пишешь, вероятно, уже открылись. Да, ангел мой, пожалуйста, не кокетничай. Я не ревнив, да и я знаю, что ты во всё тяжкое не пустишься, но ты знаешь, как я не люблю всё, что пахнет московской барышней, все, что не comne il faut, всё, что vulgar (отдает невоспитанностью и вульгарностью. — Н. Г.)… Если при моем возвращении я найду, что твой милый, простой, аристократический тон изменился, разведусь, вот те Христос, и пойду в солдаты с горя. Ты спрашиваешь, как я живу и похорошел ли я? Во-первых, отпустил себе бороду: ус да борода молодцу похвала; выйду на улицу — дядюшкой зовут. 2) Просыпаюсь в семь часов, пью кофей и лежу до трех часов. Недавно расписался, и уже написал пропасть. В три часа сажусь верхом, в пять в ванну и потом обедаю картофелем, да грешневой кашей. До девяти часов читаю. Вот тебе мой день, и всё на одно лицо…» (30 октября)

И наконец, 6 ноября, сообщение: «…Я скоро выезжаю, но несколько времени останусь в Москве, по делам. Женка, женка! Я езжу по большим дорогам, живу по три месяца в степной глуши, останавливаюсь в пакостной Москве, которую ненавижу, — для чего? — для тебя, женка, чтоб ты была спокойна и блистала себе на здоровье, как прилично в твои лета и с твоею красотою… Я привезу тебе стишков много, но не разглашай этого, а то альманашники заедят меня. Целую Машку, Сашку и тебя, благословляю тебя, Сашку и Машку, целую Машку и так далее до семи раз…»

Кокетство, которое в словаре Даля определяется как «строить глазки, жеманничать, рисоваться» и тот «милый аристократический тон», который Пушкин признавал за женой, несовместимы: или одно, или другое… Обвинение в «бездушном кокетстве», выдвинутое против Наташи бытописателями поэта, надуманны и не имеют под собой никаких реальных оснований. Пушкин и на минуту не мог себе представить, что его жена может в самом деле «искокетничаться» — так он объяснялся с ней на обиходном шутливом домашнем языке и не более.

Натали прекрасно знала цену свету и тем мимолетным отношениям, которые завязываются по обязанности, а не по склонности сердца — это касалось и поклонников, и просто общих знакомых. Вот, например, строки из ее письма к брату: «… тесная дружба редко возникает в большом городе, где каждый вращается в своем кругу общества, а главное имеет слишком

много развлечений и глупых светских обязанностей, чтобы хватало времени на требовательность дружбы…» (12 ноября 1833 г.)

Друзья Пушкина вспоминали, что когда он возвращался в Петербург и останавливался в Москве, то почти никто его не видел. Он никуда не являлся, потому что имел трехмесячную бороду, которую дворянам было запрещено отращивать, но ему непременно хотелось показаться бородатым жене. Приехав, он не застал Натали дома. «Она была на бале у Карамзиных. Ему хотелось видеть ее возможно скорее и своим неожиданным появлением сделать ей сюрприз. Он едет к квартире Карамзиных, отыскивает карету Наталии Николаевны, садится в нее и посылает лакея сказать жене, чтобы она ехала домой по очень важному делу, но наказал отнюдь не сообщать ей, что он в карете. Посланный возвратился и доложил, что Наталья Николаевна приказала сказать, что она танцует мазурку с кн. Вяземским. Пушкин посылает лакея во второй раз сказать, чтобы она ехала домой безотлагательно. Наталья Николаевна вошла в карету и прямо попала в объятия мужа. Поэт об этом факте писал нам («Дома нашел я все в порядке. Жена была на бале, я за нею поехал — и увез к себе, как улан уездную барышню с именин городничихи») и, помню, с восторгом упоминал, как его жена была авантажна в этот вечер в своем роскошном розовом платье…» (Нащокин) Известно, что подобные «увозы» были не единичны. Как писала одна дама, «в числе поклонников моей бабушки М. Р. Кикиной были мечтательный князь Одоевский, адмирал Дюгамел и А. С. Пушкин, к которому не особенно благоволила бабушка за его безосновательную ревность к очаровательной жене Н. Н., принужденной иногда среди фигуры lancier покидать бал по капризу мужа».

Болдинская осень 1833 года была плодотворна для Пушкина, и он спешил обрадовать свою Натали «большой добычей», как писал ей в письме. Действительно, он закончил «Историю Пугачевщины», написал «Сказку о мертвой царевне» и «Сказку о рыбаке и рыбке», несколько стихотворений и поэму «Медный всадник», которую в начале декабря представил своему венценосному цензору Николаю I.

Через графа Бенкендорфа Пушкин обратился к царю с просьбой разрешить печатать «Пугачева» в казенной типографии за свой счет и выдать ему для этой цели ссуду в 20 000 рублей с обязательством выплатить долг в течение двух лет. Деньги были выданы, позволение печатать получено, только с другим названием — «История пугачевского бунта». Пугачев выдавал себя за царя Петра Федоровича, Петра III, якобы не умершего…

Пушкин рассчитывал выручить за книгу 40 000, погасить часть долга казне, расплатиться с неотложными частными долгами и, имея свободные деньги, «зажить припеваючи». Поездка освежила его силы.

«Пожалован в камер-юнкеры…»

«1 января 1834 г. Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтоб Наталья Николаевна танцовала в Аничкове… Меня спрашивали, доволен ли своим камер-юнкерством? Доволен, потому что Государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным — а по мне, хоть в камер-пажи, только б не заставили учиться французским вокабулам и арифметике» (из дневника Пушкина).

«Пушкина сделали камер-юнкером, это его взбесило, ибо сие звание точно было неприлично для человека в 34 года, и оно тем более его оскорбило, что иные говорили, будто оно было дано, чтоб иметь повод приглашать ко двору его жену. Притом на сей случай вышел мерзкий пасквиль, в котором говорили о перемене чувств Пушкина, будто он сделался искателем, малодушен, и он, дороживший своей славой, боялся, чтоб сие мнение не было принято публикой и не лишило его народности. Словом, он был огорчен и взбешен и решился не воспользоваться своим мундиром, чтоб ездить ко двору, не шить даже мундира. В этих чувствах он пришел к нам однажды. Жена моя, которую он очень любил и очень уважал, и я стали опровергать его решение, представляя ему, что пожалование в сие звание не может лишить его народности, ибо все знают, что он не искал его, что его нельзя было сделать камергером по причине чина его, что натурально двор желал иметь возможность приглашать его и жену его к себе, и что Государь пожалованием его в сие звание имел в виду только иметь право приглашать его на свои вечера, не изменяя церемониалу, установленному при дворе. Долго спорили мы, убеждали Пушкина, наконец, полуубедили. Он отнекивался только неимением мундира, и что он слишком дорого стоит, чтоб заказывать его. На другой день, узнав от портного о продаже нового мундира князя Витгенштейна, перешедшего в военную службу, и что он совершенно будет впору Пушкину, я ему послал его, написав, что мундир мною куплен для него, но что предоставляется взять его или ввергнуть меня в убыток, оставив его на моих руках. Пушкин взял мундир и поехал ко двору», — так описывает неожиданную перемену в жизни поэта Николай Михайлович Смирнов, муж приятельницы Пушкина Смирновой-Россет. Смирнов был богат, также имел звание камер-юнкера и служил на дипломатическом поприще.

Мать Пушкина была польщена милостью двора к сыну, уже 4 января она распространила «новость» среди своих знакомых, добавляя, что «Натали в восторге».

«Государь сказал княгине Вяземской: «Я надеюсь, что Пушкин принял в хорошую сторону свое назначение — до сих пор он держал мне свое слово и я им доволен» и т. д., и т. д. Великий князь намедни поздравил меня в театре: «покорнейше благодарю, Ваше высочество, до сих пор все надо мною смеялись, вы первый меня поздравили» (из дневника Пушкина, 7 января).

Он, как всегда, преувеличивал, что «все смеялись». Пушкин и рад бы радоваться, да «крепко боялся дурных шуток над его неожиданным камер-юнкерством», уже через две недели, по словам Карамзиной, он «успокоился, стал ездить по балам и наслаждаться торжественною красотою жены, которая, несмотря на блестящие успехи в свете, часто и преискренно страдает мучением ревности, потому что посредственная красота и посредственный ум других женщин не перестают кружить поэтическую голову ее мужа…»

«Нужно сознаться, что Пушкин не любил камер-юнкерского мундира. Он не любил в нем не придворную службу, а мундир камер-юнкера. Несмотря на мою дружбу к нему, я не буду скрывать, что он был тщеславен и суетен. Ключ камергера был бы отличием, которое он оценил, но ему казалось неподходящим, что в его годы, в середине его карьеры, его сделали камер-юнкером наподобие юношей и людей, только что вступающих в общество. Вот вся истина против предубеждения против мундира. Это происходило не из оппозиции, не из либерализма, а из тщеславия и личной обидчивости» (князь П. А. Вяземский).

Поуспокоившись и поняв многие выгоды нового своего положения, Пушкин писал Нащокину в середине марта: «Вот тебе другие новости; я камер-юнкер с января месяца. «Медный всадник» не пропущен, убытки и неприятности! зато Пугачев пропущен, и я печатаю его за счет Государя. Это совершенно меня утешило, тем более, что, конечно, сделав меня камер-юнкером, Государь думал о моем чине, а не моих летах — и верно не думал уж меня кольнуть…»

Истинная правда. Советский миф о злой воле Николая I, «одевшего великого поэта в шутовской полосатый камер-юнкерский мундир в отместку за поэму «Медный всадник», имел под собой единую причину — ненависть к свергнутой монархической власти. Ее представители ошельмовывались и компрометировались по любому поводу, а чаще всего — без повода, присвоение придворного чина Пушкину было несомненной монаршей милостью — следующим шагом по пути упрочения его благосостояния и положения. Действительно, он никогда не служил и имел очень маленький чин 9-го класса с титулованием «Ваше благородие». Государь присвоил Пушкину

сразу 5-й чин придворного звания, соответствующий статскому советнику в гражданских чинах с обращением «Ваше высокородие». Только в придворных чинах право производства целиком зависело от усмотрения императора. Гражданская и военная карьера зависела от усердной службы, до больших чинов нужно было еще дослужиться… Поэт Жуковский, воспитатель наследника престола, имел придворный чин и ничуть тому не обижался, потому что обладатели придворных чинов отличались тем преимуществом, что имели возможность постоянного и тесного общения с императорской семьей — не только и не столько на балах, но в деле, умный человек должен был воспринимать придворное положение как стояние перед самым лицом истории. Пушкин, надо думать, стал склоняться к такому мнению. В пояснение слов Вяземского о «ключе камергера» добавим, что камергер титуловался «Вашим превосходительством» и относился к 4-му чину, соответствуя генеральским рангам военных. По его мнению, Пушкина вполне бы устроило это звание. Камергерам давались специальные знаки отличия: золотые ключи, носимые на голубой андреевской ленте.

Служить Пушкина по-прежнему никто не заставлял. Принявши придворное звание, он должен был являться на придворные церемонии, но часто отлынивал от участия в них. И царь не сильно гневался на этого баловня судьбы. «Третьего дня возвратился из Царского Села в 5 часов вечера, нашел на своем столе два билета на бал 29 апреля и приглашение явиться на другой день к Литте (оберкамергеру), я догадался, что он собирается мыть мне голову за то, что я не был у обедни. В самом деле, в тот же вечер узнаю от забежавшего ко мне Жуковского, что Государь был недоволен отсутствием многих камергеров и камер-юнкеров, и что он велел нам это объявить. Я извинился письменно…» — каялся Пушкин жене в письме.

«В прошедший вторник зван я был в Аничков. Приехал в мундире. Мне сказали, что гости во фраках — я уехал, оставя Наталью Николаевну, и, переодевшись, отправился на вечер к С. В. Салтыкову. Государь был недоволен и несколько раз принимался говорить обо мне: «Он мог бы потрудиться переодеться во фрак и воротиться, передайте ему мое неудовольствие…»

В четверг бал у князя Трубецкого. Государь приехал неожиданно. Был на полчаса. Сказал жене: «В прошлый раз муж ваш не приехал из-за ботинок или из-за пуговиц?» (мундирных). Старуха графиня Бобринская извиняла меня тем, что они не были у меня нашиты» (из дневника Пушкина).

Тот же советский миф прочно ввел в обиход мнение, будто

Николай I присвоил «потешное» звание Пушкину, дабы удобнее было «ухаживать» за красавицей Натали, но и тут совсем мало логики. Придворное звание обязывало Пушкина присутствовать на «обязательных» балах вместе со своей женою. Если царь захотел бы близости с Натали, то с какой стати требовалось присутствие мужа в местах свиданий — да еще и известного своей ревностью? Дневниковая запись свидетельствует о том, что скорее поэт дразнил царя, нежели Государь жаждал развлечения на стороне — именно с женой Пушкина. Николай I более искал духовной близости со своим историографом и рациональным поэтом, желая, чтобы тот верой и своим талантом служил отечеству, не развращая умы недостойными пушкинского ума творениями. Именно в эту «эпоху 1833–34 гг. встречается довольно много шуточных стихотворений в бумагах кн. Вяземского, между ними и стихотворения, которые Мятлев назвал «на матерный манер». Этому направлению кн. Вяземский и Пушкин с особенным выдающимся рвением предавались как будто с горя, что им не удалось устроить серьезный орган для пропагандирования своих мыслей» (князь П. П. Вяземский-младший).

Вот этих-то, уже разнообразно проявленных крамольных мыслей Пушкина и опасался Государь. Увлечения масонством, вольтерьянством, «чистым афеизмом» (иначе — атеизмом), революционным романтизмом и прочими заблуждениями молодости, кажется, прошли, но полного на это счет спокойствия не было.

«Бал у графа Бобринского один из самых блистательных. Государь мне о моем камер-юнкерстве не говорил, а я не благодарил его. Говоря о моем Пугачеве, он сказал мне: «Жаль, что я не знал, что ты о нем пишешь; я бы тебя познакомил с его сестрицей, которая тому три недели умерла в крепости (с 1774 года!). Правда, она жила на свободе предместий, но далеко от своей донской станицы, на чужой, холодной стороне. Государыня спросила у меня, куда я ездил летом. Узнав, что в Оренбург, осведомилась о Перовском (губернаторе) с большим добродушием» (из дневника Пушкина).

«Представлялся. Ждали царицу три часа. Нас было по списку человек двадцать. Я по списку был последний. Царица подошла ко мне смеясь: «Нет, это курьезно! Я ломала себе голову, что это за Пушкин будет мне представлен. Оказывается, это вы! Как поживает ваша жена? Ее тетя с большим нетерпением ждет, когда она поправится, — дочь ее сердца, ее приемная дочь…» Я ужасно люблю царицу, несмотря на то, что ей уж 35 и даже 36» (из дневника Пушкина). Нащокин к тому добавляет, что

«императрица удивительно как ему нравилась, он благоговел перед нею, даже имел к ней какое-то чувственное влечение». Царица не зря беспокоилась о Натали. «Вообрази, что жена на днях чуть не умерла. Нынешняя зима была ужасно изобильна балами. На масленице танцевали уж два раза в день. Наконец, настало последнее воскресенье перед Великим постом. Думаю: слава Богу! Балы с плеч долой. Жена во дворце. Вдруг смотрю, с ней делается дурно — я увожу ее, и она, приехав домой, — выкидывает. Теперь она (чтоб не сглазить), слава Богу, здорова и едет в калужскую деревню к сестрам, которые ужасно страдают от капризов моей тещи» (Пушкин — Нащокину).

Пушкину снова пришлось надолго расстаться с женой. Она теперь нуждалась в поездке к родным: Натали соскучилась по сестрам, которых не видела больше двух лет, да и здоровье после болезни нужно было поправить. До осени пришлось жить на два дома…

Невидимые тучи уже сгущались над четой Пушкиных, 1834 год был в этом смысле переломным… После отъезда Натали по Петербургу поползли слухи. «Сплетни, постоянно распускаемые насчет Александра, мне тошно слышать. Знаешь ты, что когда Натали выкинула, сказали будто это следствие его побоев. Наконец, сколько молодых женщин уезжают к родителям провести 2 или 3 месяца в деревне, и в этом не видят ничего предосудительного, но ежели что касается до него или до Леона — им ничего не спустят», — жаловался отец.

В дневнике Пушкина появилась запись: «Барон Дантес и маркиз де Пина, два шуана — будут приняты в гвардию прямо офицерами…» К слову сказать, «шуан» не ругательный эпитет. Шуанами называли участников и представителей движения в защиту законной королевской власти и католической церкви в Бретани и Нормандии во время французской революции 1793 года. Это название закрепилось за позднейшими приверженцами Карла X, свергнутого в 1830 году в Париже Июльской монархией. Дантесу покровительствовал наследный прусский принц Вильгельм, который и посоветовал ему отправиться в Россию, где его, принца, родственник император Николай I мог бы выказать благосклонность французскому легитимисту. Так и случилось.

В тот год, когда Дантес появился в Петербурге, сестры Натали наконец тоже осуществили свой план, который, по-видимому, уже несколько раз срывался. Александра и Екатерина переехали в Петербург, и летняя поездка сначала в Полотняный Завод, а затем и в Ярополец подготовила почву для этого переезда. Натали много переписывалась с мужем и теткой Е. И. Загряжской, желая вытянуть сестер из захолустья и устроить

их судьбу в столице. Пушкин не противился планам жены, только не верил в их осуществимость…

«Охота тебе думать о помещении сестер во дворец. Во-первых, вероятно, откажут, а во-вторых, коли и возьмут, то подумай, что за скверные толки пойдут по свинскому Петербургу. (Спустя некоторое время они действительно появились. Самая гадкая из сплетен была та, что Пушкин якобы был в связи со своей свояченицею Александрой Николаевной. — Н. Г.) Ты слишком хороша, мой ангел, чтоб пускаться в просительницы. Погоди; овдовеешь, состаришься — тогда, пожалуй, будь салопницей и титулярной советницей. Мой совет тебе и сестрам быть подале от двора, в нем толку мало. Вы же не богаты. На тетку нельзя вам всем навалиться. Боже мой! Кабы Заводы были мои, так меня бы в Петербург не заманили и московским калачом. Жил бы себе барином…» (11 июля)

«Ты пишешь мне, что думаешь выдать Катерину Ивановну за Хлюстина, а Александру Николаевну — за Убри: ничему не бывать; оба влюбятся в тебя, ты мешаешь сестрам, потому надобно быть твоим мужем, чтоб ухаживать за другими в твоем присутствии, моя красавица… Ты, я думаю, в деревне так похорошела, что ни на что не похоже…» (27 июня)

В июле дело, кажется, было решенным: «Если ты в самом деле вздумала сестер своих привезти сюда, то у Оливье оставаться нам невозможно: места нет. Но обеих ли ты сестер к себе берешь? Эй, женка! Смотри… Мое мнение: семья должна быть одна под одной кровлей: муж, жена, дети — покамест малы; родители, когда уже престарелы. А то хлопот не наберешься и семейственного спокойствия не будет. Впрочем, об этом еще поговорим…»

Путешествие Натали с детьми началось в середине апреля. В Москве, на Никитской ее ждали с нетерпением. Александра, Екатерина и Дмитрий Николаевич приехали с Заводов, чтобы встретить сестру и вместе провести пасхальные праздники, проведать отца. Наталья Ивановна оставалась в Яропольце. Пушкин, прекрасно осведомленный обо всех событиях из подробных писем жены, был «мысленно рядом» со своей женкой и, как всегда, беспокоился о ее драгоценном здоровье. «Христос Воскресе, моя милая женка, грустно, мой ангел, грустно без тебя. Письмо твое мне из головы нейдет, Ты, мне кажется, слишком устала. Приедешь в Москву, обрадуешься сестрам, нервы твои будут напряжены, ты подумаешь, что ты здорова совершенно: целую ночь простоишь у всенощной и теперь лежишь врастяжку в истерике и лихорадке. Дождусь ли я, чтобы ты в деревню удрала!.. Пожалуйста, побереги себя, особенно сначала, не люблю я святой недели в Москве; не слушайся сестер, не таскайся по

гуляниям с утра до ночи, не пляши на бале до заутрени…», «Береги себя и сделай милость, не простудись. Что делать с матерью? Коли она сама к тебе приехать не хочет, поезжай к ней на неделю, на две, хоть это лишние расходы и лишние хлопоты. Боюсь ужасно для тебя семейственных сцен. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его! С отцом, пожалуйста, не входи в близкие отношения и детей ему не показывай; на него, в его положении, невозможно полагаться. Того и гляди откусит у Машки носик».

С разрешения мужа Натали отправилась к матери в Ярополец. Опасения Пушкина относительно «семейственных сцен» оказались напрасными, радость свидания с дочерью и внуками — после трехлетней разлуки — очень тепло выражена Натальей Ивановной в письме к Пушкину от 14 мая 1834 года.

«Прежде, чем ответить на ваше письмо, мой дорогой Александр Сергеевич, я начну с того, что поблагодарю вас от всего сердца за ту радость, которую вы мне доставили, отпустив ко мне вашу жену с детьми; из-за тех чувств, которые она ко мне питает, встреча со мной, после трех лет разлуки, не могла не взволновать ее. Однако, она не испытала никакого недомогания, по-видимому, она вполне здорова, и я твердо надеюсь, что во время ее пребывания у меня я не дам ей никакого повода к огорчениям, единственно, о чем я жалею в настоящую минуту, — это о том, что она предполагает так недолго погостить у меня. Впрочем, раз уж вы так договорились между собою, я, конечно, не могу этому противиться.

Я тронута доверием, которое вы мне высказываете в вашем письме, и, принимая во внимание любовь, которую я питаю к Натали, и которую вы к ней питаете, вы оказываете мне это доверие не напрасно, я надеюсь оправдать его до конца моих дней.

Дети ваши прелестны и начинают привыкать ко мне, хотя вначале Маша прикрикивала на бабушку. Вы пишете, что рассчитываете осенью ко мне приехать, мне будет чрезвычайно приятно соединить всех вас в домашнем кругу. Хотя Натали, по-видимому, чувствует себя хорошо у меня, однако легко заметить ту пустоту, которую ваше отсутствие в ней вызывает. До свидания, от глубины души желаю вам ненарушимого счастья. Верьте, я навсегда ваш друг».

Более всего, видимо, Наталью Ивановну обрадовал мир в семье младшей дочери — наверняка она много рассказывала матери о своей семейной жизни, да так трогательно, что «легко заметить ту пустоту, которую ваше отсутствие в ней вызывает».

Мир в семье Наталья Ивановна воспринимала «первейшим благом». «Милость Божия почиет на семьях, живущих в добром согласии — это строки из ее письма к старшему сыну и его жене. Любите друг друга настоящей любовью — и милость Божия дарует спокойствие вашему семейству, этого я желаю прежде всего». А коли так, то в отношении к супружеству Натали душа матери наконец успокоилась.

Письмо Натальи Ивановны к Пушкину с изъявлениями благодарности имеет еще одно неоценимое достоинство: в нем есть приписка Натали мужу — это единственные строки, доселе известные, красавицы к поэту: «С трудом я решилась написать тебе, так как мне нечего сказать тебе и все свои новости я сообщила тебе с оказией, бывшей на этих днях, Маминька сама едва не отложила свое письмо до следующей почты, но побоялась, что ты будешь несколько беспокоиться, оставаясь некоторое время без известий от нас; это заставило ее побороть свой сон и усталость, которые одолевают и ее, и меня, так как мы целый день были на воздухе.

Из письма Маминьки ты увидишь, что мы все чувствуем себя очень хорошо, оттого я ничего не пишу тебе на этот счет; кончаю письмо, нежно тебя целуя и намереваясь тебе написать побольше при первой возможности.

Итак, прощай, будь здоров и не забывай нас.

Понедельник 14 мая 1834. Ярополец».

Будучи всегда сдержанна на людях, Натали не отступила от этой сдержанности и в своей приписке — ее могла прочитать Маминька, к чему выставлять свои самые интимные чувства напоказ. Письмецо написано по-французски. Правила хорошего тона диктовали обращение к адресату на «вы» — «vous». Натали писала на «вы» даже к брату Дмитрию, но к Пушкину применяла «tu» — «ты». По-французски это обращение имеет гораздо более интимный оттенок, чем по-русски. Так называют друг друга счастливые любовники. Все письма Пушкина к Натали полны нежной заботы и беспокойства о ней и невыразимой тоски в разлуке. «Без тебя так мне скучно, что поминутно думаю к тебе: поехать, хоть на неделю. Вот уже месяц живу без тебя; дотяну до августа…»; «Скучно жить без тебя и не сметь тебе даже писать все то, что придет на сердце».

Это опасение «писать все» было не беспочвенным. Вскоре Пушкин узнал, что его письмо от 22 апреля вскрыли на почте и передали Государю. Жене жаловался: «Я не писал тебе потому, что свинство почты меня так охолодило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство буквально». В своем дневнике

Пушкин уточняет: «Несколько дней назад получил я от Жуковского записочку из Царского Села. Он уведомлял меня, что какое-то письмо мое ходит по городу и что Государь об нем ему говорил. Я вообразил, что дело идет о скверных стихах, исполненных отвратительного похабства и которые публика благосклонно приписывала мне. Но вышло не то. Московская почта (в лице почт-директора Булгакова. — Н. Г.) распечатала письмо, писанное мною Наталье Николаевне, и нашед там отчет о присяге Великого князя, писанный, видно, слогом не официальным, донесла обо всем полиции. Полиция, не разобрав смысла, представила письмо Государю, который сгоряча также его не понял. К счастью, письмо было показано Жуковскому, который и объяснил его. Все успокоились. Государю не угодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностью…»

Через месяц-полтора Пушкин совсем успокоился и писал жене: «На того (царя. — Н. Г.) я перестал сердиться, потому что, в сущности говоря, не он виноват в свинстве, его окружающем. А живя в нужнике, поневоле привыкнешь к…, и вонь его тебе не будет противна, даром, что джентльмен. Ух, кабы мне удрать на чистый воздух…»

«Чистый воздух» — желанная атмосфера «трудов и чистых нег» был необходим им обоим. Эта тема, видимо, всесторонне обсуждалась супругами, находила отклик и в их письмах друг к другу. «Ты говоришь о Болдине. Хорошо бы туда засесть, да мудрено. Об этом успеем еще поговорить. Не сердись, жена, и не толкуй моих жалоб в плохую сторону. Никогда не думал я упрекать тебя в своей зависимости. Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив. Но я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или нужды, унижает нас…»

«Хлопоты по имению меня бесят, с твоего позволения, надобно будет, кажется, выйти мне в отставку и со вздохом сложить с себя камер-юнкерский мундир, который так приятно льстил моему честолюбию и в котором, к сожалению, не успел я пощеголять. Ты молода, но ты уже мать семейства, и я уверен, что тебе не труднее будет исполнять долг доброй матери, как исполняешь ты долг честной и доброй жены. Зависимость и расстройство в хозяйстве ужасны в семействе, и никакие успехи тщеславия не могут вознаградить спокойствия и довольства. Вот тебе и мораль. Ты зовешь меня к себе прежде августа. Рад бы в рай да грехи не пускают. Ты разве думаешь, что свинский

Петербург не гадок мне? Что мне весело жить в нем между пасквилями и доносами? Ты спрашиваешь меня о «Петре», идет помаленьку, скопляю материалы — привожу в порядок — и вдруг вылью медный памятник, который нельзя будет перетаскивать с одного конца города на другой, с площади на площадь, из переулка в переулок. Вчера видел я Сперанского, Карамзиных, Жуковского, Вильегорского, Вяземского — все тебе кланяются. Тетка (Загряжская) меня все балует — для моего рожденья прислала мне корзину с дынями, с земляникой, клубникой — так что боюсь поносом встретить 36-ой год бурной моей жизни…»

Судя и по этому отрывку понятно, что Пушкин весьма нуждался в общении со своей «честной и доброй женой». Будни семейной жизни не убили их взаимную любовь. Натали интересовало всё в жизни мужа: и его творчество, и продвижение его литературных работ, его — и теперь уже и ее — друзья, трудности с его родственниками, их имущественные дела. И Пушкин обо всем докладывал жене, признаваясь, что слушается ее советов, доверяет ее здравому смыслу.

«Денег тебе еще не посылаю. Принужден был снарядить в дорогу своих стариков. Теребят меня без милосердия. Вероятно, послушаюсь тебя и скоро откажусь от управления имением. Пускай они его коверкают как знают; на их век станет, а мы Сашке и Машке постараемся оставить кусок хлеба. Не так ли?..»

«Сегодня едут мои в деревню, и я их иду проводить, до кареты, не до Царского Села, куда Лев Сергеевич ходит пешочком. Уж как меня теребили; вспомнил я тебя, мой ангел.

А делать нечего. Если не взяться за имение, то оно пропадет же даром, Ольга Сергеевна и Лев Сергеевич останутся на подножном корму, а придется взять их мне же на руки, тогда-то и наплачусь и наплачусь, а им и горя мало…»

«У меня большие хлопоты по части Болдина. Через год я на всё это плюну — и займусь своими делами. Лев Сергеевич очень дурно себя ведет. Ни копейки денег не имеет, а в домино проигрывает у Дюме по 14 бутылок шампанского. Я ему ничего не говорю, потому что, слава Богу, мужику 30 лет; но мне его жаль и досадно. Соболевский им руководствует, и что уж они делают, то Господь ведает. Оба довольно пусты… Всякий ли ты день молишься, стоя в углу?»

«О твоих кокетственных сношениях с соседом говорить мне нечего. Кокетничать я сам тебе позволил — но читать о том лист кругом подробного описания вовсе мне не нужно. Побранив тебя, беру нежно тебя за уши и целую, благодаря тебя за то, что ты Богу молишься на коленях среди комнаты. Я мало Богу молюсь и надеюсь, что твоя чистая молитва лучше моих, как для меня, так

и для нас…»

Душевное спокойствие Пушкина было нарушаемо подчас многими неприятными обстоятельствами; 35-летний известный на всю Россию поэт не привык искать утешения в Боге, что было свойственно его жене. Пушкин полагался на силу ее молитв, особенно когда нарушалось течение его жизни от неосторожных поступков, совершенных под влиянием минутного настроения. «…Надобно тебе поговорить о моем горе. На днях хандра меня взяла; подал я в отставку. Но получил от Жуковского такой нагоняй, а от Бенкендорфа такой сухой абшид, что я вструхнул, и Христом, и Богом прошу, чтоб мне отставку не давали. А ты и рада, не так?.. Бог велик, главное то, что я не хочу, чтоб могли меня подозревать в неблагодарности. Это хуже либерализма. Будь здорова. Поцелуй детей и благослови их за меня. Прощай, целую тебя. А. П.»

Возможно, если бы Натали была в тот момент рядом, в Петербурге, она сумела бы утешить мужа и как-нибудь развеять его беспокойство. Без нее же история получилась «хандрливая»…

25 июня Пушкин вдруг написал Бенкендорфу: «Граф, поскольку семейные дела требуют моего присутствия то в Москве, то в провинции, я вижу себя вынужденным оставить службу и покорнейше прошу Ваше сиятельство исходатайствовать мне соответствующее разрешение…»

Письмо дошло до Государя, и тот призвал Жуковского для объяснений, после чего он написал Пушкину: «…Вот что вчера ввечеру государь сказал мне в разговоре о тебе и в ответ на вопрос мой: нельзя ли как этого поправить? — «Почему ж нельзя! Пускай он возьмет назад свое письмо. Я никого не держу, и его держать не стану. Но если он возьмет отставку, то между мною и им все кончено». — Мне нечего прибавить к этим словам, чрезвычайно для меня трогательным и в которых выражается что-то отеческое к тебе, при всем неудовольствии, которое письмо твое должно было произвести в душе государя». Пушкин принял совет царя, сообщив Жуковскому: «Получив первое письмо твое, я тотчас написал графу Бенкендорфу, прося его остановить мою отставку… Но в след за тем получил официальное извещение о том, что отставку я получу, но что вход в архивы будет мне запрещен. Это огорчило меня во всех отношениях. Подал в отставку я в минуту хандры и досады на всех и на всё. Домашние обстоятельства мои затруднительны; положение мое не весело; перемена жизни почти необходима. Изъяснять это всё гр. Бенкендорфу мне не достало духа — от этого и письмо мое должно было показаться сухо, а оно просто глупо. Впрочем я уж верно не имел намерения произвести, что вышло. Писать письмо

прямо к государю, ей-богу, не смею — особенно теперь. Оправдания мои будут похожи на просьбы, а он уж и так много сделал для меня… Буду еще писать к гр. Бенкендорфу».

Шеф III Отделения докладывал царю: «Так как он сознается в том, что просто сделал глупость, и предпочитает казаться лучше непоследовательным, нежели неблагодарным, так как я еще не сообщал о его отставке ни князю Волконскому, ни графу Нессельроде, то я предполагаю, что Вашему Величеству благоугодно будет смотреть на его первое письмо, как будто его вовсе не было… Лучше чтобы он был на службе, нежели предоставлен себе!»

Последовала высочайшая резолюция: «Я ему прощаю, но позовите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться; то, что может быть простительно двадцатилетнему безумцу, не может применяться к человеку тридцати пяти лет, мужу и отцу семейства».

В дуэли Пушкина также было много необдуманного, сделанного под влиянием минуты…

22 июля Пушкин записывал в дневнике: «Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился со двором, — но все перемололось. Однако мне это не пройдет». Более откровенен поэт в письме к жене от 11 июля, когда все только-только утряслось: «На днях я чуть было беды не сделал: с тем (царем. — Н.Г.) чуть было не побранился — и трухнул то я, да и грустно стало. С этим поссорюсь — другого не наживу. А долго на него сердиться не умею; хотя и он не прав».

Царь Николай I отнюдь не стеснял творческой свободы Пушкина, он лишь следил, чтобы в его творениях не было бунта против Бога, Царя и Отечества. «Медный всадник» был не пропущен высочайшей цензурой не окончательно и бесповоротно. От Пушкина требовалось убрать языческое наименование царя — «кумир», а «горделивого истукана» вымарать вовсе. Пушкин постарался исправить свои ошибки. Из девяти мест, помеченных царем NB («хорошо заметь» — с латинского «нота бене»), поэт в семь внес изменения. Но два исправить так и не смог; Жуковский уже после его смерти бережно и находчиво поправил поэму. Небольшие поправки, внесенные царем в «Пугачева», Пушкин назвал в своем дневнике «очень дельными», отметив также, что «в воскресенье на бале, в концертной, Государь очень долго со мною разговаривал; он говорит очень хорошо, не смешивая обоих языков, не делая обыкновенных ошибок и употребляя настоящие выражения».

В августе, убедившись, что неотложные дела с печатанием «Истории Пугачевского бунта» подходят к концу, Пушкин, испросив «увольнение в отпуск в Нижегородскую и Калужскую губернии на три месяца с сохранением получаемого им ныне содержания», перебрался на новую квартиру на Дворцовой набережной и выехал из Петербурга. Задержавшись всего на несколько часов в Москве, он поспешил в Полотняный Завод ко дню именин своей Натальи. Отпраздновали их по-семейному: три сестры Гончаровых, маленькие Пушкины с отцом, Дмитрий Николаевич… Другой именинице Наталье Пушкин отправил трогательное поздравительное письмо из Полотняного Завода: «Милостивая государыня матушка Наталья Ивановна! Как я жалею, что на пути моем из Петербурга не заехал я в Ярополец; я бы имел и счастие с Вами свидеться, и сократил бы несколькими верстами дорогу, и миновал бы Москву, которую не очень люблю и в которой провел несколько лишних часов. Теперь я в Заводах, где нашел всех моих, кроме Саши, здоровых, — я оставляю их еще на несколько недель и еду по делам отца в его Нижегородскую губернию, а жену отправляю к Вам, куда и сам явлюсь как можно скорее. Жена хандрит, что не с Вами проведет день Ваших общих имянин; как быть! и мне жаль, да делать нечего. Покамест, поздравляю Вас со днем 26 августа; и сердечно благодарю Вас за 27-ое. Жена моя прелесть, и чем доле я с ней живу, тем более люблю это милое, чистое, доброе создание, которого я ничем не заслужил перед Богом. В Петербурге я часто видался с братом Иваном Николаевичем, а Сергей Николаевич и жил у меня почти до самого моего отъезда. Он теперь в хлопотах обзаведения. Оба, слава Богу, здоровы.

Целую Ваши ручки и поручаю себя и всю семью мою Вашему благорасположению. А. Пушкин».

Натали этим летом жила в Полотняном Заводе не в большом, а в Красном доме — вдали от шумных ткацких фабрик, которые почти вплотную примыкали к главному гончаровскому дому. Ее дом был деревянный, двухэтажный — 14 комнат со всеми удобствами, даже с ванными. Дом, прекрасно обставленный дедом Афанасием Николаевичем для своих многочисленных гостей, стоял в очень красивом саду с декоративными деревьями и кустами, пышными цветниками и беседками. Фасад дома обращен был к пруду, к которому спускалась выложенная из камня пологая лестница. По берегам пруда были посажены ели, подстригавшиеся таким образом, что походили на причудливые фигуры. В Красном саду еще поражали своими экзотическими плодами оранжереи, в которых зрели лимоны, апельсины, абрикосы и ананасы.

В этом райском уголке Пушкин пробыл со своей семьей около двух недель, много гуляя по «плодовитому» саду. Совершали верховые прогулки вдвоем с женой и большой компанией с Гончаровыми; обедали все вместе в главном доме и нередко проводили там вечера. Пушкин рылся в гончаровской библиотеке со старинными книгами, относящимися и к эпохе Петра I. Дмитрий Николаевич подарил шурину целую связку нужных ему книг.

Это было безмятежно счастливое, ничем не омраченное существование — идиллия, мечта поэта, которая оставила по себе вечную память новым шедевром…

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить… и глядь — как раз — умрем,
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег…

Май – июнь 1834

Это девятистишие, как ни парадоксально, стало предвестником надвигающегося душевного кризиса поэта. Следующий, 1835-й, для Пушкина стал годом временем переоценки тех ценностей, которые были обретены на предыдущем (1828–1830) переломном этапе, перед его женитьбой. Переоценка эта была столь тяжела, что в поэзии и прозе этого года возникают и усиливаются мотивы поиска смерти, альтернативой которой выступает бегство в поисках спасения — бегство прежде всего от мира, а не из Петербурга, и спасения прежде всего духовного, а не житейского…

Погостив на Заводе, вернулись в Москву: Пушкин поехал в Болдино — в преддверии творческой осени, сестры Гончаровы с Натали — в Петербург, в предвкушении перемены своей судьбы.

Однако осень обманула ожидания поэта. Пушкин написал 224 строки «Сказки о Золотом петушке» и не сумел выкупить вторую часть Болдина, принадлежавшую покойному дяде Василию Львовичу. Воссоединения наследного поместья не состоялось: эта вторая часть впоследствии была продана с аукциона.

«В деревне встретил меня первый снег, и теперь двор перед моим окошком белешенек: это очень любезно с его стороны,

однако я писать еще не принимался, и в первый раз беру перо, чтоб с тобой побеседовать. Я рад, что добрался до Болдина; кажется, менее будет мне хлопот, чем я ожидал. Написать что-нибудь мне бы очень хотелось. Не знаю, придет ли вдохновение. Здесь нашел я Безобразова (мужа незаконной дочери Василия Львовича. — Н. Г.). Он хлопочет и хозяйничает и, вероятно, купит пол-Болдина. Ох, кабы у меня были 100 000! как бы я все уладил; да Пугачев, мой оброчный мужичок, и половины того мне не принесет, да и то мы с тобой как раз промотаем; не так ли? Ну, нечего делать!..» (15 сентября)

В отношении денег заведенный порядок никогда не менялся. «Бывали дни, после редкого выигрыша или крупной литературной получки, когда в доме мгновенно являлось изобилие во всем, деньги тратились без удержу и расчета, — точно всякий стремился наверстать скорее испытанное лишение. Муж старался не только исполнить, но предугадать желания жены. Минуты эти были скоротечны и быстро сменялись полным безденежьем, когда не только речи быть не могло о какой-нибудь прихоти, но требовалось все напряжение ума, чтобы извернуться и достать самое необходимое для ежедневного существования…» (А. П. Арапова)

«Вот уж скоро две недели, как я в деревне, а от тебя еще письма не получил. Скучно, мой ангел. И стихи в голову нейдут, и роман не переписываю. Читаю Вальтер Скотта и Библию, а все об вас думаю. Здоров ли Сашка? Прогнала ли ты кормилицу? Отделалась ли от проклятой немки? Каково доехала? Много вещей, о которых беспокоюсь. Видно, нынешнюю осень мне долго в Болдине не прожить. Дела мои я кой-как уладил. Погожу еще немножко, не распишусь ли; коли нет — так с Богом и в путь. В Москве останусь три дня, у Натальи Ивановны — сутки — и приеду к тебе. Да и в самом деле: неужто близ тебя не распишусь. Пустое…

Скажи пожалуйста, брюхата ли ты? Если брюхата, прошу, мой друг, быть осторожней, не прыгать, не падать, не становиться на колени перед Машей (ни даже на молитве). Не забудь, что ты выкинула и надобно тебе себя беречь. Ох, кабы ты была уж в Петербурге…» — написал Пушкин последнее из Болдина письмо жене и отправился в дорогу. Как о том вспоминает болдинский диакон, «Пушкин выезжал из Болдина в тяжелой карете, на тройке лошадей. Его провожала дворня и духовенство, которым предлагалось угощение в доме. Когда лошади спустились с горы и вбежали на мост, перекинутый через речку, — ветхий мост не выдержал тяжести и опрокинулся, но Пушкин отделался благополучно. Сейчас же он вернулся пешим домой, где застал

еще за беседой и закуской провожавших его и попросил причт отслужить благодарственный молебен…»

«У тебя, чай, голова кругом идет…»

В доме Пушкиных появились две новые корреспондентки, которые в письмах к родным подробно описывали свой быт и продвижение по лестнице, ведущей в высшей свет…

16 октября похвастаться еще нечем: «…Мы были два раза в французском театре и один раз в немецком, на вечере у Натальи Кирилловны, где мы ужасно скучали, и на рауте у графини Фикельмон, где нас представили некоторыми особами из общества, а несколько молодых людей просили быть представленными нам, следственно надеемся, что это будут кавалеры для первого бала. Мы делаем множество визитов, что нас не очень забавляет, а на нас смотрят как на белых медведей — что это за сестры мадам Пушкиной, так как именно так графиня Фикельмон представила нас на своем рауте некоторым дамам… Тетушка очень добра к нам и уже подарила каждой из нас по два вечерних платья и еще нам подарит два; она говорит, что определила известную сумму для нас. Это очень любезно с ее стороны, конечно, так как, право, если бы она не пришла к нам на помощь, нам было бы невозможно растянуть наши деньги на сколько нужно…» (Екатерина Гончарова брату Дмитрию Николаевичу)

Через месяц настроение сестер улучшилось, а просьбы о деньгах стали настойчивее — расходы всё увеличивались. В письмах к брату — постоянные напоминания о денежных нуждах. Как изящно пошутила Александра Николаевна, обращаясь к Дмитрию Николаевичу: «Твой образ в окладе из золота и ассигнаций — всегда там — у меня на сердце». Вероятно, осмотревшись, Екатерина и Александра Гончаровы потеряли надежду на скорое замужество — их бедность была тому причиной. Внешность сестер была безукоризненна, но по сравнению с Натали казалась некоторым «посредственной живописью рядом с Мадонной Рафаэли». «…Среди гостей были Пушкин с женой и Гончаровыми, все три ослепительные изяществом, красотой и невообразимыми талиями», — признавала злоязычная Софи Карамзина, а сестра Пушкина отмечала: «Они красивы, эти невестки, но ничто в сравнении с Наташей».

«Позавчера мы видели Великого Князя на балу у г-на Бутурлина, он изволил говорить с нами и обещал Таше перевести Сережу (брата Сергея Николаевича. — Н. Г.) в гвардию, но не раньше, чем через два года. Тетушка хлопочет, чтобы Катиньку

сделали фрейлиной к 6 декабря, надо надеяться, что это ей удастся. Мне кажется, что нас не так уж плохо принимают в свете и если старания Тетушки будут иметь успех, к нам будут, конечно, относиться с большим уважением… Несмотря на всю нашу экономию в расходах, все же, дорогой братец, деньги у нас кончаются… Ты не поверишь, как нам тяжело обращаться к тебе с этой просьбой, зная твои стесненные обстоятельства в делах, но доброта, которую ты всегда к нам питал, придает нам смелости тебе надоедать. Мы даже пришлем тебе отчет о наших расходах, чтобы ты сам увидел, что ничего лишнего мы себе не позволяем. До сих пор мы еще не сделали себе ни одного бального платья, того, что она нам дала, пока нам хватало, но вот теперь скоро начнутся праздники и надо будет подумать о наших туалетах. Государь и Государыня приехали позавчера, и мы их видели во французском театре. Вот теперь город оживится. Мы уверены, дорогой брат, что ты не захочешь, чтобы мы нуждались в самом необходимом и что к 1 января, как ты нам обещал, ты пришлешь нам деньги… Ты пишешь, что в Заводе стоит полк, вот не везет нам: всегда он там бывал до нашего приезда в столицу; но три года провели мы там впустую, и вот теперь они опять вернулись, эти молодые красавцы, жалко. Но нет худа без добра, говорит пословица, прелестные обитательницы замка могли бы остаться там, а Петербурга бы не видали…» (28 ноября, Александра — брату Дмитрию)

Наконец, 6 декабря, в день именин Императора — на «зимнего Николу» старания тетушки и Натали увенчались полнейшим успехом, о чем и сообщила виновница торжества: «Разрешите мне, сударь и любезный брат, поздравить вас с новой фрейлиной, мадемуазель Катрин де Гончарофф, ваша очаровательная сестра получила шифр[5] 6-го после обедни, которую она слушала на хорах придворной церкви, куда ходила, чтобы иметь возможность полюбоваться прекрасной мадам Пушкиной, которая в своем придворном платье была великолепна, ослепительной красоты. Невозможно встретить кого-либо прекрасней, чем эта любезная дама, которая, я полагаю, и вам не совсем чужая… Тетушка так добра, что дарит мне придворное платье. Это для меня экономия в 1500–2000 рублей. Умоляю тебя не запаздывать с деньгами, чтобы мы получили их 1 января…»

Натали была беременна и ради сохранения ребенка старалась быть очень осторожной. Она бы и вовсе оставила балы и визиты, если бы не была вынуждена сопровождать сестер в «общество». Они называли свою младшую «нашей покровительницей» и без нее не знали, «как со всем этим быть». А с января 1835-го «Таша

почти не выходит, так как она даже отказалась от балов из-за своего положения, и мы вынуждены выезжать то с той, то с другой дамой».

Екатерина Гончарова так и не переехала во дворец, осталась жить с сестрами.

Натали, глядя на своих сестер, возможно, в их поведении узнавала свои первые шаги в свете, молодую, естественную и счастливую радость от успехов, от которой кружится голова…

Пушкин нашел прекрасные слова, чтобы выразить это своей красавице: «Все в порядке вещей: будь молода, потому что ты молода — и царствуй потому что ты прекрасна». Но Натали рано стала ощущать себя «матерью семейства», и не только своего собственного — но и гончаровского. В свои 22 года она была уже «любезной дамой», которая могла с успехом ходатайствовать за родных, всей душой желая устроить своим братьям и сестрам такую же счастливую судьбу, какой удостоилась она. Это главное, а не успехи в свете, как таковые. Натали тем более чувствовала свои «материнские обязанности», что сама — первая среди молодых Гончаровых — имела детей. К тому же прекрасно понимала, что Наталья Ивановна — в силу усталости от трудных семейных обстоятельств — не в состоянии заниматься карьерой детей. Собственно, все связи при дворе были потеряны ей.

Дела семейства Гончаровых в эти годы ухудшались все более и более. Причиной того послужило и «дело Усачева». Еще в 1804 году дед Афанасий Николаевич сдал свои полотняные и бумажные фабрики в аренду калужскому купцу Усачеву. Однако через 15 лет Усачев стал неаккуратно выплачивать договоренную сумму и вскоре оказался должным Гончарову более 100 000 рублей. Начался нескончаемый судебный процесс, который все время требовал денег на судебные издержки, но никак не возвращал должного. Неопытный в делах и недостаточно инициативный Дмитрий Николаевич, получив в наследство полуторамиллионный долг и бесконечные дорогостоящие процессы, предпринял много неправильных шагов, усугубив ситуацию. Наталья Ивановна однажды даже написала сыну: «Если бы Афанасий Абрамович (основатель Заводов. — Н. Г.) был так любезен и явился бы к тебе во сне, чтобы наставить тебя, как надо управлять, ты, я полагаю, не был бы этим огорчен».

Шутки шутками, но и за это дело взялась Натали с помощью своего мужа. Пушкин был знаком с министром юстиции Дашковым, с министром внутренних дел Блудовым, с крупным чиновником Вигелем, через которых пытался оказать содействие Дмитрию Николаевичу. Натали пишет наследнику майората: «Дорогой Дмитрий, приезжай как можно скорее по поводу этого

проклятого процесса с Усачевым. Все считают твое присутствие здесь совершенно необходимым. Как только приедешь, немедленно повидай адвоката Лерха (знаменитый петербургский адвокат. — Н. Г.), он уладит тебе это дело. Постарайся приехать до отъезда моего мужа, который должен в скором времени уехать в деревню; он тебя направит к нескольким своим друзьям, которые смогут чем-нибудь помочь в этом деле. Как только получишь это письмо, немедленно выезжай, не теряй ни минуты, время не терпит!» — потому что «как бы противная сторона не перехватила Лерха, тогда наш процесс проигран».

Не дождавшись приезда брата, Натали начала сама энергично действовать по усачевскому делу. К слову сказать, ее личный интерес был незначителен. Из доходов Заводов она получала всего 1500 рублей. В то время как сестры имели 4500 рублей ежегодного содержания, братья тоже полностью зависели от положения дел предприятий.

Любовь Натали к своим братьям и сестрам была деятельной и бескорыстной. Трудно представить, что «модной светской красавице» было в это время 23 года — столько смысла и здравого ума обнаруживали ее поступки.

«Я получила недавно твое письмо, дорогой Дмитрий, и если я не написала тебе раньше, то только потому, что должна была повидать Плетнева по поводу бумаги. Он взялся за это дело в отсутствие моего мужа; он тебя очень просит прислать ее в ноябре, к январю это было бы уже слишком поздно (речь идет о бумаге для издания «Современника». — Н. Г.). Тысячу раз благодарю тебя от имени моего мужа за то, что ты был так любезен и взялся за это дело.

Что касается процесса, я сделала все возможное. Прежде всего, как только я получила твои бумаги, я велела снять с них копию, чтобы дать ее Лерху, которого я попросила зайти ко мне. Я с ним говорила о нашем деле, просила взяться за него и просмотреть все бумаги. Несколько дней спустя он прислал мне бумаги обратно с запиской, в которой пишет, что не может взяться за дело, потому что оно уже разбиралось в Москве; он говорит, что следует подать прошение Государю, который решит, может ли оно слушаться в Петербургском Сенате. Не будучи довольна этим ответом, я обратилась к господину Бутурлину (сенатору), который не отказал в любезности прочитать все бумаги. Он нашел, что мы правы, а действия противной стороны — бесчестное мошенничество. Он мне посоветовал встретиться с Лонгиновым (статс-секретарем Госсовета), взять обратно прошение, если это возможно, чтобы написать его снова от моего имени, как извини меня, мое имя и моя личность, как он говорит,

гораздо больше известна Его Величеству, чем ты. Впрочем, добавил он, достаточно и того, если бы вы поставили там свою подпись. Так как я не помнила наверное, подписала ли я его, я попросила через мадам Загряжскую свидания с Лонгиновым. Оно мне тут же было предоставлено. Я поехала к нему в назначенное им время, и вот результат моего разговора с ним. Он начал с того, что сообщил мне, что наше дело еще не пересматривалось, потому что чиновник, который должен был им заниматься, был болен воспалением легких и даже при смерти, но что накануне моего прихода наше дело извлекли из забвения, в котором оно находилось, и теперь они отложили все дела, чтобы заняться только нашим, оно очень серьезно, добавил он, и потребует по меньшей мере 15 дней работы. По истечении этого времени, сказал он, я смогу дать вам ответ, если не официальный, то хотя бы в частном порядке. На мой вопрос, могли ли бы мы рассчитывать на то, что он будет голосовать за нас, он ответил, что прочел наше прошение и ему кажется, что мы правы, но что одного его голоса недостаточно, так как кроме него имеются еще шесть человек, которые должны решить, будет ли слушаться наше прошение. Что касается наложения ареста на наше имущество, то тебе нечего опасаться до тех пор, пока они не вынесут какого-либо решения. Он говорит, что дал тебе бумагу, которую ты можешь показать в случае, если тебе будут устраивать какие-нибудь каверзы; она подтверждает, что закон полностью на нашей стороне. А теперь я хочу узнать, кто эти шесть человек, от которых зависит наша судьба, и если это кто-нибудь из моих хороших друзей, то тогда я постараюсь привлечь их на свою сторону. Второе, что мне хотелось бы узнать, является ли правая рука Лонгинова, то есть лицо, занимающееся нашим делом, честным человеком или его можно подмазать? В этом случае надо действовать соответственно. Как только я узнаю это точно, я тебе дам знать.

А теперь я поговорю о деле, которое касается только меня лично. Ради Бога, если ты можешь помочь мне, пришли мне несколько сотен рублей, я тебе буду очень благодарна. Я нахожусь в очень стесненных обстоятельствах. Мой муж уехал и оставил мне только сумму, необходимую для содержания дома. В случае, если ты не можешь этого сделать — не сердись на мою нескромную просьбу, прямо откажи и не гневайся.

Прощай, дорогой братец, нежно целую тебя, а также Сережу и Ваню. Поблагодари, пожалуйста, последнего за память. Маминька пишет, что он просил передать мне много добрых пожеланий» (1 октября 1835 г.).

Это письмо Натали примечательно во многих отношениях.

Надо думать, что подобные письма — длинные, подробные, деликатные — она писала и Пушкину. И в них было много такого, за что поэт называл свою красавицу «бой-бабой», а сами письма «дельными».

Он так любил их читать, что чем далее, тем более встречалось в его письмах к ней: «Что ты делаешь, моя красавица, в моем отсутствии? Расскажи, что тебя занимает, куда ты ездишь, какие есть новые сплетни?», «Пиши мне также новости политические: я здесь газет не читаю — в Английский клоб не езжу и Хитрову не вижу. Не знаю, что делается на белом свете. Когда будут цари? и не слышно ли чего-нибудь про войну?..», «Из сердитого письма твоего заключаю, что Катерине Ивановне лучше; ты бы так бодро не бранилась, если бы она была не на шутку больна. Все-таки напиши мне обо всем и обстоятельно… Я смотрю в окошко и думаю: не худо бы, если бы вдруг въехала во двор карета — а в карете бы сидела Наталья Николаевна!.. Что Плетнев, Карамзины, Мещерские?»

Это строки из писем 1835 года, в 36-м, за несколько месяцев до гибели, Пушкин интересуется ужены: «Слушая толки здешних (московских) литераторов, дивлюсь, как они могут быть так порядочны в печати и так глупы в разговоре. Признайся, так ли и со мною? право, боюсь…»

Постепенно и Натали становилась для Пушкина тем, чем были все жены известных писателей: он поручал ей хлопоты по своим издательским делам, посвящал в творческие проблемы. Смирнова уехала за границу, и ее место «оценщицы» со временем должна была бы занять Натали, если бы не дуэль. «.. Я пишу, я в хлопотах, никого не вижу — и привезу тебе пропасть всякой всячины», — писал Пушкин жене болдинской осенью 1833 года. В самом деле — не просто же исписанные листы собирался предъявить поэт жене в доказательство, что зря времени не терял; вероятно, хотел дать почитать, да и на реакцию ее поглядеть по прочтении…

В 1835 году Натали была занята хлопотами «бумажными» в прямом и переносном смысле. Бумажная волокита усачевского дела не смогла остановить Полотняные Заводы, где выпускалась бумага. Бумага нужна была Пушкину. Натали ходатайствовала перед братом:

«Мой муж поручает тебе, дорогой Дмитрий, просить тебя сделать ему одолжение и изготовить для него 85 стоп бумаги по образцу, который я тебе посылаю в этом письме. Она ему крайне нужна и как можно скорее; он просит тебя указать срок, к которому ты можешь ее ему поставить. Ответь мне, пожалуйста, как только получишь это письмо, чтобы он знал, подойдет ли ему

назначенный тобою срок, в противном случае он будет вынужден принять соответствующие меры. Прошу тебя, дорогой и любезный брат, не отказать нам, если просьба, с которой мы к тебе обращаемся, не представит для тебя никаких затруднений и ни в коей мере не обременит…» В этом же письме, «желая успеха в делах», дает брату мудрый совет: «Катинька тебе уже писала о деле Ртищева (заимодавца Д. Н. Гончарова — Н.Г.). Все, кому мы показывали эти бумаги, очень не советуют начинать его, потому что дела подобного рода могут вестись только между близкими друзьями, или людьми, честность которых не вызывает сомнения и всеми признана… Ртищев не может быть отнесен к числу таких людей».

Дмитрий Николаевич заказал требуемую для Пушкина бумагу, которая была отгружена в кратчайшие сроки: 42 стопы — 26 октября и еще 45–12 декабря 1835 года. В следующем году тоже потребовалась бумага, Натали снова просит и одновременно пытается растормошить брата, который, видимо, не мог ни на что решиться («твои теряют свое, от глупости и беспечности покойника Афанасия Николаевича», — заметил Пушкин).

Дантес уже влюбился в Натали Пушкину, а она «предполагала жить» вдвоем с мужем, потому и родственникам писала, беременная четвертым, о семейных делах — спокойно, деликатно, без сантиментов, но, как всегда, любовно.

«Дорогой Дмитрий. Получив твое письмо, я тотчас же исполнила твое распоряжение. Жуковский взялся просить о твоем деле Блудова и даже Дашкова, надо, стало быть, надеться на успех, если за это время ты не сделал такой глупости и не подал в суд о нашем проклятом Усачевском деле в Москве, вместо того чтобы передать его в Петербургский Сенат, тогда я могла бы обеспечить успех, так как у меня много друзей среди сенаторов, которые мне уже обещали подать свои голоса, тогда как московских я не знаю, и никогда ничего не смогла бы там сделать.

Если я не писала тебе до сих пор, дорогой друг, то ведь ты знаешь мою лень; я это делаю только в том случае, когда знаю, что мои письма могут быть тебе полезны. Ты не можешь пожаловаться, не правда ли, что я плохой комиссионер, потому что как только ты поручаешь мне какое-нибудь дело, я тотчас стараюсь его исполнить и не мешкаю тебе сообщить о результатах моих хлопот. Следственно, если у тебя есть какие ко мне поручения, будь уверен, что я всегда приложу все мое усердие и поспешность, на какие только способна.

Теперь я поговорю о делах моего мужа. Так как он стал журналистом, ему нужна бумага, и вот как он тебе предлагает

рассчитываться с ним, если только это тебя не затруднит. Не можешь ли ты поставлять ему бумагу на сумму 4500 в год, это равно содержанию, которое ты даешь каждой из моих сестер; а за бумагу, что он возьмет сверх этой суммы, он тебе уплатит в конце года. Он просит тебя также, если ты согласишься на эти условия (в том случае, однако, если это тебя стеснит, так как он был бы крайне огорчен причинить тебе лишнее затруднение), вычесть за этот год сумму, которую он задолжал тебе за мою шаль. Завтра он уезжает в Москву, тогда, может быть, ты его увидишь и сможешь лично с ним договориться, если же нет, то пошли ему ответ на эту часть моего письма в Москву, где он предполагает пробыть две или три недели…»

По письмам Пушкина к Натали можно проследить, как с течением времени его поручения переходят из разряда сугубо деловых в сферу умственных и художественных интересов. Очевидно, давала о себе знать усиливающаяся духовная близость супругов.

«Мой ангел, одно слово, съезди к Плетневу и попроси его, чтоб к моему приезду велел переписать из Собрания законов (год 1774, 1775 и 1773) все указы, относящиеся к Пугачеву, не забудь…» (11 октября 1833 г.)

«Кстати, пришли мне, если можно, «Опыты» Монтеня — 4 синих книги, на длинных моих полках. Отыщи» (21 сентября 1835 г.).

«Ты мне прислала записку от М-ме Kern; дура вздумала переводить Занда и просит, чтобы я сосводничал ее со Смирдиным. Черт их побери обоих! Я поручил Анне Николаевне (Вульф) отвечать ей за меня, что если перевод ее будет так же верен, как она сама верный список с М-ме Zand, то успех ее несомнителен, а что со Смирдиным я никакого дела не имею. Что Плетнев? думает ли он о нашем общем деле?» (29 сентября 1835 г.)

«Пошли ты за Гоголем и прочти ему следующее: видел я актера Щепкина, который ради Христа просит его приехать в Москву прочесть «Ревизора». Без него актерам не спеться. Он говорит, что комедия будет карикатурна и грязна (к чему Москва всегда имела поползновение). С моей стороны я тоже ему советую: не надобно, чтоб «Ревизор» упал в Москве, где Гоголя более любят, нежели в Петербурге. При сем пакет к Плетневу для «Современника»; коли цензор Крылов не пропустит, отдать в комитет и, ради Бога, напечатать во 2 №» (6 мая 1836 г.). Заметим, что Пушкин по поводу Гоголя обратился именно к жене, хотя то же самое мог передать и через любого из своих друзей.

«Очень, очень благодарю тебя за письмо твое, воображаю

твои хлопоты и прошу прощения у тебя за себя и книгопродавцев. Они ужасный моветон, как говорит Гоголь, то есть хуже, нежели мошенники. Но Бог нам поможет. Благодарю и Одоевского за его типографические хлопоты. Скажи ему, чтоб он печатал как вздумает — порядок ничего не значит. Что записки Дуровой? пропущены ли цензурой? они мне необходимы — без них я пропал. Ты пишешь о статье гольцовской. Что такое? кольцовской или гоголевской? — Гоголя печатать, а Кольцова рассмотреть… Так как теперь к моим прочим достоинствам прибавилось и то, что я журналист, то для Москвы имею новую прелесть. Недавно, сказывают мне, что приехал ко мне Чертков. Отроду мы друг к другу не езжали. Но при сей верной оказии вспомнил он, что жена его мне родня, и потому привез мне экземпляр своего «Путешествия в Сицилию». Не побранить ли мне его по-родственному? Чаадаева видел всего лишь раз. Письмо мое похоже на тургеневское — и может тебе доказать разницу между Москвою и Парижем. Еду хлопотать по делам «Современника». Боюсь, чтоб книгопродавцы не воспользовались моим мягкосердием и не выпросили себе уступки вопреки строгих твоих предписаний…» (11 мая 1836 г.)

Судя и по этому, одному из последних писем Пушкина, жена давно уже перестала быть сторонней наблюдательницей беспокойной творческой жизни своего мужа, но сделалась полноправной ее участницей, которая вникла во многие подробности и трудности этой жизни.

К этому времени уже вышел 1-й номер пушкинского «Современника», и можно с уверенностью сказать, что Натали несомненно была знакома с его содержанием — об этом свидетельствует фраза Пушкина «письмо мое похоже на тургеневское». Дело в том, что в первом номере были напечатаны письма Тургенева из Парижа под названием «Париж» (Хроника русского)», в которых сообщались новости парижской политической, литературной и театральной жизни. Несколькими днями позже Пушкин признается Натали: «.. а между тем у меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист. Будучи еще порядочным человеком, я получил уж полицейские выговоры и мне говорили: вы не оправдали доверия и тому подобное. Что ж теперь со мною будет? Мордвинов будет на меня смотреть, как на Фаддея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона; черт догадал меня родиться в России с душою и талантом! Весело, нечего сказать». Только перед долготерпеливой и милующей Натали склонял он свою унылую голову и не страшился обнажить свои человеческие немощи, до которых читающей публике нет дела.

Хандра Пушкина стала неотвязной спутницей. В этом тема его «Странника».

Однажды странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбию великой
И тяжким бременем подавлен и согбен,
Как тот, кто на суде в убийстве уличен.
Потупя голову, в тоске ломая руки,
Я в воплях изливал души пронзенной муки
И горько повторял, метаясь как больной:
«Что делать буду я? что станется со мной?»

И так я, сетуя, в свой дом пришел обратно.
Уныние мое всем было непонятно.
При детях и жене сначала я был тих
И мысли мрачные хотел таить от них:
Но скорбь час от часу меня стесняла боле;
И сердце наконец раскрыл я поневоле.

«О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! —
Сказал я, — ведайте: моя душа полна
Тоской и ужасом, мучительное бремя
Тягчит меня. Идет! уж близко, близко время:
Наш город пламени и ветрам обречен;
Он в угли и золу вдруг будет обращен,
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре
Обресть убежище; а где? о горе, горе!»

Если бы подобное стихотворение было написано Пушкиным в 20 или даже в 30 лет, он несомненно обратился к Музе, ей бы жаловался на «тоску и ужас». В 1835-м место Музы заняла живая жена. Ей он каялся в своем унынии. Натали, не жалуясь, покрывала все его душевные страдания и метания своей любовью.

«Один глупец не изменяется…»

В 1835 году семейство Пушкина снова увеличилось: 14 мая Натали родила сына Григория. Мужа в это время дома не было, за десять дней до того он уехал в Тригорское: ему страшны были роды. «Ты подумаешь, быть может, что он отправился по делу, — совсем нет, — писала мать поэта дочери. — Единственно ради удовольствия путешествовать, да еще в дурную погоду! Мы очень были удивлены, когда Александр пришел с нами проститься накануне отъезда (из Петербурга. — Н. Г.), и его жена очень опечалена; надо сознаться, что твои братья оригиналы, которые никогда не перестанут быть таковыми… Натали разрешилась за несколько часов до приезда Александра, она уже его ждала, однако не знали, как ей о том сказать, и, правда, удовольствие его видеть так ее взволновало, что она промучилась весь день». 8 июня Надежда Осиповна продолжала бюллетень: «…на этот раз она слаба; она лишь недавно оставила спальню и не решается ни читать, ни работать».

16 мая Пушкин поздравил тещу с появлением на свет внука Григория: «…Наталья Николаевна родила его благополучно, но мучилась долее обыкновенного… Она поручила мне испросить Вашего благословения ей и новорожденному». В середине июля семейная хроника выглядела в изложении Пушкина таким образом: «Милостивая государыня матушка Наталия Ивановна, искренне благодарю Вас за подарок (1000 рублей. — Н. Г.), который вы изволили пожаловать моему новорожденному и который пришел очень кстати…

…Мы живем теперь на Черной речке, а отселе думаем ехать в деревню и даже на несколько лет: того требуют обстоятельства. Впрочем, ожидаю решения судьбы моей от Государя, который очень был ко мне милостив и коего воля будет для меня законом… Жена, дети и свояченицы — все слава Богу у меня здоровы — и целуют Ваши ручки…

С глубочайшим почтением и преданностию имею счастие быть, милостивая государыня матушка, Вашим покорнейшим слугой и зятем. А. Пушкин».

Решение «ехать в деревню» было поддержано Натальей Николаевной. Обе сестры Гончаровы отправились вместе с Пушкиными: перспектива остаться в Петербурге без Натали была отнюдь не привлекательной. Екатерина пишет брату Дмитрию ироническое письмо: «…Что еще тебе сказать о нас? Ты уже знаешь, что мы живем это лето на Черной речке, где мы очень приятно проводим время, и конечно не теперь ты стал бы хвалить

меня за мои способности к рукоделию, потому что я буквально и не вспомню, сколько месяцев я не держала иголки в руках. Правда, зато я читаю все книги, какие только могу достать, а если ты меня спросишь, что же я делаю, когда мне нечего делать, я тебе прямо скажу, не краснея (так как я дошла до самой бесстыдной лени) — ничего, решительно ничего. Я прогуливаюсь по саду или сижу на балконе и смотрю на прохожих. Хорошо это, как ты скажешь? Что касается до меня, я нахожу это чрезвычайно удобным. У меня множество женихов, каждый Божий день мне делают предложения: но я еще так молода, что решительно не вижу необходимости торопиться, я могу еще повременить, не правда ли? В мои годы это рискованно выходить такой молодой замуж, у меня еще будет для этого время и через десять лет…»

Екатерине в 1835-м было 26 лет, Александре — 24. Решение Пушкиных уехать в деревню дошло и до Дмитрия Николаевича, поэтому он, очевидно, собрался забрать своих перезревших невест обратно. Этим планам был дан решительный отпор. «…Так грустно иногда приходится, что мочи нет; не знаю, куда бы бежать с горя. Только не на Завод. Кстати, что это у тебя за причуды, что ты хочешь нас туда вернуть? Не с ума ли ты сошел, любезный братец; надо будет справиться о твоем здоровье, потому что и о семье надо подумать: не просить ли опекуна? Напиши мне поскорее ответ, я хочу знать в порядке ж твоя голова; то письмо довольно запутано, придется мне потребовать сведений от Вани. Жалко, а мальчик был не глуп, видный собою, статный. Ужасный век!.. Что касается денег за бумагу, то Пушкин просит передать, что он их еще не получил и что даже когда они у него будут, он ничего не может тебе уплатить…» (Александра Гончарова)

Пушкин никак не мог выпутаться из долгов. Это стало уже частью образа жизни: выбравшись из одних — тут же залезать в другие. К 1835 году сумма долгов превышала 60 тысяч. Подобное положение дел нельзя назвать из ряда вон выходящим: в те времена многие дворяне жили не по средствам. И Пушкин не был свободен от заблуждений своего века, в поэте «замечательно было соединение необычайной заботливости к своим выгодам с такою же точно непредусмотрительностью и растратой своего добра. В этом заключается и весь характер его», заметил современник поэта русский литературный критик П. В. Анненков.

Жившие не по средствам, отчаявшись, садились за карточный стол, как Германн в «Пиковой даме». Пытался поправить таким образом свое состояние и Пушкин. «Карты неудержимо влекли его. Сдаваясь доводам рассудка, он зачастую давал себе зарок

больше не играть, подкрепляя это торжественным обещанием жене, но при первом подвернувшемся случае благие намерения разлетались в прах, и до самой зари он не мог оторваться от зеленого поля. В эпоху, предшествующую женитьбе, когда потери достигали слишком значительной суммы, он брал у издателя авансом необходимое для уплаты и, распростившись с кутящей компанией, удалялся в Михайловское, где принимался за работу с удвоенной энергией, обогащая Россию новыми драгоценными творениями. Впоследствии способ этот стал непригоден. Расставаться с обожаемой женой сил не хватало; увозить ее с собой то беременной, то с малыми детьми было затруднительно, или прямо невозможно, и материальная стеснительность стала почти постоянной спутницей семейного обихода» (А. П. Арапова).

Кроме карточных, у Пушкина постоянно набирались долги насущные, так как, взяв на себя управление отцовским имением, он должен был погашать задолженность по нему, при этом — выплачивать родителям, брату и сестре их долю дохода, покрывать безрассудные (в том числе и карточные) траты брата Льва. В конце концов, Пушкин вынужден был отказаться от своей доли в пользу сестры, с тем «чтоб она получала доходы и платила проценты в ломбард… Батюшке остается Болдино», а Льву он «отдает половину Кистенева». В этом же письме к мужу сестры Павлищеву Пушкин пишет: «С моей стороны, это конечно, ни пожертвование, ни одолжение, а расчет для будущего». Только кто из смертных волен распоряжаться своим будущим…

Ко всему прочему, надежды Пушкина на «Историю Пугачевского бунта» не оправдались. Книга вышла в свет в конце 1834 года и первое время продавалась хорошо. «…Пугачев сделался добрым исправным плательщиком оброка, Емелька Пугачев, оброчный мой мужик! Денег он мне принес довольно, но как около двух лет я жил в долг, то ничего и не осталось у меня за пазухой, а все идет на расплату» (Пушкин — Нащокину). Но через три-четыре месяца продажа приостановилась, и большая часть тиража осталась нераспроданной. Вместо предполагавшихся 40 тысяч поэт выручил лишь 16, и те мгновенно растаяли.

В поисках выхода из денежного кризиса он снова обратился к царю. В черновиках писем к Бенкендорфу Пушкин откровенно описывал свое положение: «В 1832 году Его Величество соизволил разрешить мне быть издателем политической и литературной газеты. Ремесло это не мое и неприятно мне во многих отношениях, но обстоятельства заставляют меня прибегнуть к средству, без которого я до сего времени надеялся обойтись. Я проживаю в Петербурге, где благодаря Его Величеству могу предаваться занятиям более важным и более отвечающим моим

вкусам, но жизнь, которую я веду, вызывающая расходы, и дела семьи, крайне расстроенные, ставят меня в необходимость либо оставить исторические труды, которые стали мне дороги, либо прибегнуть к щедротам Государя, на которые я не имею никаких других прав, кроме тех благодеяний, коими он меня уже осыпал… Чтобы уплатить все мои долги и иметь возможность жить, устроить дела моей семьи и наконец без помех и хлопот предаться своим историческим работам и своим занятиям, мне было бы достаточно получить взаймы 100 000 рублей. Государь, который до сих пор не переставал осыпать меня милостями, но к которому мне тягостно обращаться, соизволив принять меня на службу, милостиво назначил мне 5000 жалованья. Эта сумма представляет собой проценты с капитала в 125 000. Если бы вместо жалованья Его Величество соблаговолил дать мне этот капитал в виде займа на 10 лет и без процентов, — я был бы совершенно счастлив и покоен…»

Видимо, подумав и решив, что и в случае благоприятного ответа от царя «покоен» он бы не был, Пушкин официально отправил другое письмо, честно признаваясь, что «из 60 000 моих долгов половина — долги чести (то есть карточные. Бенкендорф и сам не мог не знать об этом, потому что это было известно полиции. — Н. Г.). Итак, я умоляю Его Величество оказать мне милость полную и совершенную: во-первых, дав мне возможность уплатить эти 30 000 рублей и, во-вторых, соизволив разрешить мне смотреть на эту сумму как на заем и приказав, следовательно, приостановить выплату мне жалованья впредь до погашения этого долга».

Ответ не заставил себя долго ждать. Через пять дней решение было принято: «Государь Император всемилостивейше соизволил пожаловать служащему в Министерстве Иностранных дел камер-юнкеру коллежскому асессору Пушкину в ссуду 30 000 рублей (без процентов при отдаче. — Н. Г.) ассигн., с тем, чтобы в уплату сей суммы удерживаемо было производящееся ему жалованье».

После этого Пушкин получил и четырехмесячный отпуск. 7 сентября он уехал в Михайловское; письма его к жене оттуда свидетельствуют о неостывающей супружеской любви к ней.

«Вот уж неделя, как я оставил тебя, милый мой друг; а толку в том не вижу. Писать не начинал и не знай, когда начну. Зато беспрестанно думаю о тебе, и ничего путного не надумаю. Жаль мне, что я тебя с собою не взял. Что у нас за погода! Вот уж три дня, как я только что то гуляю пешком, то верхом. Эдак я и осень прогуляю, и коли Бог не пошлет нам порядочных морозов, то возвращусь к тебе, не сделав ничего… Теткам Азе и Коко (Александре и Екатерине. — Н. Г.) мой сердечный поклон» (14

сентября 1835 г.).

«…Так вернее до меня дойдут твои письма, без которых я совершенно дурею. Здорова ли ты, душа моя? и что мои ребятишки? что дом наш и как ты им управляешь? Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки, а все потому, что неспокоен. В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уж в нем няни моей и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно видеть мне молодых кавалергардов на балах, на которых я уже не пляшу. Но делать нечего; все кругом меня говорит, что я старею, иногда даже чистым русским языком. Например, вчера мне встретилась знакомая баба, которой не мог я не сказать, что она переменилась. А она мне: да и ты, мой кормилец, состарелся да подурнел. Хотя могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был. Всё это не беда; одна беда: не замечай ты, мой друг, того, что я слишком замечаю… Что Коко и Азя? замужем или еще нет? Скажи, чтоб без моего благословения не шли» (25 сентября).

«Я провожу время очень однообразно. Утром дела не делаю, а так из пустого в порожнее переливаю. Вечером езжу в Тригорское, роюсь в старых книгах да орехи грызу. А ни стихов, ни прозу писать и не думаю… Целую тебя. Как твой адрес глуп, так это объедение! В Псковскую губернию, в село Михайловское. Ах ты, моя голубушка! а в какой уезд и не сказано. Да и Михайловских сел, чай, не одно; а хоть и одно, так кто ж его знает. Экая ветреница! Ты видишь, что я все ворчу; да что делать? нечему радоваться…» (29 сентября)

Вдохновение никак не приходило, Пушкина это терзало более всего. В первые две унылые недели он писал только Натали, жалуясь ей на бесцельность своего существования, так, что у нее зародились ревнивые мысли, почему муж не возвращается, если ему так плохо и не пишется…

Рядом было Тригорское, в котором проживали мужнины пассии времен Михайловской ссылки, правда, молоденькие тригорские соседки теперь были замужем… Натали, видимо, написала Пушкину о своих подозрениях, на которые тот с нескрываемой радостью ответил: «Милая моя женка, есть у нас здесь кобылка, которая ходит и в упряжке, и под верхом. Всем хороша, но чуть пугнет ее что на дороге, как она закусит повода, да и несет верст десять по кочкам да по оврагам — и тут уж ничем ее не проймешь, пока не устанет сама. Получил я, ангел кротости и красоты! письмо твое, где изволишь ты, закусив поводья, лягаться милыми и стройными копытцами,

подкованными у M-de Catherine (очевидно, имеется в виду Екатерина Николаевна. — Н. Г.). Надеюсь, что ты теперь устала и присмирела. Жду от тебя писем порядочных, где бы я слышал тебя и твой голос — а не брань, мною вовсе не заслуженную, ибо я веду себя как красная девица. Со вчерашнего дня начал я писать (чтоб не сглазить только). Погода у нас портится, кажется, осень наступает не на шутку» (2 октября).

Надо сказать, что в проявлении ревнивых чувств со стороны Натали Пушкин во все продолжение их супружеской жизни видел явление отрадное, о чем свидетельствуют и такие строки: «Письмо твое… между тем и порадовало: если ты поплакала, не получив от меня письма, стало быть, ты меня еще любишь, женка. За что целую тебе ручки и ножки…» (11 июля 1834 г.)

Неожиданно из дома пришло извещение о резком ухудшении здоровья Надежды Осиповны Пушкиной, страдавшей хронической болезнью печени. Пушкин покинул деревню и из Петербурга написал письмо владелице Тригорского П. А. Осиповой. «Вот я, сударыня, и прибыл в Петербург. Представьте себе, что молчание моей жены объяснилось тем, что ей пришло в голову адресовать письма в Опочку. Бог знает, откуда она это взяла. Во всяком случае умоляю Вас послать туда кого-нибудь из наших людей сказать почтмейстеру, что меня больше нет в деревне и чтобы он переслал все у него находящееся обратно в Петербург (в числе корреспонденции были и драгоценные для мужа письма Натали. — Н. Г.). Бедную мать мою я застал почти при смерти, она приехала из Павловска искать квартиру и вдруг почувствовала себя дурно у госпожи Княжниной (подруги своего детства. Отец, Сергей Львович, в это время расположился у графа Толстого. — Н. Г.), где она остановилась. Раух и Спасский потеряли всякую надежду. В этом печальном положении я еще с огорчением вижу, что бедная моя Натали стала мишенью для ненависти света. Повсюду говорят: это ужасно, что она так наряжается, в то время как ее свекру и свекрови есть нечего и ее свекровь умирает у чужих людей. Вы знаете, как обстоит дело. Нельзя серьезно говорить о нищете человека, имеющего 1200 душ. Стало быть, у отца моего есть кое-что, это у меня ничего нет.

И во всяком случае, Наташа тут ни при чем; за это должен ответить я. Если бы мать моя захотела поселиться у меня, Наташа, разумеется, приняла бы ее, но холодный дом, наполненный ребятишками и запруженный народом, мало подходит для больной. Матери моей лучше у себя. Я застал ее уже перебравшейся. Отец мой в положении, всячески достойном жалости. Что до меня, то я исхожу желчью и совершенно ошеломлен…»

Скорее всего, приступ болезни вызвало письмо любимого младшего сына Льва, который сообщил матери, что сидит без копейки, даже письмо отправить не на что. Ольга Сергеевна, приехавшая из Варшавы со своим младенцем сыном, сообщала мужу: «Он (Лев. — Н. Г.) считает ни за что 20 000 рублей, что за него заплатили, живет в Тифлисе как человек, могущий истратить и 10 000 рублей. А моя бедная мать чуть не умерла. Как только она прочла это письмо, у нее разлилась желчь… Ты можешь себе представить, в каком положении отец со своими черными мыслями, и к тому же денег нет. Они получили тысячу рублей из деревни, а через неделю от них ничего не осталось. Александр вернулся вчера, он верит в Спасского, как евреи в пришествие Мессии, и повторяет за ним, что мать очень плоха, но это не так, все видят, что ей лучше…»

Надежде Осиповне оставалось жить около полугода. Сестра Пушкина в отношении Натали была полностью на ее стороне: «Жена Александра опять беременна. Вообрази, что на нее, бедную, напали, отчего и почему мать у ней не остановилась по приезде из Павловска? На месте моей невестки, я поступила бы так же: их дом, правда, большой, но расположение комнат неудобное, и потом — две сестры и трое детей, и потом — как бы к этому отнесся Александр, которого не было в Петербурге, и потом моя мать не захотела бы этого. Г-жа Княжнина — ее друг детства; это лучше, чем сноха, что совершенно ясно, а моя невестка — не лицемерка, Мать моя ее стеснила бы, это понятно и без слов. По этому поводу стали кричать, — почему у нее ложа в театре и почему она так элегантно одевается, тогда как родители ее мужа так плохо одеты, — одним словом, нашли очень заманчивым ее ругать. И нас тоже бранят: Александр — чудовище, я — жестокосердая дочь. Впрочем, Александр и его жена имеют много сторонников… А отец только плачет, вздыхает и жалуется всем, кто к ним приходит и кого он встречает».

Екатерина и Александра Гончаровы в это время, судя по письмам, уже совершенно освоились в Петербурге, обе жаловались на свою мать. «Пушкин две недели назад вернулся из псковского поместья, куда ездил работать и откуда приехал раньше, чем предполагал, потому что он рассчитывал пробыть там три месяца; это очень устроило бы их дела, тогда как теперь он ничего не сделал, и эта зима будет для них нелегкой. Право, стыдно, что мать ничего не хочет для них сделать, это непростительная беззаботность, тем более, что Таша ей недавно об этом писала, а она ограничилась тем, что дала советы, которые ни гроша не стоят и не имеют никакого смысла. (Причину подобной аттестации надо искать в разнице образов жизни

матери и сестер, вкусивших прелесть бальной жизни. — Н. Г.) У нас в Петербурге предстоит блистательная зима, больше балов, чем когда-либо, все дни недели уже распределены, танцуют каждый день. Что касается нас, то мы выезжаем еще очень мало, так как наша покровительница Таша находится в очень жалком состоянии… Двор вернулся вчера, и на днях нам обещают большое представление ко Двору и блестящий бал, что меня ничуть не устраивает, особенно первое. Как бы себя не сглазить, но теперь, когда нас знают, нас приглашают танцевать, это ужасно, ни минуты отдыха, мы возвращаемся с бала в дырявых туфлях, чего в прошлом году совсем не бывало. Нет ничего ужаснее, чем первая зима в Петербурге, но вторая — совсем другое дело. Теперь, когда мы уже заняли свое место, никто не осмеливается наступать нам на ноги, а самые гордые дамы, которые в прошлом году едва отвечали нам на поклон, теперь здороваются с нами первыми, что также влияет на наших кавалеров. Лишь бы все шло, как сейчас, и мы будем довольны, потому что годы испытания здесь длятся не одну зиму, а мы уже сейчас чувствуем себя совершенно свободно в самом начале второй зимы, слава Богу, и я тебе признаюсь, что если мне случается увидать во сне, что я уезжаю из Петербурга, я просыпаюсь вся в слезах и чувствую себя такой счастливой, видя, что это только сон» (Екатерина Гончарова).

Старшей сестре вторила Александра: «Что сказать тебе интересного? Жизнь наша идет своим чередом. Мы довольно часто танцуем, катаемся верхом у Бистрома каждую среду (сестры Гончаровы были великолепными наездницами. — Н. Г.), а послезавтра у нас будет большая карусель (конные состязания. — Н. Г.): молодые люди, самые модные и молодые особы, самые очаровательные и самые красивые. Хочешь знать, кто это? Я тебе их назову. Начнем с дам, это вежливее. Прежде всего твои две прекрасные сестрицы или две сестрицы-красавицы, потому что третья… кое-как ковыляет, затем Мари Вяземская и Софи Карамзина; кавалеры: Валуев, примерный молодой человек (будущий министр внутренних дел, женившийся через полгода на дочери кн. Вяземского Мари. — Н. Г.), Дантес — кавалергард, А. Карамзин — артиллерист; это будет красота. Не подумай, что из-за этого я очень счастлива, я смеюсь сквозь слезы. Правда» (1 декабря 1836 года).

Итак, сестры уже познакомились с «модным молодым человеком» Дантесом. Натали было совсем не до новых знакомств: четвертая беременность протекала тяжело. Материальное положение семьи еще более ухудшилось. К началу 1836 года у Пушкина было около 77 тысяч долгов, в том числе по

казенной ссуде 48 тысяч, частных — 29 тысяч.

Ничего не оставалось другого, как затеять наконец собственный литературный журнал, который царь разрешил еще в 1832 году, но по разным обстоятельствам издание начато не было. Его колебания отразились в стихотворении 1835 года.

> На это скажут мне с улыбкою неверной:
> Смотрите, вы поэт уклонный, лицемерный,
> Вы нас морочите — вам слава не нужна,
> Смешной и суетной вам кажется она:
> Зачем же пишете? — Я? для себя. — За что же
> Печатаете вы? — Для денег. — Ах, мой Боже!
> Как стыдно! — Почему ж?

«Покуда писатель молод, он пишет много и скоро», — утверждал «поздний» Гоголь. Этот закон литературного творчества относился и к Пушкину. За весь 1835 год поэт не создал ничего такого, что бы могло доставить большой гонорар. Пушкин во многом пересмотрел свои взгляды политические и художественные, о чем он, в частности, писал той же тригорской соседке Осиповой: «Государь только что оказал свою милость большей части заговорщиков 1825 года, между прочим, и моему бедному Кюхельбекеру. По указу должен он быть поселен в Южной части Сибири. Край прекрасный, но мне бы хотелось, чтобы он был поближе к нам, и, может, ему позволят поселиться в деревне его сестры, г-жи Глинки. Правительство всегда относилось к нему с кротостью и снисходительностью. Как подумаю, что уже 10 лет протекло со времени этого несчастного возмущения (восстания декабристов. — Н. Г.), мне кажется, что всё я видел во сне. Сколько событий, сколько перемен во всем, начиная с моих собственных мнений, моего положения и проч. Право, только дружбу мою к вам и вашему семейству я нахожу в душе моей всё той же, всегда полной и нераздельной» (29 декабря 1835 г.).

С изменившимися во многом взглядами на жизнь, Пушкину, кажется, было легче приступить к журналу. Возможно, в этой истории сыграла свою роль — восходящая звезда российской словесности, который писал Плетневу:

«Пушкин хотел сделать из «Современника» четвертное обозрение в роде английских, в котором могли бы помещаться статьи более обдуманные и полные, чем какие могут быть в еженедельниках и ежемесячниках, где сотрудники, обязанные торопиться, не имеют времени пересмотреть то, что написали сами. Впрочем, сильного желания издавать этот журнал в нем не

было, и он сам не ожидал от него большой пользы. Получивши разрешение на издание его, он уже хотел было отказаться. Грех лежит на моей душе; я умолил его. Я обещался быть верным сотрудником. В статьях моих он находил много того, что может сообщить журнальную живость изданию, какой он в себе не признавал. Моя настойчивая речь и обещанье действовать меня убедили».

Другим сотрудником журнала стал князь из рода Рюриковичей В. Ф. Одоевский. С ним Пушкин познакомился пять лет назад и стал частым посетителем его литературного салона в Петербурге. Князь был связующим звеном между издателем «Современника» и владельцем Гуттенбергской типографии, где печатался журнал. В отсутствие Пушкина Одоевский вместе с Плетневым, Краевским и при участии Натали взял на себя корректуру и составление второй книги «Современника». Свидетельством участия Натали в делах мужа является сохранившееся письмо Одоевского к ней от 10 мая (за две недели до ее родов).

«Простите меня, милостивая государыня Наталья Николаевна, что еще раз буду беспокоить Вас с хозяйственными делами «Современника». Напишите, сделайте милость, Александру Сергеевичу, что его присутствие здесь было бы необходимо, ибо положение дел следующее:

Плетнев в его отсутствие посылал мне последнюю корректуру для просмотра и для подписания к печати, что я доныне и делал, оградив себя крестным знамением, ибо не знаю орфографии Александра Сергеевича — особенно касательно больших букв и на что бы я желал иметь от Александра Сергеевича хотя краткую инструкцию; сие необходимо нужно, дабы бес не радовался и пес хвостов не крутил…» В письме было шесть пунктов, седьмым стояло: «…если Александр Сергеевич долго не приедет, я в Вас влюблюсь и не буду давать Вам покоя.

Ваш нижайший слуга и богомолец Одоевский».

Но приступим к хронике последнего года супружеской жизни Пушкиных с самого начала, дабы уразуметь причины и источники внезапной трагедии. Да и была ли она внезапной? По мнению многих современников, в обстоятельствах, породивших катастрофу, сыграл свою роль пылкий и страстный характер поэта. Еще и еще в продолжение последнего своего года Пушкин возвращался к возлюбленному теперь выводу: «…Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж, со вздохом иль с улыбкою, отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и моложавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не

приносит ему развития, а опыты для него не существуют…»

Глава третья
Дуэль

«Себе лишь самому служить и угождать…»

В десятых числах января 1836 года Государь Николай Павлович разрешил выпускать «Современник». Пушкин встретил это известие с таким торжеством, с каким несколько лет назад писал Плетневу по поводу своей трагедии: «Милый! Победа! Царь позволяет мне напечатать «Годунова» в первобытной красоте!..»

Тут бы и закрепить успех, возблагодарить Бога… Но Пушкин решается написать эпиграмму-пасквиль на министра народного образования С. С. Уварова, который «подвергал его сочинения общей цензуре» под названием «На выздоровление Лукулла».

И хотя очень скоро Пушкин пожалел о своей выходке, однако надолго восстановил против себя весь аристократический и чиновничий Петербург.

В конце января — в разгар событий после опубликования пасквиля — Ольга Сергеевна писала мужу: «Я очень недовольна, что ты писал Александру, это привело к тому, что разволновало его желчь. Я никогда не видела его в таком отвратительном расположении духа: он кричал до хрипоты, что лучше отдаст все, что у него есть (в том числе, может, и свою жену?), чем опять иметь дело с Болдином, управляющим, с ломбардом и т. д. Гнев его в конце концов показался довольно комичным, — до того, что мне хотелось смеяться: у него был вид, как будто он передразнивал отца. Как тебе угодно, я больше не буду говорить с Александром; если ты будешь писать ему по его адресу, он будет бросать твои письма в огонь, не распечатывая, поверь мне! Ему же не до того теперь: он издает на днях журнал, который ему приносить будет, не меньше, он надеется, 60 000! Хорошо и завидно».

«Разволновавшуюся желчь» Пушкину долго не удавалось успокоить, и на этой немирной волне разразились один за другим три дуэльные инцидента.

Первый случился с московским знакомцем поэта С. С. Хлюстиным. 3 февраля Хлюстин был принят Пушкиным, «по обыкновению весьма любезно». Заговорили о литературе, и тут гость некстати вспомнил о статье Сеньковского, опубликованной в очередном номере «Библиотеки для чтения». Дело касалось перевода сказки Виланда «Вастола», сделанного литератором Люценко. Решив помочь ему, Пушкин разрешил на титульном листе издания поставить свою фамилию, и получилось, что сказка вышла без имени переводчика, но под титлом «Издано Пушкиным». Сеньковский обвинил Пушкина в неблаговидном поступке, который заставил обмануться публику.

Хлюстин процитировал то место, где говорилось, что Пушкин «дал напрокат» свое имя и пр., и поэт взорвался. Хлюстин не сумел с честью вывернуться из спора, и обмен репликами окончился тем, что Пушкин заявил: «Это не может так кончиться». Назавтра Хлюстин получил от него письмо, которое нельзя было иначе воспринимать, как вызов на дуэль. Дело едва не дошло до поединка. Не без труда удалось его уладить при посредничестве Соболевского.

Буквально на следующий день после мирных переговоров Пушкин ввязался в новую историю. До него дошли слухи, что после опубликования «Лукулла» член Государственного совета князь Н. Г. Репнин позволил себе дурно отозваться о поэте в обществе. Эти слухи распространял Боголюбов. 5 февраля Репнин получил от Пушкина письмо: «Князь, с сожалением вижу себя вынужденным беспокоить Ваше Сиятельство; но, как дворянин и отец семейства, я должен блюсти мою честь и имя, которое оставлю детям. Я не имею чести быть лично известным Вашему Сиятельству. Я не только никогда не оскорблял Вас, но по причинам, мне известным, до сих пор питал к Вам искреннее чувство уважения и признательности. Однако же некто г-н Боголюбов публично повторял оскорбительные для меня отзывы, якобы исходящие от Вас. Прошу Ваше Сиятельство не отказать сообщить мне, как я должен поступить. Лучше, нежели кто-либо, я знаю расстояние, отделяющее меня от Вас, но Вы не только знатный вельможа, но и представитель нашего древнего и подлинного дворянства, к которому и я принадлежу, Вы поймете, надеюсь, без труда настоятельную необходимость, заставившую меня поступить таким образом.

С уважением остаюсь Вашего Сиятельства нижайший и покорнейший слуга Александр Пушкин».

Если бы Репнин не захотел вступать в объяснения, то должен был рассматривать это — решительного тона — письмо как вызов. Князь ответил вежливо и церемонно, отводя упрек Пушкина и убеждая, что гениальному поэту славу принесет воспевание «веры русской и верности, а не оскорбление частных лиц». Пушкин был удовлетворен сполна и 11 февраля отправил «обидчику» второе письмо: «Милостивый государь князь Николай Григорьевич, приношу Вашему Сиятельству искреннюю, глубочайшую мою благодарность за письмо, коего изволили меня удостоить. Не могу не сознаться, что мнение Вашего Сиятельства касательно сочинений, оскорбительных для чести частного лица, совершенно справедливо. Трудно их извинить даже когда они написаны в минуту огорчения и слепой досады. Как забава суетного или развращенного ума, они были бы непростительны. С

глубочайшим почтением и совершенной преданностью есмь, милостивый государь, Вашего Сиятельства покорнейшим слугою. Александр Пушкин».

После этой истории Пушкин незамедлительно нашел новый повод для дуэли — с собратом по перу Владимиром Соллогубом. Подробности этой истории приводит в своих воспоминаниях сам граф Соллогуб.

«Накануне моего отъезда (в Тверь в октябре 1835 года. — Н. Г.) я был на вечере вместе с Натальей Николаевной Пушкиной, которая шутила над моей романтической страстью и ее предметом. Я ей хотел заметить, что она уже не девочка, и спросил, давно ли она замужем. Затем разговор коснулся Ленского, очень милого поляка, танцевавшего тогда превосходно мазурку на петербургских балах. Все это было до крайности невинно и без всякой задней мысли. Но присутствующие дамы соорудили из этого разговора целую сплетню: что я будто оттого говорил про Ленского, что он будто нравится Наталье Николаевне (чего никогда не было), и что она забывает о том, что она еще недавно замужем. Наталья Николаевна, должно быть, сама рассказала Пушкину про такое странное истолкование моих слов, так как она вообще ничего от мужа не скрывала, хотя и знала его пламенную, необузданную натуру. Пушкин тотчас написал ко мне письмо, никогда ко мне не дошедшее, и, как мне было передано, начал говорить, что я уклоняюсь от дуэли. В Ржеве я получил от Андрея Карамзина письмо, в котором он меня спрашивал, зачем же я не отвечаю на вызов А. С. Пушкина: Карамзин поручился ему за меня как за своего дерптского товарища, что я от поединка не откажусь. Для меня это было совершенной загадкой. Пушкина я знал очень мало, встречался с ним у Карамзиных, смотрел на него как на полубога. И вдруг, ни с того, ни с сего, он вызывает меня стреляться, тогда как перед отъездом я с ним не виделся вовсе. Я переехал в Тверь. С Карамзиным я списался и узнал, наконец, в чем дело. Получив объяснение, я написал Пушкину, что я совершенно готов к его услугам, когда ему будет угодно, хотя не чувствую за собой никакой вины по таким-то и по таким причинам. Пушкин остался моим письмом доволен и сказал С. А. Соболевскому: «Немножко длинно, молодо, а впрочем, хорошо…» В ту пору через Тверь проехал Балуев и говорил мне, что около Пушкиной увивается сильно Дантес. Мы смеялись тому, что когда Пушкин будет стреляться со мной, жена будет кокетничать с своей стороны. Хлюстин привез мне ответ Пушкина… Он написал мне письмо по-французски следующего содержания: «Вы взяли на себя напрасный труд, давая мне объяснение, которого я у вас не требовал. Вы позволили себе

обратиться к моей жене с неприличными замечаниями и хвалились, что наговорили ей дерзостей. Имя, вами носимое, и общество, вами посещаемое, вынуждает меня требовать от вас сатисфакции за непристойность вашего поведения. Извините меня, если я не мог приехать в Тверь прежде конца настоящего месяца» и пр. Делать было нечего, я стал готовиться к поединку, купил пистолеты, выбрал секунданта, привел бумаги в порядок и начал дожидаться и прождал так напрасно три месяца. Я твердо, впрочем, решился не стрелять в Пушкина, но выдерживать его огонь, сколько ему будет угодно. Пушкин все не приезжал, но расспрашивал про дорогу».

Из-за тяжелой болезни матери Пушкин никуда не отлучался из Петербурга. В мае Соллогуб явился для объяснений, и дело неожиданно уладилось: молодой человек согласился написать записку, где извинялся перед Натали, Пушкин тотчас протянул ему руку и «сделался чрезвычайно весел и дружелюбен», после чего сказал: «Я имею несчастье быть человеком публичным, и, знаете, это хуже, чем публичная женщина».

«Дуэльный синдром» стал развиваться у Пушкина задолго до рокового поединка. Это своего рода духовная болезнь, когда в представлениях человека ложь незаметно подменяет истину. В самом деле, кто в здравом уме докажет, что преднамеренное и рассчитанное убийство способно восстановить чью-либо поруганную честь! Само участие в дуэли и гражданским судом, и духовным признавалось тяжким преступлением и смертным грехом: убийством, а в случае победы противника — самоубийством. Поэт сам приравнял дуэль к суициду. В состоянии хандры он комментирует анналы Тацита и там устанавливает прямую связь между самоубийством и дуэлью: «Самоубийство так же было обыкновенно в древности, как поединок в наши времена». «Погиб поэт, невольник чести…» — написал М. Ю. Лермонтов про Пушкина в 1837-м, а спустя четыре года сам стал жертвой дуэльного поединка.

В самую заутреню Пасхи умерла Надежда Осиповна Пушкина — 29 марта 1836 года. Перед смертью она просила прощения у старшего сына за то, что так мало ценила его при жизни, «предпочитала ему второго сына Льва и при том до такой степени, что каждый успех старшего делал ее к нему равнодушной и вызывал с ее стороны сожаление, что успех этот не доставался ее любимцу. Но последний год ее жизни, когда она была больна несколько месяцев, Александр Сергеевич ухаживал за нею с такой нежностью и уделял ей от малого своего состояния с такой охотой, что она узнала свою несправедливость… После похорон он был чрезвычайно расстроен и жаловался на судьбу,

что она и тут его не пощадила, дав ему такое короткое время пользоваться нежностью материнской, которой до того времени он не знал…» (баронесса Е. Н. Вревская)

Анна Керн оставила воспоминания об этих последних месяцах. Пушкин со своей Натали часто приходил к матери, «когда она уже не вставала с постели, которая стояла посреди комнаты, головами к окнам. Они сидели рядом на маленьком диване у стены, и Надежда Осиповна смотрела на них ласково с любовью, а Александр Сергеевич держал в руке конец боа своей жены и тихонько гладил его, как будто тем выражая ласку к жене и ласку к матери. Он при этом ничего не говорил…»

Все печальные хлопоты Пушкин взял на себя: он настоял, чтобы мать похоронили в стенах Святогорского Успенского монастыря, и сам провожал гроб с телом в Михайловское. Там же, в Святогорском монастыре, поэт назначил место и для себя — рядом с могилами деда Осипа Абрамовича и бабушки Марии Алексеевны, сделав вклад в кассу обители.

Жизнь семьи Пушкина шла своим чередом: старое старилось, молодое поколение подрастало, любовь супругов была приметна для многих и помогала до сего времени терпеть превратности судьбы. Откуда пришла беда? Дантес — кто он, откуда, каким образом скрестились пути его с Натали и завязались в гордиев узел, который внезапно рассекся смертью.

По воспоминаниям незадачливого дуэлянта гр. Соллогуба, узнаём, что только в феврале 1836 г. до него дошла «новость», будто Дантес ухаживает за женой Пушкина. Соллогуб уехал из Петербурга в Тверь в октябре 35-го, стало быть, карамзинским кружком не было замечено ничего предосудительного почти во всю зиму 35/36 гг. — кроме того, что Пушкин три раза покушался на дуэль?

Дантес в глубокой тайне хранил возникшую страсть к Натали, судя по письму к своему покровителю барону Геккерену, уехавшему в то время в длительный отпуск за границу:

«Дорогой друг мой, я действительно виноват, что не ответил сразу на два добрых и забавных письма, которые ты мне написал, но, видишь ли, ночью танцуешь, утром в манеже, днем спишь, вот моя жизнь последних двух недель, и предстоит еще столько же, но что хуже всего, это то, что я безумно влюблен! Да, безумно, так как не знаю, как быть; я тебе ее не назову, потому что письмо может затеряться, но вспомни самое прелестное создание в Петербурге, и ты будешь знать ее имя.

Но всего ужаснее в моем положении то, что она тоже любит меня, и мы не можем видеться до сих пор, так как муж бешено ревнив: поверяю тебе это, дорогой мой, как лучшему другу и

потому что знаю, что ты примешь участие в моей печали, но ради Бога, никому ни слова, никаких попыток разузнать, за кем я ухаживаю, ты ее погубишь, не желая того, я буду безутешен. Потому что, видишь ли, я бы сделал все на свете для нее, только чтобы ей доставить удовольствие, потому что жизнь, которую я веду последнее время, — это пытка ежеминутная. Любить друг друга и не иметь возможности сказать об этом между двумя ритурнелями кадрили — это ужасно; я, может быть, напрасно поверяю тебе все это, и ты сочтешь все это за глупости; но такая тоска в душе, сердце так переполнено, что мне необходимо излиться хоть немного. Я уверен, что ты простишь мне это безрассудство, я согласен, что это так, но я не способен рассуждать, хотя мне было бы это очень нужно, потому что эта любовь отравляет мое существование. Но будь покоен, я осторожен, и я был осторожен до такой степени, что до сих пор тайна принадлежит только ей и мне (она носит то же имя, как та дама, которая писала тебе обо мне, что она была в отчаянии, потому что чума и голод разорили ее деревню), ты должен теперь понять, что можно потерять рассудок от подобного существа, особенно когда она тебя любит. Повторяю тебе еще раз — ни слова Богу, потому что он переписывается с Петербургом, и достаточно одного его сообщения супруге, чтобы погубить нас обоих… Вот почему у меня скверный вид, потому что помимо этого, никогда в жизни я себя лучше не чувствовал физически, чем теперь, но у меня так возбуждена голова, что я не имею минуты покоя ни днем, ни ночью, это-то мне и придает больной и грустный вид, а не здоровье… До свиданья, дорогой мой, будь снисходителен к моей новой страсти, потому что тебя я также люблю от всего сердца» (20 января 1836 г.).

Многие исследователи в «самом прелестном создании Петербурга» узнают Натали Пушкину. Пусть так — именно о своей сильной страсти к ней говорит Дантес. Он действительно был влюблен — почти до «потери рассудка» — собственно, в этом ничего предосудительного нет: порой с сердцем трудно совладать. Однако его слова «она тоже любит меня» — желаемое, выдаваемое за действительность. У Дантеса не было возможности с ней особенно видеться: Натали очень мало появлялась на зимних балах из-за ее беременности. Как же она была хороша, если и на половине беременности казалась столь привлекательной, что самый модный избалованный успехом у женщин молодой человек влюбился в нее без памяти.

Шокирующее признание Дантеса, будто бы «она тоже любит меня», нельзя принимать всерьез еще и потому, что все январское его письмо написано в стиле посланий определенного круга

людей и отношений того времени. Не принято было, говоря о романе со светской женщиной, прямо называть ее имя. Его сообщали с условием соблюдения строжайшей тайны — в мольбе об этом суть послания Дантеса. Молодому блестящему светскому человеку для того, чтобы привлечь к себе интерес, полагалось иметь роман с замужней дамой. И вот воспламенились чувства…

Тайна Дантеса очень скоро стала известна многим, и в конце зимы его ухаживания за Натали были замечены и о них пошли разговоры. 5 февраля Мари Мердер, дочь воспитателя наследника, записала в своем дневнике: «В толпе я заметила д'Антеса, но он меня не видел. Возможно, впрочем, что просто ему было не до того. Мне показалось, что глаза его выражали тревогу, — он искал кого-то взглядом и, внезапно устремившийся к одной из дверей, исчез в соседней зале. Через минуту он появился вновь, но уже под руку с г-жою Пушкиной. До моего слуха долетело:

— Уехать — думаете ли вы об этом — я этому не верю — вы этого не намеревались сделать…

Выражение, с которым произнесены эти слова, не оставляло сомнения насчет правильности наблюдений, сделанных мною ранее, — они безумно влюблены друг в друга! Пробыв на балу не более получаса, мы направились к выходу. Барон танцовал мазурку с г-жою Пушкиной. Как счастливы они казались в эту минуту…»

Многие молодые дамы были влюблены в блестящего француза, как в Натали — мужчины, «не только вовсе с нею незнакомые, но чуть ли никогда собственно ее даже не видавшие». Если была бы возможность открыть их дневники, то… кому только она ни объяснялась в любви — в воображении! Молоденькая фрейлина М. Мердер вполне могла злословить насчет Натали, потому что хотела быть на ее месте! Сердцу не прикажешь…

Люди проницательные и гораздо больше осведомленные об отношениях в семье Пушкиных не были столь категоричны в своих выводах. Н. М. Смирнов, вспоминая о зимнем сезоне 36-го, писал о Дантесе: «Красивой наружности, ловкий, веселый и забавный, болтливый, как все французы, Дантес был везде принят дружески, понравился даже Пушкину, дал ему прозвание «трехбунчужный Паша», когда однажды тот приехал на бал с женой и ее двумя сестрами. Скоро он страстно влюбился в г-жу Пушкину. Наталья Николаевна, быть может, немного тронутая сим новым обожанием, невзирая на то, что искренно любила своего мужа, до такой степени, что даже была ревнива, или из неосторожного кокетства, казалось, принимала волокитство

Дантеса с удовольствием».

Графиня Фикельмон видела ситуацию сходным образом. «Многие несли к ее ногам дань своего восхищения, но она любила мужа и казалась счастливой в своей семейной жизни. Она веселилась от души и без всякого кокетства, пока один француз по имени Дантес, кавалергардский офицер, усыновленный голландским посланником Геккерном, не начал за ней ухаживать. Он был влюблен в течение года, как это бывает позволительно всякому молодому человеку, живо ею восхищаясь, но ведя себя сдержанно и не бывая у них в доме. Но он постоянно встречал ее в свете и вскоре стал более открыто проявлять свою любовь».

Все эти воспоминания написаны уже после случившейся трагедии. Дантес описывал свою любовную хронику, что называется, «по горячим следам». Через три недели после первого он отправил Геккерену новое письмо:

«Дорогой друг, вот и масленица прошла, а с ней и часть моих мучений; в самом деле, кажется, я стал немного спокойней с тех пор, как не вижу ее; и потом всякий не может брать ее за руку, за талию, танцевать и говорить с нею, как это делаю я, и спокойнее, чем я, потому что у них совесть чище. Глупо, но оказывается, чему бы я никогда не поверил, что это ревность приводила меня в такое раздраженное состояние и делала меня таким несчастным. И потом, когда я видел ее последний раз, у нас было объяснение. Оно было ужасно, но облегчало меня. Эта женщина, у которой обычно предполагают мало ума, не знаю, дает ли его любовь, но невозможно вместить больше такта, прелести и ума, чем она вложила в этот разговор; а его было очень трудно поддерживать, потому что речь шла об отказе, любимому и обожающему, нарушить ради него свой долг; она описала мне свое положение с такой непосредственностью, так просто, просила у меня прощения, что я в самом деле был побежден и не нашел ни слова, чтобы ей ответить. Если бы ты знал, как она меня утешала, потому что она видела, что я задыхаюсь и что мое положение ужасно; а когда она сказала мне, я люблю вас так, как никогда не любила, но не просите у меня никогда большего, чем мое сердце, потому что все остальное мне не принадлежит, и я не могу быть счастливой иначе, чем уважая свой долг, пожалейте меня и любите меня всегда так, как вы любите сейчас, моя любовь будет вашей наградой; право, я упал бы к ее ногам, чтобы их целовать, если бы я был один, и уверяю тебя, что с этого дня моя любовь к ней еще возросла, но теперь это не то же самое: я ее уважаю, почитаю, как уважают и почитают существо, к которому вся ваша жизнь привязана. Но прости, мой друг, я начинаю письмо с того, что говорю о ней; она и я это нечто единое, и говорить о ней это

то же, что говорить обо мне, а ты укоряешь меня во всех письмах, что я недостаточно распространяюсь о себе. Как я уже говорил, я чувствую себя лучше, гораздо лучше, и начинаю дышать, слава Богу, потому что моя пытка была невыносима; быть веселым, смеющимся на людях при тех, которые видели меня ежедневно, тогда как я был в отчаянии, это ужасное положение, которого я и врагу не пожелаю…»

Дантес был ровесником Натали, но она, конечно же, была несравненно мудрее его, потому что была матерью семейства и женой умнейшего человека. Она действительно всем сердцем могла чувствовать ту сердечную лихорадку, которая охватила молодого человека. Такая страсть невольно вызывает сочувствие, как внезапная болезнь. В романтическом переложении Дантесом имевшего место объяснения нет и намека на то, что Натали дала надежду на плотскую любовь в будущем. Натали по-христиански любила всех. Натура ее была такова, что и врагов она обращала в своих друзей. Конечно же жена Пушкина пожалела невольного страдальца, но твердо дала понять влюбленному, что обет, данный при венчании, быть верной своему супругу никогда не нарушит.

Наступивший Великий пост закрыл бальные залы. Единственным местом, где можно было встречаться, были салоны Карамзиных и Вяземских, в которых к весне Дантес стал завсегдатаем, подружившись с Андреем Карамзиным. Для всех, кто входил в этот тесный дружеский круг, любовные страдания Дантеса были явны, он стал немым обожателем Натали Пушкиной. «Его страсть к Натали не была ни для кого тайной. Я прекрасно знала об этом, когда была в Петербурге, и я тоже над этим подшучивала», — писала отцу сестра Пушкина о проведенной в Петербурге зиме и весне 1836-го. С. Н. Карамзина, описывая брату Андрею Петергофский праздник, состоявшийся 1 июля, шутливо и легко заметила: «Я шла под руку с Дантесом. Он забавлял меня своими шутками, своей веселостью и даже смешными припадками своих чувств (как всегда, к прекрасной Натали)».

Неудивительно, что в конце концов великосветское общество, в котором было не принято так открыто выказывать свою страсть и существовало немало возможности быстро утешиться в горести неразделенной любви, — приняло сторону Дантеса, приписав ему возвышенную, идеальную любовь.

Важно то, что эта «любовь» никак не повлияла на отношения Пушкина к жене. Возвратившись с похорон матери, он не задержался долго в Петербурге, где без него уже вышел первый номер «Современника». Надо заметить, что приближались роды

Натали, которых он всегда боялся, поэтому заранее куда-нибудь уезжал. Пообещав жене вернуться к своему 37-летию, то есть к 26 мая, и одобрив выбор Натали дачи на лето — на Каменном острове, Пушкин 29 апреля выехал «по издательским делам» в Москву.

От Александры Гончаровой брату полетело письмо: «Прежде всего хочу исполнить поручение Таши, которая просит передать, что она так давно тебе не писала, что у нее не хватает духа взяться за перо, так как у нее есть к тебе просьба, и она не хочет, чтобы ты подумал, что она пишет только из-за этого. Поэтому она откладывает это удовольствие и поручила мне просить тебя прислать 200 рублей к 1 мая, так как день рождения ее мужа приближается и было бы деликатней, если бы она сделала ему подарок на свои деньги. Не имея же никакой возможности достать их в другом месте, она обращается к тебе и умоляет не отказать ей. В обмен же вам пошлет Пушкина журнал, который вышел на днях… Нам очень нужны деньги, так о дне рождения Пушкина тоже надо хорошенько подумать…» Дмитрий Николаевич не замедлил с ответом, и Александра снова пишет: «Как выразить тебе, дорогой брат Дмитрий, мою признательность за ту поспешность, с которой ты прислал деньги. Мы получили сполна всю сумму, указанную тобой… Свекровь Таши умерла на Пасхе, давно уже она хворала, эта болезнь началась у нее много лет назад. И вот сестра в трауре, но нас это не коснется, мы выезжаем с кн. Вяземской и завтра едем на большой бал к Воронцовым».

Вот отчего у Натали «не хватает духа взяться за перо» — она пребывала в трауре и при этом ей так хотелось как-то утешить мужа — ну хоть подарком и праздником в день его рожденья. Она все-таки берется за перо в эти траурные дни и пишет то самое письмо к брату, в котором просит «поставлять бумаги на сумму 4500 рублей в год».

Пушкин, успев за трехдневную дорогу соскучиться по своей Натали, без задержки дал о себе знать из Москвы. Он писал ей каждые 3–4 дня. Эти последние его письма к жене, полные нежности и тоски по ней, как всегда содержали деловые поручения: без издателя, застрявшего в Москве, стал верстаться второй номер «Современника» в Петербурге, и она должна была проследить за этим.

«Вот тебе, царица моя, подробное донесение: путешествие мое было благополучно. 1-го мая переночевал в Твери (где разминулся со вторым своим «дуэлянтом» Соллогубом. — Н. Г.), а второго ночью приехал сюда. Я остановился у Нащокина… Мы, разумеется, друг другу очень обрадовались и целый вчерашний

день проболтали Бог знает о чем. Я успел уже посетить Брюллова. Я нашел в его мастерской какого-то скульптора, у которого он живет. Он очень мне понравился. Он хандрит, боится русского холода и прочего, жаждет Италии, а Москвой очень недоволен. У него видел я несколько начатых рисунков и думал о тебе, моя прелесть. Неужто не будет у меня твоего портрета, им писанного? невозможно, чтоб он, увидя тебя, не захотел срисовать тебя; пожалуйста, не прогони его, как прогнала ты пруссака Криднера…» (4 мая)

«Сейчас получил от тебя письмо, и так оно меня разнежило, что спешу переслать тебе 900 рублей…» (10 мая)

«Был я у Перовского, который показывал мне недоконченные картины Брюллова, Брюллов, бывший у него в плену, от него убежал и с ним поссорился. Перовский показывал мне Взятие Рима Гензериком (которое стоит последнего дня Помпеи), приговаривая: заметь, как прекрасно подлец этот нарисовал этого всадника, мошенник такой. Как он умел, эта свинья, выразить свою канальскую, гениальную мысль, мерзавец он, бестия. Как нарисовал он эту группу, пьяница он, мошенник. Умора. Ну прощай, целую тебя и ребят. Христос с вами» (11 мая).

«Что это, женка? так хорошо было начала и так худо кончила! Ни строчки от тебя; уж не родила ли ты? сегодня день рожденья Гришки, поздравляю его и тебя. Буду пить за его здоровье. Нет ли у него нового братца или сестрицы? погоди до моего приезда. А я уж собираюсь к тебе. В архивах я был и принужден буду опять в них зарыться месяцев на шесть, что тогда с тобою будет? А я тебя с собою, как тебе угодно, возьму уж. Жизнь моя в Москве степенная и порядочная. Сижу дома — вижу только мужеск пол. Пешком не хожу и не прыгаю — и толстею… Зазываю Брюллова к себе в Петербург — но он болен и хандрит. Здесь хотят лепить мой бюст. Но я не хочу. Тут арапское мое безобразие предано будет бессмертию во всей своей мертвой неподвижности; а я говорю: у меня дома есть красавица, которую когда-нибудь мы вылепим…» (14 мая)

«Начинаю думать о выезде. Ты уж, вероятно, в своем загородном болоте. Что-то дети мои и книги мои? Каково-то ты перевезла и перетащила тех и других? и как перетащила ты свое брюхо? Благословляю тебя, мой ангел. Бог с тобою и детьми. Будьте здоровы. Кланяюсь твоим наездницам… Я получил от тебя твое премилое письмо — отвечать некогда — благодарю и целую тебя, мой ангел» (16 мая).

«Жена, мой ангел, хоть и спасибо тебе за твое милое письмо, а все-таки я с тобою побранюсь: зачем тебе было писать: это мое последнее письмо, более не получишь. Ты меня хочешь принудить

приехать к тебе прежде 26. Это не дело. Бог поможет, «Современник» и без меня выйдет. А ты без меня не родишь…» (18 мая 1836 года)

Много лет спустя Нащокин вспоминал об этом последнем приезде Пушкина в Москву: «Надо было видеть радость и счастье поэта, когда он получал письма от жены. Он весь сиял и осыпал эти исписанные листочки бумаги поцелуями».

Его подробные письма к жене свидетельствуют о потребности в постоянном общении с ней; он писал обо всем, что волновало: о примечательных московских встречах и новостях, о своих занятиях и планах, о том, что раздражает и угнетает его. На этот раз у Пушкина в Москве было множестве дел, связанных с «Современником»: было необходимо найти среди московских книгопродавцев комиссионера для распродажи журнала и договориться с ним об условиях, хотелось привлечь к сотрудничеству московских авторов. Приезд Пушкина стал праздником для культурной Москвы. В его честь устраивались обеды, поэта наперебой приглашали в гости — литераторы, ученые, актеры, художники, старые друзья Александр Раевский, Чаадаев, Баратынский. Три недели московского радушия и гостеприимства оказались целительными для усталой души Пушкина. Он почувствовал прилив вдохновения и, не закончив дела с московскими книгоиздателями, засобирался домой, к Натали, которая вот-вот должна была родить. «Пушкин не искусен в книжной торговле, это не его дело, — заключил князь Одоевский, сотрудник «Современника», автор знаменитого «Городка в табакерке».

Нащокин носил кольцо с бирюзою против насильственной смерти и настоял, чтобы Пушкин принял от него точно такое же. Кольцо было заказано. Его долго не несли, и Пушкин не хотел уехать, не дождавшись его. Кольцо принесли поздно ночью. Жена Нащокина вспоминала, что «у Пушкина было великое множество всяких примет. Часто, собравшись ехать по какому-либо неотложному делу, он приказывал отпрягать тройку, уже поданную к подъезду, из-за того только, что кто-нибудь из домашних или прислуги вручал ему какую-нибудь забытую вещь вроде носового платка, часов и т. д. В этих случаях он ни шагу уже не делал из дома до тех пор, пока, по его мнению, не пройдет определенный срок, за пределами которого зловещая примета теряла силу».

В придачу к кольцу Нащокин вручил Пушкину подарок для Натали, который и передал ей: «.. Я приехал к себе на дачу 23-го в полночь и на пороге узнал, что Наталья Николаевна благополучно родила дочь Наталью за несколько часов до моего

приезда. Она спала. На другой день я поздравил ее и отдал вместо червонца твое ожерелье, от которого она в восхищении» (27 мая).

«…родила дочь Наталью» — единственная фраза, которую поэт посвятил младшей дочери в своих письмах. Наташа-младшая родилась слабенькой, ее крестили только через месяц. Все это время Натали не покидала своих комнат наверху дома дачи, что на Каменном острове. Дача состояла из двух отдельных домов, флигеля и крытой галереи. В одном доме находился кабинет Пушкина, рядом гостиная, наверху — комнаты Натали. В другом доме жили сестры Гончаровы с детьми и няньками, во флигеле — Е. И. Загряжская. За две зимы так и не нашлось для сестер женихов. Они скучали, пока Натали не выходила из своих комнат и никого не принимала. 14 июля Екатерина писала брату: «На днях мы предполагаем поехать в лагеря в Красное Село на знаменитые фейерверки, которые там будут: это вероятно будет великолепно, так как весь гвардейский корпус внес сообща 70 тысяч рублей. Наши Острова еще очень мало оживлены из-за маневров; они кончаются четвертого и тогда начнутся балы на водах и танцевальные вечера, а сейчас у нас только говорильные вечера, на них можно умереть со скуки. Вчера у нас был такой у графини Лаваль, где мы едва не отдали Богу душу от скуки. Сегодня мы должны были бы ехать к Сухозанетам, где было бы то же самое, но так как мы особы благоразумные, мы нашли, что не следует слишком злоупотреблять подобными удовольствиями… Таша посылает тебе второй том Современника… дорогой братец, пришли нам поскорее письмо для Носова (коммерсант, который по распоряжению Д. Н. Гончарова выдавал деньги на содержание сестер в Петербурге. — Н. Г.), так как вот уже скоро первое августа. Наши лошади хотят есть, их никак не уговоришь; а так как они совершенно очаровательны, все ими любуются, и когда мы пускаемся крупной рысью, все останавливаются и нами восхищаются, пока мы не скроемся из виду. Мы здесь слывем превосходными наездницами, когда мы проезжаем верхами, со всех сторон и на всех языках, какие только можно себе представить, все восторгаются прекрасными амазонками…»

Натали тоже была прекрасной наездницей, но после трудных родов, надо полагать, она не каталась верхом. У Пушкина было полно сложных литературных и издательских забот по поводу издания третьей книги «Современника» (второй том вышел в июне), он дописывал «Капитанскую дочку»; таким образом сестры Гончаровы были предоставлены сами себе, выезжая и развлекаясь со знакомыми дамами и кавалерами — это была все та же компания, которая зимой посещала салон Карамзиных.

В числе кавалеров был и Дантес, веселились благородно, изысканно, в традициях воспитанной и образованной светской молодежи. Не обходилось и без влюбленностей — это придавало увеселениям особую прелесть.

Во время многочисленных прогулок, поездок в театр, что стоял недалеко от моста на Елагин остров, пикников, верховых променадов Екатерина Гончарова влюбилась в Дантеса и, как говорили, не на шутку. Она прекрасно понимала, что он ей не партия, но… сердцу не прикажешь. Скорее всего поверенной в любовных делах стала Натали, Дантес, чтобы исцелиться от мучительной привязанности, уже более четырех месяцев не видел Натали. Но Екатерина страстно желала встреч с ним, искала к ним поводов, уговаривая младшую сопровождать сестер туда, где было неприлично присутствовать незамужним дамам одним, но где несомненно мог быть Дантес. 1 августа Екатерина сообщает брату: «Мы выехали вчера из дому в двенадцать часов пополудни и в четыре часа прибыли в деревню Павловское, где стоят кавалергарды, которые в специально приготовленной для нас палатке дали нам превосходный обед, после чего мы должны были отправиться большим обществом на фейерверки. Из дам были только Соловая, Полетика, Ермолова и мы трое, вот и все, и затем офицеры полка, множество дипломатов и приезжих иностранцев, и если бы испортившаяся погода не прогнала нас из палатки в избу Солового, можно было бы сказать, что все было очень мило. Едва лишь в лагере стало известно о приезде всех этих дам и о нашем, императрица, которая тоже там была, сейчас же пригласила нас на бал, в свою палатку, но так как мы все были в закрытых платьях и башмаках, и к тому же некоторые из нас в трауре (это, конечно, Натали — спустя четыре месяца после смерти свекрови. — Н. Г.), никто туда не пошел, и мы провели весь вечер в избе у окон, слушая, как играет духовой оркестр кавалергардов. Завтра все полки вернутся в город, поэтому скоро начнутся наши балы».

Натали мучили иного рода заботы. Этим ненастным, дождливым летом материальное состояние семьи стало еще более плачевным. К концу июля стало понятно, что надежды, возлагавшиеся на «Современник», не оправдались. Было распродано лишь по 700–800 экземпляров вышедших двух томов. Две трети тиража мертвым грузом лежало на складах, не удалось возместить даже издательские расходы, и никаких денежных поступлений пока не предвиделось. Пушкину пришлось прибегнуть к новым займам и просить об отсрочке прежних обязательств. Дело дошло до того, что он начал закладывать ростовщикам домашние вещи. Еще в начале лета, при последнем

свидании с братом перед отъездом в Варшаву, Ольга Сергеевна Павлищева была поражена худобою и желтизной его лица и расстройством его нервов. Пушкин, по ее словам, с трудом уже выносил последовательную беседу, не мог долго сидеть на одном месте, вздрагивал от громких звонков, падений предметов на пол; письма распечатывал с нескрываемым волнением, не выносил ни крика детей, ни музыки.

Родные со всех сторон теребили Пушкина в связи с предстоящим разделом Михайловского после смерти матери. Брат Лев писал из Тифлиса, что опять в долгах и просил денег в счет будущего наследства. Необоснованными денежными претензиями назойливо преследовал поэта зять Павлищев. Все это становилось просто невыносимым. И как ни дорого было Михайловское, Пушкин, чтобы покончить со всем этим, решил объявить о его продаже. В июле он писал отцу: «Я не в состоянии содержать всех, я сам в очень расстроенных обстоятельствах, обременен многочисленной семьей, содержу ее своим трудом и не смею заглядывать в будущее».

Наблюдая муки мужа, Натали не выдержала и написала письмо брату Дмитрию: «Я не отвечала тебе на последнее письмо, дорогой Дмитрий, потому что не совсем еще оправилась после родов. Я не говорила мужу о брате Параши, что у него совершенно нет денег. Теперь я хочу немного поговорить с тобой о моих личных делах. Ты знаешь, что пока я могла обойтись без помощи из дома, я это делала, но сейчас мое положение таково, что я считаю даже своим долгом помочь моему мужу в затруднительном положении, в котором он находится; несправедливо, чтобы вся тяжесть содержания моей большой семьи падала на него одного, вот почему я вынуждена, дорогой брат, прибегнуть к твоей доброте и великодушному сердцу, чтобы умолить тебя назначить мне с помощью матери содержание равное тому, какое получают сестры и, если это возможно, чтобы я начала получать его до января, то есть с будущего месяца. Я тебе откровенно признаюсь, что мы в таком бедственном положении, что бывают дни, когда я не знаю, как вести дом, голова у меня идет кругом, мне очень не хочется беспокоить мужа всеми хозяйственными своими мелкими хлопотами, и без того я вижу, как он печален, подавлен, не может спать по ночам, и, следственно, в таком настроении не в состоянии работать, чтобы обеспечить нам средств к существованию: для того, чтобы он мог сочинять, голова его должна быть свободна. И, стало быть, ты легко поймешь, дорогой Дмитрий, что я обратилась к тебе, чтобы ты мне помог в моей крайней нужде. Мой муж дал мне столько доказательств своей деликатности и бескорыстия, что будет

совершенно справедливо, если я со своей стороны постараюсь облегчить его положение; по крайней мере, содержание, которое ты мне назначишь, пойдет на детей, а это уже благородная цель. Я прошу у тебя этого одолжения без ведома мужа, потому что если б он знал об этом, то несмотря на стесненные обстоятельства, в которых он находится, он помешал бы мне это сделать. Итак, дорогой Дмитрий, ты не рассердишься на меня за то, что есть нескромного в моей просьбе, будь уверен, что только крайняя нужда придает мне смелость докучать тебе.

Прощай, нежно целую тебя, а также моего славного брата Сережу, которого я бы очень хотела снова видеть. Пришли его к нам хотя бы на некоторое время, не будь таким эгоистом, уступи нам его по крайней мере на несколько дней, мы отошлем его обратно целым и невредимым. Если Ваня с вами, я его также нежно обнимаю и не могу перестать любить его, несмотря на то, что он так отдалился от меня…» (июль 1836 г.)

Мольбы Натали были услышаны. К тому же в семействе Гончаровых произошло радостное событие: Дмитрий Николаевич наконец женился, и в августе Натали послала поздравление старшему брату и слова надежды младшему: «Ты не поверишь, дорогой Дмитрий, как мы все были обрадованы известием о твоей женитьбе. Наконец-то ты женат, дай Бог, чтобы ты был так счастлив, как ты того заслуживаешь, от всего сердца желаю тебе этого. Что касается моей новой сестрицы, я не сомневаюсь в ее счастье, оно всегда будет зависеть только от нее самой. Я рассчитываю на ее дружбу и с нетерпением жду возможности лично засвидетельствовать ей всю любовь, которую я к ней чувствую (заметим, что Натали еще не видела жены брата, но уже любила ее, так она любила всех людей, и Дантес в этом смысле не был исключением. — Н. Г.). Прошу принять от меня небольшой подарок и быть к нему снисходительнее. Я только что получила от тебя письмо, посланное тобой после того, в котором ты мне сообщаешь о своей женитьбе, я тебе бесконечно благодарна за содержание, которое ты был так добр мне назначить. Что касается советов, что ты мне даешь, то еще в прошлом году у моего мужа было такое намерение, но он не мог его осуществить, так как не смог получить отпуск… Скажи Сереже, что у меня есть кое-что в виду для него, есть два места, куда нам было бы нетрудно его устроить: одно у Блудова, где мы могли бы иметь протекцию Александра Строганова, а другое у графа Канкрина, там нам помог бы князь Вяземский. Пусть он решится на одно из них, но я бы скорее посоветовала ему место у Канкрина, говорят, что производство там идет быстрее, меньше чиновников. Надо, чтобы он поскорее прислал мне свое решение, тогда я употреблю все

свое усердие, чтобы добиться для него выгодной службы. Муж просит меня передать его поздравления своей новой невестке. Он тебя умоляет прислать ему запас бумаги на год, и если ты исполнишь его просьбу, он обещает написать на этой самой бумаге стихи, когда появится новорожденный…»

В октябре Натали получила первый взнос обещанного содержания — 1120 рублей, но это была капля в сравнении с накопившимися долгами. Только за август Пушкин задолжал 41 тысячу рублей, из них 5 тысяч составляли «долги чести».

Лучше всего описывает закат дачного периода 36-го года письмо Ал. Н. Карамзина брату Андрею, датированное самым концом лета: «…Н. А. Муханов (переводчик при Московском архиве иностранных дел. — Н. Г.) накануне видел Пушкина, которого он нашел ужасно упадшим духом, раскаивавшимся, что написал свой мстительный пасквиль, вздыхающим по потерянной фавории публики, Пушкин показал ему только что написанное им стихотворение, в котором он жалуется на неблагодарную и ветреную публику и напоминает свои заслуги перед ней. Муханов говорит, что эта пьеса прекрасна. Кстати, о Пушкине. Я с Вошкой и Аркадием отправился вечером Натальина дня увеселительной поездкой к Пушкиным на дачу. Проезжая мимо иллюминированной дачи Загряжской, мы вспомнили, что у нее Фурц и что Пушкины, верно, будут там. Но мы продолжили далекий путь и приехали только чтобы увидеть туалеты дам и посадить их в карету. Отложив увеселительную поездку на послезавтра, мы вернулись совсем сконфуженные. В назначенный день мы опять отправляемся в далекий путь, опять едем в глухую, холодную ночь… приехали: «Наталья Николаевна приказали извиниться, они очень нездоровы и не могут принять…» Вчера вечером опять я с Володькой ездили к Пушкиным и было с нами оригинальнее, чем когда-нибудь. Нам сказали, что дома, дескать, нет, уехали в театр. Но на этот раз мы не отстали так легко от своего предприятия, взошли в комнаты, велели зажечь лампы, открыли клавикорды, пели, открыли книги, читали и таким образом провели час с четвертью. Наконец, они приехали. Поелику они в карете спали, то и пришли совершенно заспанные, Александрина не вышла к нам и прямо пошла лечь; Пушкин сказал два слова и пошел лечь. Две другие вышли к нам зевая и стали просить, чтобы мы уехали, потому что им хочется спать; но мы объявили, что заставим их просидеть столько же, сколько мы сидели без них. В самом деле, мы просидели более часа, Пушкина не могла вынести так долго, и после отвергнутых просьб о нашем отъезде, она ушла первая. Но Гончарова высидела все 1 часа, но чуть не заснула на диване… Пушкина велела тебе сказать, что

она тебя целует».

Отчего Александрина сразу ушла? Не было резона сидеть: она уже была влюблена и пользовалась взаимностью Аркадия Россета. Предполагалось, что он сделает предложение. Но Россет имел тогда небольшой офицерский чин, был небогат и не рискнул жениться на бесприданнице. Екатерина «высидела», потому что внезапно в дом явились друзья Дантеса. Какая влюбленная девушка отвергнет причину хоть вскользь поговорить о своем предмете… Он теперь был не просто Жорж Дантес, но именовался бароном Жоржем Дантесом Геккерном, слывя богатым женихом. Перед ним открылись двери дипломатических салонов и самых аристократических домов Петербурга, куда был вхож его приемный отец, голландский посланник. Сердце Екатерины трепетало и замирало оттого, что очень скоро он может найти себе богатую невесту, а ей придется всю жизнь залечивать свою сердечную рану.

Продажа Михайловского так и не была объявлена и, по словам современников, осенью 36-го Пушкин думал покинуть Петербург и совсем поселиться в Михайловском. Натали была согласна на это. Хотя поместье было совершенно не обустроено для жизни с маленькими детьми. Требовались деньги, чтобы перевезти в Михайловское большое семейство, Пушкин умолял Нащокина прислать ему пять тысяч рублей, и тот впоследствии сильно жалел, что не дал денег, хотя они и были у него.

Итак, все лето Пушкины почти никого не принимали. Следует упомянуть лишь о двух гостях, которые сами оставили воспоминания — и совершенно разноречивые. Карл Брюллов приехал в Петербург из Москвы почти одновременно с Пушкиным и вскоре после этого поэт «вечером пришел ко мне и звал меня ужинать. Я был не в духе, не хотел идти и долго отнекивался, но он меня переупрямил и утащил с собой. Дети его уже спали. Он их будил и выносил на руках поодиночке. Это не шло к нему, было грустно и рисовало передо мною картину натянутого семейного счастья. Я не утерпел и спросил у него: «На кой черт ты женился?» Он мне отвечал: «Я хотел ехать за границу, а меня не пустили, я попал в такое положение, что не знал, что делать, и женился…»

Что называется, каков вопрос, таков и ответ. Брюллов принадлежал к богеме и вел жизнь богемную, считая, что гении не созданы для семейной жизни. Примерно в то же время, что и Брюллов, посетил Пушкиных на даче французский издатель и дипломат Адольф Лёве-Веймар, который приехал в Россию с рекомендательным письмом от Проспера Мериме к Соболевскому, и тот ввел его в изысканный литературный круг:

Вяземский, Крылов, Жуковский, Пушкин. Француз был настолько очарован образованными русскими литераторами, что в порыве умиления женился на дальней родственнице Гончаровых Ольге Голынской.

Лёве-Веймар представилась иная, чем Брюллову, картина жизни Пушкина: «Счастье его было велико и достойно зависти, он показывал друзьям с ревностью и в то же время с нежностью свою молодую жену, которую гордо называл «моей прекрасной смуглой Мадонной…» Счастье, всеобщее признание сделали его, без сомнения, благоразумным. Его талант, более зрелый, более серьезный, не носил уже характера протеста, который стоил ему стольких немилостей во времена его юности… История Петра Великого, которую составлял Пушкин по приказанию императора, должна была быть удивительной книгой. Пушкин посетил все архивы Петербурга и Москвы. Он разыскал переписку Петра Великого включительно до записок полурусских, полунемецких, которые тот писал каждый день генералам, исполнявшим его приказания. Взгляды Пушкина на основание Петербурга были совершенно новы и обнаруживали в нем скорее великого и глубокого историка, нежели поэта. Он не скрывал между тем серьезного смущения, которое он испытывал при мысли, что ему встретятся большие затруднения показать русскому народу Петра Великого, каким он был в первые годы царствования, когда он с яростью приносил все в жертву своей цели. Но как великолепно проследил Пушкин эволюцию этого великого характера и с какой радостью, с каким удовлетворением правдивого историка он показывал нам государя, который когда-то разбивал зубы не желавшим отвечать на его допросах и который смягчился настолько к своей старости, что советовал не оскорблять даже словами мятежников, приходивших просить у него милости…»

«Правду Твою не скрыв в сердце моем…»

12 сентября Пушкины вернулись в город и поселились на Мойке близ Конюшенного моста в доме княгини Волконской. В сентябре — октябре большие светские приемы еще не начались, однако съезжавшаяся в Петербург аристократия после дачного сезона возобновляла небольшие вечера и приемы в дружеском кругу.

29 сентября состоялся музыкальный вечер в доме голландского посланника Геккерена, давал концерт скрипач Иосиф Арто, гастроли которого имели в Петербурге шумный успех. Об этом вечере сообщает в своем письме Андрей Карамзин, упоминая о присутствии на нем сестер Гончаровых вместе с Натали, но без Пушкина. На нем был также и Дантес. Уже поползли слухи, что Дантес увлечен Натали и «это было ухаживание более афишированное, чем это принято в обществе». Как записала в своем дневнике Долли Фикельмон: «Было очевидно, что она совершенно потеряла способность обуздывать этого человека, и он был решителен в намерении довести ее до крайности».

О возникшей напряженности отношений между Пушкиным и Дантесом сообщает и Софья Карамзина 19 сентября: «В среду мы отдыхали и приводили в порядок дом, чтобы на другой день, день моего ангела, принять множество гостей… среди них были Пушкин с женой и Гончаровыми (все три ослепительные изяществом, красотой и невообразимыми талиями), мои братья, Дантес, А. Голицын, Аркадий и Шарль Россет, Скалон, Сергей Мещерский, Поль и Надина Вяземские и Жуковский… Послеобеденное время, проведенное в таком приятном обществе, показалось очень коротким; в девять часов пришли соседи: Лили Захаржевская, Шевичи Ласси, Лидия Блудова, Трубецкие, графиня Строганова, княгиня Долгорукова, Клюпфели, Баратынские, Абамелик, Герсдорф, Золотницкий, Левицкий, один из князей Барятинских и граф Михаил Вишельгорский, — так что получился настоящий бал, и очень веселый, если судить по лицам гостей, всех, за исключением Александра Пушкина, который все время грустен, задумчив и чем-то озабочен. Он своей тоской и на меня тоску наводит, его блуждающий, дикий, рассеянный взгляд с вызывающим тревогу вниманием останавливается лишь на его жене и Дантесе, который продолжает все те же штуки, что и прежде, — не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросает нежные взгляды на Натали, с которой все же в конце концов танцевал мазурку. Жалко было смотреть на фигуру

Пушкина, который стоял напротив них, в дверях, молчаливый, бледный и угрожающий. Боже мой, как все это глупо! Когда приехала графиня Строганова, я попросила Пушкина пойти поговорить с ней. Он быстро согласился, краснея (ты знаешь, что она — одно из его «отношений», и притом рабское), как вдруг вижу — он внезапно останавливается и с раздражением отворачивается. «Ну что же?» — «Нет, не пойду, там уже сидит этот граф». — «Какой граф?» — «Д'Антес, Геккерен, что ли!»

Несомненно, Дантес был душой общества, как Натали — всегдашним его украшением. Он действительно был своим человеком в карамзинском кружке, а упомянутые фамилии — в том числе Пушкина и Жуковского — делали друг другу честь и родом, и положением в обществе, знаниями, воспитанием и талантом. Дантес не выглядел среди избранных инородным телом, отношение к нему и взгляд на «страсть к Натали», как на роковую или преднамеренную интригу, возник у многих только после состоявшейся дуэли. До того мало кто серьезно относился к возможности какой бы то ни было трагедии, потому что Пушкин был «уверен в привязанности к себе своей жены и в чистоте ее помыслов» (кн. Вяземский), «его доверие к ней было безгранично», — свидетельствовала Долли Фикельмон, — он разрешил своей молодой и очень красивой жене выезжать в свет без него».

По словам княгини Веры Вяземской, которая более всех была знакома с семейными обстоятельствами Пушкиных, Натали чувствовала к Дантесу род признательности за то, что он постоянно занимал ее и старался быть ей приятным. Княгиня говорила ей о возможных последствиях, но Натали, «кружевная душа», успокаивала: «Мне с ним весело. Он мне просто нравится. Будет то же, что было два года сряду». Вяземская оправдывала такой ответ, потому что считала: «Пушкин был сам виноват: он открыто ухаживал сначала за Смирновой, потом за Свистуновой. Жена сначала страшно ревновала, потом стала равнодушна и привыкла к неверностям мужа. Сама оставалась ему верна, и все обходилось легко и ветрено».

Натали в свете прозвали «кружевной душой» за то, что она казалась многим слишком холодной и бесстрастной, не склонной к тому, чтобы сходиться близко с кем бы то ни было. Екатерина Гончарова, напротив, походила своей внешностью на южанку. Черные волосы и темные горящие глаза придавали ее облику тип гречанки или римлянки. В ее взглядах, улыбке, жестах чувствовалась страстность. Она много и охотно танцевала, и ураганные темпы галопа или вальса, особенно в паре с красавцем-

кавалергардом, кружили ей голову и пьянили как вино. От нее, как от немногих девушек, исходили токи чувственности, невольно заражавшие ее собеседников и как бы вовлекавшие их в свой заколдованный круг. Поняв, что в обществе заметили, что Дантес частенько «не отходит от нее ни на шаг», Екатерина поставила себе целью добиться от него полной взаимности чувств.

У Пушкина осенью 36-го особенно проявлялась его «хандрливость»; о чем он без обиняков написал отцу 20 октября. «.. Вы спрашиваете у меня новостей о Натали и о детворе. Слава Богу, все здоровы… Павлищев упрекает меня за то, что я трачу деньги, хотя я не живу ни на чей счет и не обязан отчетом никому, кроме моих детей. Я рассчитывал побывать в Михайловском — и не мог. Это расстроит мои дела по меньшей мере еще на год. В деревне бы я много работал; здесь я ничего не делаю, а только исхожу желчью».

Вплоть до самой внезапно разразившейся грозы, последовавшей за рассылкой пресловутых пасквилей, не было известно никаких скандальных инцидентов. Пушкин продолжал относиться к Дантесу весьма доброжелательно. Большой ценитель метких каламбуров и забавных оборотов, он с интересом следил за веселыми разговорами беспечного кавалергарда, с которым любил беседовать и Вел. Князь Михаил Павлович — Дантес был очень остроумен. Можно даже утверждать, что Дантес как тип мужчины был вполне во вкусе поэта: военный, красавец, донжуан, весельчак, кумир женщин — втайне и Пушкин хотел быть таким. Цветы, театральные билеты, даже нежные записочки, посылавшиеся Дантесом Натали, не вызывали недовольства Пушкина: это было в обычаях тогдашних светских отношений. Почти до самой осени он казался даже польщенным, что самый модный и блестящий красавец Петербурга находится у ног его жены, в чистоте которой он никогда не сомневался, и развлекает его прекрасную супругу, к чему сам Пушкин был не склонен.

Только осенью постепенно стало меняться отношение Пушкина к Дантесу. В этом был виноват не столько Дантес, сколько расплодившиеся слухи и сплетни вокруг имени первой красавицы и модного кавалергарда. Слухи один другого нелепей распускали враги и недоброжелатели поэта, которых было немало. Явился случай припомнить ему всё: и злые эпиграммы, и заносчивость, и «Гавриилиаду», и бывшие «амуры» с чужими женами, и карточные долги, и много чего еще — вплоть до литературных разногласий и критики. На этой волне возникли даже намеки на связь Натали с царем — покровителем и благожелателем Пушкина. Сам государь впоследствии вспоминал: «Под конец его (Пушкина. — Н. Г.) жизни, встречаясь очень часто

с его женою, которую я искренне любил и теперь люблю, как очень хорошую и добрую женщину, я раз как-то разговорился с нею о комеражах (пересудах, болтовне — фр.), которым ее красота подвергает ее в обществе; я советовал ей быть как можно осторожнее и беречь свою репутацию, сколько для себя самой, столько и для счастья мужа при известной его ревнивости. Она, верно, рассказала об этом мужу, потому что, встретясь где-то со мною, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. «Разве ты мог ожидать от меня другого?» — спросил я его. «Не только мог, Государь, но признаюсь откровенно, я и Вас самих подозревал в ухаживании за моею женой».

Сплетничали о Натали, но и о Дантесе распространялись самые невероятные слухи, потому что происхождение его было малоизвестно. Некоторым приходило в голову, что связь его с приемным отцом была противоестественного свойства, иначе говоря, что они были любовниками.

Дворянство род Дантесов получил от Жана-Генриха Дантеса, крупного земельного собственника и промышленника, который и приобрел имение во французском Сульце, ставшее родовым гнездом. Это был прадед Жоржа Дантеса. Его предки ревностно служили своим королям и вступили в родственные отношения со многими родовитыми семьями.

Мать — графиня Гацфельд своим родством соединила семью с русской аристократией. Ее тетка была замужем за графом Францем Нессельроде, принадлежащим к той же родственной ветви, что и русский граф Карл Нессельроде, канцлер и долголетний министр иностранных дел при Николае Павловиче; другая тетка вышла замуж за графа Мусина-Пушкина, русского дипломата, бывшего посланником в Стокгольме. Его отец — Жозеф-Конрад Дантес получил баронский титул при Наполеоне I и был верным легитимистом. В 1823–1829 годах он был членом палаты депутатов. Революция 1830 года заставила его уйти в частную жизнь и вернуться в Сульц.

Жорж Дантес родился в 1812 году, был третьим ребенком в семье и первым сыном.

Первоначально он учился в колледже в Эльзасе, потом в Бурбонском лицее, затем был отдан в Сен-Сирскую военную школу, но кончить курса молодому барону не удалось: грянула Июльская революция, которая лишила престола законного короля Карла X. Молодой Дантес примкнул к той группе учеников школы, которая вместе с полками, сохранившими верность Карлу X, пыталась защитить своего короля. Отказавшись служить Июльской монархии, Дантес был вынужден покинуть школу и несколько недель числился партизаном, которые в небольшом

количестве собрались в Вандее вокруг герцогини Беррийской.

После вандейского эпизода Жорж Дантес вернулся к отцу в Сульц и нашел его «глубоко удрученным политическим переворотом, разрушившим законную монархию, которой его род служил столько же в силу расположения, сколько в силу традиции». Июльская монархия ко всему прочему сильно подорвала материальное благосостояние семьи Дантесов. На попечении отца шестерых детей Жозефа-Конрада Дантеса оказалась вся его семья, семья его старшей дочери и старшей сестры-вдовы с пятью племянниками. Смерть баронессы Дантес в 1832 году усугубила уныние родного очага.

Жорж Дантес, которого отделяли от тогдашнего правительства политические взгляды его семьи, решил искать службы за границей. Это был обычай, распространенный в то время. Проще всего было устроиться в Пруссии… Благодаря покровительству наследного принца Вильгельма он мог быть принят в полк в чине унтер-офицера. Но для воспитанника Сен-Сирской школы, выходившего из ее стен после двухлетнего обучения офицером, это было бы понижением, и Жорж Дантес отказался. Наследный принц, будущий германский император, женатый на племяннице Николая I, посоветовал Дантесу отправиться в Россию, в которой царь должен был оказать покровительство французскому легитимисту. Рекомендательное письмо принца было адресовано генерал-майору Адлербергу, директору Канцелярии военного министерства, одному из ближайших Государю людей.

Без сомнения, одной рекомендации Вильгельма Прусского было бы достаточно для наилучшего устройства Дантеса в России, но счастливый «несчастный» случай свел его во время долгого путешествия из Берлина в Петербург с бароном Геккереном, голландским посланником при русском дворе. «Дантес серьезно заболел проездом в каком-то немецком городе. Вскоре туда прибыл барон Геккерен и задержался долее, чем предполагал. Узнав в гостинице о тяжелом положении молодого француза и его полном одиночестве, он принял в нем участие, и, когда тот стал поправляться, Геккерен предложил ему присоединиться к его свите для совместного путешествия» (А. П. Арапова).

Барон Луи Борхард де Геккерен родился в 1792 году. Он принадлежал к протестантской семье старинного голландского рода, будучи последним ее представителем. В 1805 году он поступил в морское ведомство гардемарином и служил в Тулоне. Благодаря его службе при Наполеоне I, он сохранил навсегда живую симпатию к французским идеям.

В 1815 году возникло независимое Нидерландское Королевство. Вернувшись на родину, Геккерен переменил род службы на дипломатическую. Сначала он был назначен секретарем нидерландского посольства в Стокгольме, а затем — в 23-м — его перевели в Петербург. Через три года он стал посланником и полномочным министром нидерландским в Петербурге. Он быстро упрочил свое положение при дворе и в 1833 году, уезжая в продолжительный отпуск, удостоился ордена Анны 1-й степени в знак отличного исполнения обязанностей посланника. Среди дипломатов, находившихся в 1830-х годах в Петербурге, барон Геккерен играл виднейшую роль. Что касается самой личности барона, то современники характеризовали его «злым, эгоистом, душевно мелким и пр.». Все эти нелестные эпитеты были даны ему уже после дуэли. Любопытно, что ни князь Вяземский, ни Жуковский — друзья Пушкина и ближайшие свидетели всех событий — не обнаружили стремления сгустить краски в отношении Геккерена.

Наиболее бесстрастную характеристику ему дал барон Торнау, имевший возможность наблюдать Геккерена среди венских дипломатов: «Геккерен, несмотря на свою известную бережливость, умел себя показать, когда требовалось сладко накормить нужного человека. В одном следовало ему отдать справедливость: он был хороший знаток в картинах и древностях, много истратил на покупку их, менял, перепродавал и всегда добивался овладеть какою-нибудь редкостью. Квартира его была наполнена образцами старинного изделия, и между ними действительно не имелось ни одной вещи неподлинной. Был Геккерен умен; полагаю, о правде имел свои собственные, довольно широкие понятия, чужим прегрешениям спуску не давал».

Барон де Геккерен был не женат, своих детей не имел, от собственной голландской семьи отдалился в силу того, что переменил религию. Поддавшись убеждениям своего друга детства герцога де Рогана, ставшего впоследствии кардиналом-архиепископом Безансона, Геккерен принял католичество.

Что касается вопроса сближения барона Геккерена с молодым человеком, то фактическая сторона истории, письма, писанные ими друг к другу, говорят, что их отношения были заботливыми и нежными, как между самыми близкими родственниками. Поистине Геккерен стал в чужих краях отцом родным Дантесу, в чем настоящий отец Конрад Дантес не усомнился и неоднократно свидетельствовал об этом.

В 1834 году барон Геккерен воспользовался своей поездкой в Париж, чтобы посетить Эльзас и познакомиться с Дантесом-

старшим. У них завязалась интенсивная переписка, в которой Геккерен сообщал обо всех успехах и продвижениях Жоржа. Именно благодаря встречам и письмам Геккерена к Конраду Дантесу, этот последний не был изумлен, когда голландский посланник, будучи бездетным и последним мужским представителем умирающего рода, попросил у него разрешения передать свое имя молодому человеку, за карьерой которого следил с отеческим благоразумием. Конрад Дантес, таким образом обеспечив будущее старшего сына, надеялся, что его младший Альфонс женится и останется близ него, продолжив род Дантесов, и будет помогать в управлении делами.

После того как согласие членов семьи Геккеренов было изложено в особом акте, король Голландии грамотой от 5 мая 1836 года разрешил барону Жоржу Дантесу принять имя, титул и герб барона Геккерена, как лично для него, так и для его потомства. С высочайшего позволения Николая Павловича соответствующие указания о перемене фамилии Дантеса на Георга-Карла Геккерена были даны Сенату и командиру Отдельного гвардейского корпуса.

К этому времени служебное положение Дантеса сильно укрепилось, в его формуляре значилось: «В слабом отправлении обязанностей по службе не замечен и неисправностей между подчиненных не допускал».

Блистательно складывались дела Дантеса в высшем обществе. Введенный туда на законных основаниях бароном Геккереном, молодой француз быстро завоевал положение. Своими успехами он был обязан и покровительству приемного отца, и бабки Мусиной-Пушкиной, и дальней родни Нессельроде. Но невозможно объяснить карьеру модного кавалергарда только покровительством, большую роль тут сыграли и собственные таланты: остроумие, обаяние, веселый нрав при внешней красоте внушали невольно расположение, которому не могли повредить даже некоторая самоуверенность и заносчивость.

Дантес и Натали не могли не встретиться в свете, посещая одни и те же балы и гостиные. Она, затмевая всех своей красотой, блистала в петербургском свете и произвела на Дантеса сильнейшее впечатление. Вдвоем они стали сказочной приманкой для всех пустозвонов, праздных светских тетушек и неудачливых невест. Дантес и Натали принадлежали именно к тем людям, которые одним своим видом возбуждали людское воображение, щекотали нервы: молодые, по 23 года, красивые, пользующиеся благосклонностью Двора, внешне преуспевающие и внутренне недоступные, загадочные, отмеченные судьбой необычностью биографий. Она — жена великого поэта, он — приемный сын

высокопоставленного иностранца.

О них заговорили повсюду. Как писала той осенью из Петербурга Анна Вульф: «Я здесь меньше о Пушкине слышу, чем в Тригорском даже, об жене его гораздо больше говорят, чем об нем; время от времени я постоянно слышу, как кто-нибудь кричит о ее красоте».

Между тем Пушкин осенью 36-го подарил миру свой последний шедевр. В сентябре он работал над беловой редакцией «Капитанской дочки», в конце месяца отослал собственноручно переписанную первую часть романа цензору Корсакову, у которого была репутация одного из самых образованных и доброжелательных цензоров. Ответ был прислан на следующий же день: «С каким наслаждением я прочел его! или нет, не просто прочел — проглотил его! Нетерпеливо жду последующих глав». Работу над беловым текстом романа Пушкин завершил три недели спустя, поставив на последней странице рукописи дату «19 октября 1836 года» — это была лицейская годовщина. В том году праздновалось 25-летие Лицея.

Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался,
И с песнями бокалов звон мешался,
И тесною сидели мы толпой.
Тогда, душой беспечные невежды,
Мы жили все и легче и смелей,
Мы пили все за здравие надежды
И юности и всех ее затей.
Теперь не то: разгульный праздник наш
С приходом лет, как мы, перебесился,
Он присмирел, утих, остепенился,
Стал глуше звон его заздравных чаш;
Меж нами речь не так игриво льется,
Просторнее, грустнее мы сидим,
И реже смех средь песен раздается,
И чаще мы вздыхаем и молчим.
Всему пора: уж двадцать пятый раз
Мы празднуем лицея день заветный.
Прошли года чредою незаметной,
И как они переменили нас!
Недаром — нет! — промчалась четверть века!
Не сетуйте: таков судьбы закон;
Вращается весь мир вкруг человека, —
Ужель один недвижим будет он?..

1 ноября у Вяземских Пушкин читал «Капитанскую дочку», присутствовал и Жуковский. Это было важное событие и для автора, и для слушателей: впервые после значительного перерыва поэт познакомил ближайших друзей с новой большой вещью. Присутствующий на этом чтении сын Вяземских Павел вспоминал впоследствии о «неизгладимом впечатлении», которое произвела на него «Капитанская дочка», прочитанная самим Пушкиным.

2 ноября князь Вяземский в письме в Москву сообщал, что в четвертом номере «Современника» будет опубликован новый роман Пушкина. Именно в этот день, по всей вероятности, произошел инцидент, который вплоть до настоящего времени остается одним из самых загадочных и неясных во всей преддуэльной истории.

Начнем с того, что нет совершенно точных указаний на то, что 2 ноября на квартире Идалии Полетики состоялось роковое свидание Дантеса с Натали. Все следствие опирается на два воспоминания: Густава Фризенгофа, будущего мужа Александры Гончаровой, и княгини Веры Вяземской, по словам которой, Натали однажды приехала к ней от Полетики «вся впопыхах и с негодованием рассказала, как ей удалось избегнуть настойчивого преследования Дантеса». Фризенгоф спустя 50 лет после событий отвечал своей племяннице Александре Ланской-Араповой в письме: «…ваша мать получила однажды от г-жи Полетики приглашение посетить ее, и когда она пришла туда, то застала там Геккерена (Жоржа Дантеса) вместо хозяйки дома; бросившись перед ней на колени, он заклинал ее о том же, что и его приемный отец в своем письме. Она сказала жене моей, что это свидание длилось только несколько минут, ибо, отказав немедленно, она тотчас же уехала».

О чем же якобы «заклинал» Дантес? Как стали потом говорить — о том, чтобы Натали бросила мужа и уехала с ним, Дантесом, за границу, в чем собирался помогать ему барон Геккерен-отец. Его Пушкин назвал потом «сводником». Дело в том, что поздней осенью Жорж заболел и буквально стал таять на глазах. Все эту болезнь сочли следствием неукротимой и неразделенной любви к Натали, Пушкин считал, будто де Геккерен «отыскивал по всем углам жену мою, чтобы говорить ей о любви вашего сына» и заклинал ее спасти его от несчастной болезни.

Обвинение Геккерена в сводничестве в ту роковую осень не выдерживает серьезной критики. Еще до усыновления он мог бы секретно оказывать Дантесу свое содействие или посредничество в амурных делах, но, связав с ним свое имя, он не стал бы им рисковать. Появилась реальная возможность найти приемному

сыну блестящую партию, но светский скандал закрыл бы ему двери всех гостиных и домов. А скандал был бы неизбежен в любом случае — завершился бы флирт незаконной связью или браком. Карьера посланника никак не могла бы далее развиваться столь успешно, как прежде. Дипломат в этом смысле должен был все рассчитать наперед.

Так или иначе, 3 ноября кем-то был разослан пасквиль, который на следующий день утром получил сам Пушкин и шестеро других адресатов, все они были друзьями поэта и членами карамзинского кружка: Вяземские, Карамзины, Вильегорский, В. А. Соллогуб (на имя своей тетки Васильчиковой, у которой он жил), братья Россеты и Е. М. Хитрово. Пасквили были запечатаны в двойные конверты и на внутреннем написано — передать Пушкину.

Разъяренный Пушкин сразу же решил, что анонимка — дело рук Геккеренов, и в этот же день послал в их дом вызов на дуэль. С того самого момента и по сей день ведется расследование, кто автор анонимки. Поиски самого поэта, о которых упоминают мемуаристы, изыскания его друзей, последующих исследователей, криминологов, экспертов и дилетантов окончательного результата не дали.

«Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадъютором великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена. Непременный секретарь граф И. Борх».

Это и есть текст пасквиля — «шутовского диплома», который не был даже сочинен, а надписан на отпечатанном бланке, куда нужно было вставить соответствующее имя. Дело в том, что в Вене зимой 36-го забавлялись рассылками подобных дипломов: в обществе сочиняли забавные свидетельства на всевозможные смешные звания — старой девы, обжоры, глупца, неверной жены, обманутого мужа, покинутой любовницы — и рассылались знакомым под условными подписями знаменитых обжор, повес и рогоносцев. Получившие диплом могли, конечно, обижаться, но отправители патента веселились от души.

Привезенная иностранными дипломатами светская игра оказалась неподходящей для севера: в России она была воспринята слишком серьезно, катастрофически серьезно.

Итак, «дипломы» были написаны и запущены в общество. Граф Соллогуб, несколько месяцев назад бывший противником Пушкина, теперь назначался им в секунданты. «Я жил тогда на

Большой Морской, у тетки моей. В первых числах ноября она позвала меня к себе и сказала: «Представь себе, какая странность! Я получила сегодня пакет на мое имя, распечатала и нашла в нем другое запечатанное письмо, с надписью Александру Сергеевичу Пушкину. Что мне с этим делать?»

Мне тотчас же пришло в голову, что в этом письме что-нибудь написано о моей прежней личной истории с Пушкиным, что, следовательно, уничтожить я его не должен, а распечатать не вправе. Затем я отправился к Пушкину и, не подозревая нисколько содержания приносимого мною гнусного пасквиля, передал его Пушкину. Пушкин сидел в своем кабинете. Распечатал конверт и тотчас сказал мне:

— Я уж знаю, что такое: я такое письмо получил сегодня же от Хитровой: это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безыменным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя — ангел, никакое подозрение коснуться ее не может…

В сочинении присланного ему диплома он подозревал одну даму, которую мне и назвал. Тут он говорил спокойно, с большим достоинством и, казалось, хотел оставить дело без внимания. Только две недели спустя узнал я, что в этот же день он послал вызов кавалергардскому поручику Дантесу… Я продолжал затем гулять с Пушкиным и не замечал в нем особой перемены. Однажды спросил я его только, не дознался ли он, кто сочинил подметные письма. Пушкин отвечал мне, что не знает, но подозревает одного человека…»

Письменный вызов Пушкина Дантесу не сохранился, но граф Соллогуб видел его у д'Аршиака, когда секунданты встретились 17 ноября для переговоров.

Письмо Пушкина попало в руки к барону Геккерену, потому что Дантес в тот момент находился на дежурстве в полку. Вызов был непредвиденным ударом: предстоящая дуэль, чем бы она ни кончилась, означала для Геккеренов полный крах их карьеры в России. Барон не мог не понимать этого и предпринял отчаянные попытки предотвратить поединок. Он тут же отправился в дом на Мойку с официальным визитом и объяснил Пушкину, что распечатал письмо и принимает вызов от имени приемного сына, однако просит отсрочить дуэль на сутки. Пушкин согласился.

Тем временем Натали узнала о предстоящей дуэли. Возможно, барон сам рассказал ей о вызове. Известно, что в эти дни они разговаривали и Геккерен побуждал ее написать Дантесу письмо, чтобы тот отказался от вызова. Кажется, это было разумным выходом, но и Вяземский, и многие другие

впоследствии сочли это предложение барона «низким». Натали решила послать за Жуковским в Царское Село. В письме о дуэли она не осмелилась сообщить, но вызвала из Царского брата Ивана. И тот уже известил Жуковского. Он приехал к Пушкину незадолго до истечения суточной отсрочки и вторичного прихода Геккерена, который явился снова высказать свои отеческие чувства к Дантесу и желание во что бы то ни стало предотвратить несчастье. В этих переговорах Геккерен выступил с самого начала не как доверенное лицо, а в роли несчастного отца, убеждая «со слезами на глазах», по свидетельству Вяземского. Он просил о двухнедельной отсрочке. Пушкин согласился. Дальнейшее вмешательство Жуковского и Е. И. Загряжской оказало решающее влияние на ход событий.

Пушкин, как уже много раз было, соглашался с разумными доводами, но втайне обдумывал и затевал свое. В частности, после ухода Геккерена и Жуковского он написал письмо министру финансов Канкрину с просьбой погасить свой долг казне в 45 тысяч рублей за счет передачи в казну нижегородского имения, тем самым лишая своих детей и жену единственной недвижимости, которая ему принадлежала.

9 ноября Геккерен написал письмо Жуковскому: «Навестив м-ль Загряжскую, по ее приглашению, я узнал от нее самой, что она посвящена в то дело, о котором я вам сегодня пишу… Как вам также известно, милостивый государь, все происшедшее по сей день совершилось через вмешательство третьих лиц. Мой сын получил вызов; принятие вызова было его первой обязанностью, но по меньшей мере надо объяснить ему, ему самому, по каким мотивам его вызвали. Свидание представляется мне необходимым, обязательным, — свидание между двумя противниками, в присутствии лица, подобного вам, которое сумело бы вести свое посредничество со всем авторитетом полного беспристрастия и сумело бы оценить реальное основание подозрений, послужившим поводом к этому делу. Но после того, как обе враждующие стороны исполнили долг честных людей, я предпочитаю думать, что вашему посредничеству удалось бы открыть глаза Пушкину и сблизить двух лиц, которые доказали, что обязаны друг другу взаимным уважением. Вы, милостивый государь, совершили бы таким образом почтенное дело, и если я обращаюсь к вам в подобном положении, то делаю это потому, что вы один из тех людей, к которым я питал особливо чувства уважения и величайшего почтения…»

В тот же день Жуковский писал Пушкину: «Я не могу еще решиться почитать наше дело конченным. Еще я не дал никакого

ответа старому Геккерену, я сказал ему в моей записке, что не застал тебя дома и что, не видевшись с тобой, не могу ничего отвечать. Итак, есть еще возможность все остановить. Реши, что я должен отвечать. Твой ответ невозвратно все кончит. Но ради Бога, одумайся. Дай мне счастье избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посрамления».

После этого письма Пушкин имел свидание с Жуковским, и 10 ноября получил следующее письмо от него: «…Ты вчера, помнится мне, что-то упомянул о жандармах, как будто опасаясь, что хотят замешать в твое дело правительство. Насчет этого будь совершенно спокоен. Никто из посторонних ни о чем не знает, и если дамы (то есть одна дама Загряжская) смолчат, то тайна останется ненарушенною… Нынче поутру скажу старому Геккерену, что не могу взять на себя никакого посредничества, ибо из разговору с тобой вчера убедился, что посредство ни к чему не послужит, почему я и не намерен никого подвергать неприятности отказа… Все это я написал тебе для того, чтобы засвидетельствовать перед тобою, что молодой Геккерен во всем том, что делал его отец (в качестве посредника. — Н. Г.), был совершенно посторонний, что он также готов драться с тобой, как и ты с ним, и что он так же боится, чтобы тайна не была как-нибудь нарушена. И отцу отдать ту же справедливость…»

11 ноября обстоятельства несколько изменились, и Жуковский пишет Пушкину: «Ты поступаешь весьма неосторожно, невеликодушно и даже против меня несправедливо. Зачем ты рассказал обо всем Екатерине Андреевне и Софье Николаевне? Чего ты хочешь? Сделать невозможным то, что теперь должно кончиться для тебя самым наилучшим образом… Я имею причину быть уверенным, что во всем том, что случилось для предотвращения драки, молодой Геккерен нимало не участвовал. Все есть дело отца, и весьма натурально, чтобы он на все решился, дабы отвратить свое несчастье. Я видел его в таком положении, которого нельзя выдумать или сыграть роль. Я остаюсь в убеждении, что молодой Геккерен совершенно в стороне… Получив от отца Геккерена доказательство материальное, что дело, о коем теперь идут толки, затеяно было еще гораздо прежде твоего вызова, я дал ему совет поступить так, как он и поступил, основываясь на том, что если тайна сохранится, то никакого бесчестия не падет на его сына, что и ты сам не можешь предполагать, чтобы он хотел избежать дуэли, который им принят… Итак требую от тебя тайны теперь и после. Сохранением этой тайны ты так же обязан самому себе, ибо в этом деле и с твоей стороны есть много такого, в чем должен ты сказать: виноват!..»

На вопрос о том «материальном деле», которое было затеяно прежде вызова, ответим словами К. К. Данзаса: «Все старались потушить историю и расстроить дуэль, Геккерен, между прочим, объявил Жуковскому, что если особенное внимание его сына к г-же Пушкиной и было принято некоторыми за ухаживание, то все-таки тут не может быть места никакому подозрению, никакого повода к скандалу, потому что барон Дантес делал это с благородной целью, имея намерение просить руки сестры г-жи Пушкиной, Катерины Гончаровой. Отправляясь с этим известием к Пушкину, Жуковский советовал барону Геккерену, чтобы сын его сделал как можно скорее предложение свояченице Пушкина, если он хочет прекратить все враждебные отношения и неосновательные слухи».

13 ноября, судя по записке Геккерена Загряжской, дело о сватовстве было решенным. «После беспокойной недели я был так счастлив и спокоен вечером, что забыл просить Вас, сударыня, сказать в разговоре, который вы будете иметь сегодня вечером, что намерение, которым вы заняты, К. и моем сыне существует уже давно, что я противился ему по известным вам причинам, но, когда вы меня пригласили прийти к вам, чтобы поговорить, я вам заявил, что дальше не желаю отказывать в моем согласии, с условием, во всяком случае сохранять все дело в тайне до окончания дуэли… страх опять охватил меня, и я в состоянии, которое не поддается описанию…»

Екатерина Гончарова была в не меньшем страхе от грозившей возлюбленному беды. Она, надо полагать, была посвящена в историю с вызовом и, сохраняя тайну, писала 9 ноября брату: «Я счастлива узнать, дорогой друг, пиши что ты по-прежнему доволен судьбой, дай Бог, чтобы это было всегда, а для меня, в тех горестях, которые небу угодно было ниспослать, истинное утешение знать, что ты по крайней мере счастлив. Что же касается меня, то мое счастье уже безвозвратно потеряно, я слишком хорошо уверена, что оно и я никогда не встретимся на этой многострадальной земле, и единственная милость, которую я прошу у Бога, это положить конец жизни, столь мало полезной, если не сказать больше, чем моя. Счастье для всей моей семьи и смерть для меня — вот что мне нужно, вот о чем я беспрестанно умоляю Всевышнего…»

Пушкин не шел ни на какое примирение. Некоторый перелом произошел 12-го, когда он согласился на встречу с бароном Геккереном. Вся семья взывала к его великодушию, умоляя не мешать счастью Екатерины. Пушкин не верил в желание Дантеса жениться на ней, но Загряжская уверила, что о помолвке будет объявлено тотчас же по окончании дела, что посланник готов в

том лично поручиться, если будет соблюдена тайна.

Официальная встреча Пушкина с Геккереном состоялась 14 ноября на квартире Загряжской. Здесь было объявлено о согласии обеих семей на брак Дантеса с Екатериной. Ввиду этого Пушкин заявил, что просит рассматривать его вызов как не имевший места. Геккерен потребовал письменного отказа. Во время этого свидания Пушкин ни в какие объяснения по поводу отношений Дантеса и Натали не вступал, в тот момент он сумел сохранить благоразумие и самообладание, однако спустя всего несколько часов у Вяземских он не смог сдержать накопившегося гнева.

Об этом разговоре с упреком написал Пушкину Жуковский 16 ноября: «Вот что приблизительно ты сказал княгине, уже имея в руках мое письмо: «Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как станут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит того человека в грязь, громкие подвиги Раевского — детская игра в сравнении с тем, что я намерен сделать», и тому подобное. Все это очень хорошо, особливо после обещания, данного тобою Геккерену в присутствии твоей тетушки, что все происшедшее останется тайной… Хорошо, что ты сам обо всем высказал и что все это мой добрый гений довел до меня заблаговременно. Само по себе разумеется, что я ни о чем случившемся не говорил княгине. Не говорю теперь ничего и тебе: делай, что хочешь. Но булавочку свою беру из игры вашей, которая теперь с твоей стороны жестоко мне не нравится. А если Геккерен теперь вздумает от меня потребовать совета, то не должен ли я по совести сказать ему: остерегитесь? Я это и сделаю…»

Родным было невдомек, что дело было далеко еще не слаженным. Екатерина, узнав о формальном согласии барона, считала себя невестой. Может быть, именно к этим дням относятся нежные любовные письма Жоржа, сохранившиеся в фамильном архиве баронов Геккеренов.

«Завтра я не дежурю, моя милая Катенька, но я приду в 12 часов к тетке, чтобы повидать вас. Между ней и бароном условлено, что я могу приходить к ней каждый день от 12 до 2, и конечно, милый друг, я не пропущу первого же случая, когда мне позволит служба; но устройте так, чтобы мы были одни, а не в той комнате, где сидит милая тетя. Мне так много надо сказать Вам, я хочу говорить о нашем счастливом будущем, но этот разговор не допускает свидетелей. Позвольте мне верить, что Вы счастливы, потому что я так счастлив сегодня утром. Я не мог говорить с Вами, а сердце мое было полно нежности и ласки к Вам, так как я люблю Вас, милая Катенька, и хочу Вам повторить об этом с той искренностью, которая свойственна моему

характеру и которую Вы всегда во мне встретите. До свидания, спите крепко, отдыхайте спокойно: будущее Вам улыбается.

Пусть все это заставит Вас видеть меня во сне. Весь Ваш, моя возлюбленная…»

«Мой дорогой друг, я совсем забыл сегодня утром поздравить Вас с завтрашним праздником… Примите же, мой самый дорогой друг, мои самые горячие пожелания. Вы никогда не будете так счастливы, как я этого хочу Вам, но будьте уверены, что я буду работать изо всех моих сил, и надеюсь, что при помощи нашего прекрасного друга я этого достигну, так как Вы добры и снисходительны. Там, увы, где я не достигну, Вы будете, по крайней мере, верить в мою добрую волю и простите меня. Безоблачно наше будущее, отгоняйте всякую боязнь, а главное — не сомневайтесь во мне никогда; все равно, кем бы ни были окружены, я вижу и буду всегда видеть только Вас, я — Ваш, Катенька, Вы можете положиться на меня, и, если Вы не верите словам моим, поведение мое докажет Вам это».

«Милая моя Катенька, я был с бароном, когда получил Вашу записку. Когда просят так нежно и хорошо — всегда уверены в удовлетворении; но мой прелестный друг, я менее красноречив, чем Вы: единственный мой портрет принадлежит барону и находится на его письменном столе. Я просил его у него. Вот его точный ответ: «Скажите Катеньке, что я отдал ей «оригинал»; а копию сохраню себе…»

Что было в это время на душе у Натали — одному Богу известно, она не распространялась о своих чувствах, более того — никого не хотела видеть, во всяком случае, из тех знакомых, которые по ее виду могли бы сделать дурные выводы.

15 ноября царская чета открывала зимний бальный сезон для избранного великосветского общества. Была приглашена туда и Натали — которая с марта вела почти затворнический образ жизни. И на этот раз не решилась бы ехать, если бы не записка Жуковского: «Разве Пушкин не читал письма моего? Я, кажется, ясно написал ему о нынешнем бале, почему он не зван и почему вам непременно надобно поехать. Императрица сама сказала мне, что не звала мужа вашего оттого, что он сам объявил ей, что носит траур и отпускает всюду жену одну; она прибавила, что начнет приглашать его, коль скоро он снимет траур. Вам надобно быть непременно. Почему вам Пушкин не сказал об этом, не знаю, может быть, он не удостоил прочитать письмо мое».

Жуковский настаивал на появлении Натали на балу, чтобы не давать поводов к новым пересудам. И все действительно сошло гладко. Императрица писала в своем письме подруге гр. Бобринской: «Я боялась, что этот бал не удастся… но все шло

лучше, чем я могла думать, Пушкина казалась прекрасной волшебницей в своем белом с черным платье. Но не было той сладостной поэзии, как на Елагином». До поэзии ли было Натали в тот вечер, да ведь никто не знал, что творится в доме Пушкиных.

После описанного бала Жуковский заехал к Вяземским и тут услышал, что Пушкин замышляет месть «полную и совершенную». И все же Жуковский, отказавшись от «посредничества», снова встретился с поэтом и добился от него заверений в том, что гнев его не выльется наружу. Письмо с отказом от вызова было все-таки передано Геккеренам: «Господин барон Геккерен оказал мне честь принять вызов на дуэль его сына г-на б. Ж. Геккерена. Узнав, что г-н Ж. Геккерен решил просить руки м-ль Гончаровой, я прошу г-на барона Геккерена-отца соблаговолить рассматривать мой вызов как не бывший».

Геккерен-отец добивался только одного — чтобы дуэль не состоялась, и ему впору было праздновать успех своего тяжелого посольства. Но Дантес не мог удовлетвориться подобной формулировкой, которая задевала честь его невесты. Получалось, что ее вынудили выйти замуж, чтобы прикрыть жестокие мужские игры.

Свое недоумение Дантес изложил в письме, переданном Пушкиным через атташе французского посольства виконта д'Аршиака: «Милостивый государь!.. Когда вы вызвали меня, не сообщая причин, я без колебаний принял вызов, так как честь обязывала меня к этому; ныне, когда вы заверяете, что не имеете более оснований желать поединка, я, прежде чем вернуть вам ваше слово, желаю знать, почему вы изменили намерения, ибо я никому не поручал давать вам объяснения, которые я предполагал дать вам лично. Вы первый согласитесь с тем, что прежде, чем закончить это дело, необходимо, чтобы объяснения как одной, так и другой стороны были таковы, чтобы мы впоследствии могли уважать друг друга». Вдобавок к письму д'Аршиак должен был передать Пушкину словесно, что ввиду окончания двухнедельной отсрочки он «готов к его услугам».

О реакции Пушкина на это письмо Дантеса можно судить по лаконичной записи Жуковского в дневнике: «Письмо Дантеса к Пушкину и его бешенство. Снова дуэль…»

У д'Аршиака, видимо, в тот день не было возможности пустить в ход всю ту аргументацию, которая была подготовлена для этого случая. Тезисы этой аргументации Дантес изложил на бумаге: «Я не могу и не должен согласиться на то, чтобы в письме находилась фраза, относящаяся к м-ль Гончаровой… Жениться или драться. Так как честь моя запрещает принимать условия, то

эта фраза ставила бы меня в печальную необходимость принять последнее решение. Я еще настаивал бы на нем, чтобы доказать, что такой мотив брака не может найти места в письме, так как я уже предназначил себе сделать это предложение после дуэли, если только судьба будет мне благоприятна. Необходимо, следовательно, определенно констатировать, что я сделаю предложение м-ль Екатерине не из-за соображений сатисфакции или улажения дела, а только потому, что она мне нравится, что таково мое желание и что это решено единственно моей волей». Пушкин не стал слушать виконта, лишь объявил, что завтра пришлет к нему своего секунданта.

Если кто и знал в точности, что произошло дальше, то это был граф Соллогуб, который стал секундантом Пушкина. 16 ноября «у Карамзиных праздновали день рождения старшего сына. Я сидел за обедом подле Пушкина. Во время общего веселого разговора он вдруг нагнулся ко мне и сказал скороговоркой:

— Ступайте завтра к д'Аршиаку. Условьтесь с ним только насчет материальной стороны дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь.

Потом он продолжал шутить и разговаривать как бы ни в чем не бывало. Я остолбенел, но возражать не осмелился. В тоне Пушкина была решительность, не допускавшая возражений.

Вечером я поехал на большой раут к австрийскому посланнику графу Фикельмону. На рауте все дамы были в трауре по случаю смерти Карла X. Одна Катерина Николаевна Гончарова, сестра Натальи Николаевны Пушкиной (которой на рауте не было), отличалась от прочих белым платьем. С нею любезничал Дантес-Геккерен.

Пушкин приехал поздно, казался очень встревожен, запретил Катерине Николаевне говорить с Дантесом, самому Дантесу сказал несколько более чем грубых слов. С д'Аршиаком мы выразительно переглянулись и разошлись, не будучи знакомы. Дантеса я взял в сторону и спросил его, что он за человек. «Я человек честный, — отвечал он, — и надеюсь это скоро доказать». Затем он стал объяснять, что не понимает, чего от него Пушкин хочет; что он поневоле будет с ним стреляться, если будет к тому принужден, но никаких ссор и скандалов не желает.

На другой день с замирающим сердцем я поехал к д'Аршиаку. Каково же было мое удивление, когда с первых слов д'Аршиак объявил мне, что он всю ночь не спал, что он, хотя не русский, но очень понимает, какое значение имеет Пушкин для русских, и что наша обязанность сперва просмотреть документы…

1. Экземпляр ругательного диплома на имя Пушкина;

2. Вызов Пушкина Дантесу после получения диплома;

3. Записку посланника б. Геккерена, в которой он просит, чтоб поединок был отложен на две недели;

4. Собственноручную записку Пушкина, в которой он объявлял, что берет свой вызов назад на основании слухов, что г. Дантес женится на его невестке Е. Н. Гончаровой.

Я стоял пораженный, как будто свалился с неба. Об этой свадьбе я ничего не слыхал, и только тут понял причину вчерашнего белого платья, причину двухнедельной отсрочки, причину ухаживания Дантеса. Все хотели остановить Пушкина. Один Пушкин того не хотел. Мера терпения преисполнилась. При получении глупого диплома от безымянного негодяя Пушкин обратился к Дантесу, потому что последний, танцуя часто с Натальей Николаевной, был поводом к мерзкой шутке. Самый день вызова неопровержимо доказывает, что другой причины не было. Кто знал Пушкина, тот понимает, что не только в случае кровной обиды, но даже при первом подозрении он не стал бы дожидаться подметных писем. Одному Богу известно, что он в это время выстрадал, воображая себя осмеянным и поруганным в большом свете, преследовавшем его мелкими беспрерывными оскорблениями. Он в лице Дантеса искал или смерти, или расправы со всем светским обществом. Я твердо убежден, что если бы Соболевский тогда был в Петербурге, он, по влиянию его на Пушкина, мог бы удержать его. Прочие были не в силах.

— Вот положение дел, — сказал д'Аршиак. — Дантес желает жениться, но не может жениться иначе, как если Пушкин откажется просто от своего вызова, Дантес не может допустить, чтоб о нем говорили, что он был принужден жениться и женился во избежание поединка. Уговорите Пушкина безусловно отказаться от вызова. Я вам ручаюсь, что Дантес женится, и мы предотвратим, может быть, большое несчастье.

Д'Аршиак был необыкновенно симпатичной личностью и сам скоро умер насильственной смертью на охоте. Мое положение было самое неприятное: я только теперь узнавал сущность дела. Мне предлагали самый блистательный исход, а между тем я не имел поручения вести переговоров. Потолковав с д'Аршиаком, мы решились съехаться у самого Дантеса. Дантес не участвовал в разговорах, предоставив все секунданту. Никогда в жизни я не ломал так голову. Наконец я написал Пушкину следующую записку: «Согласно вашему желанию, я условился насчет материальной стороны поединка. Он назначен на 21 ноября 8 часов утра, на Парголовой дороге, на 10 шагов барьера. Впрочем из разговоров я узнал, что г. Дантес женится на вашей свояченице, если вы только признаете, что он вел себя в

настоящем деле как честный человек…» Точных слов я не помню, но содержание верно… Наконец ответ был привезен. Он был в общем смысле следующего содержания: «Прошу господ секундантов считать мой вызов недействительным, так как по городским слухам я узнал, что Дантес женится на моей свояченице, впрочем, я готов признать, что в настоящем деле он вел себя честным человеком».

— Этого достаточно, — сказал д'Аршиак, ответа Дантесу не показал и поздравил его женихом. Тогда Дантес обратился ко мне:

— Ступайте к г. Пушкину и поблагодарите его, что он согласен кончить нашу ссору. Я надеюсь, что мы будем видаться как братья.

Поздравив, со своей стороны, Дантеса, я предложил д'Аршиаку лично повторить эти слова Пушкину и поехать со мной. Д'Аршиак и на это согласился. Мы застали Пушкина за обедом. Он вышел к нам несколько бледный и выслушал благодарность, переданную д'Аршиаком.

— С моей стороны, — продолжал я, — я позволил себе обещать, что вы будете обходиться с своим зятем как с знакомым.

— Напрасно, — запальчиво ответил Пушкин. — Никогда этого не будет. Никогда между домом Пушкина и домом Дантеса ничего общего быть не может. — Мы грустно переглянулись с д'Аршиаком. Пушкин затем немного успокоился. — Впрочем, — добавил он, — я признал и готов признать, что Дантес вел себя как честный человек.

— Больше мне и не нужно, — подхватил д'Аршиак и спешно ушел.

Вечером на бале у С. В. Салтыкова свадьба была объявлена, но Пушкин Дантесу не кланялся. Он сердился на меня, что, несмотря на его приказания, я вступил в переговоры. Свадьбе он не верил.

— У него, кажется, грудь болит, — говорил, — того и гляди уедет за границу. Хотите биться об заклад, что свадьбы не будет. Вот у вас тросточка, проиграйте мне ее, у меня бабья страсть к этим игрушкам.

— А вы проиграете мне все ваши сочинения?

— Хорошо. (Он был в это время как-то желчно весел.)

— Послушайте, — сказал он мне через несколько минут, — вы были более секундантом Дантеса, чем моим, однако я не хочу ничего делать без вашего ведома. Пойдемте в мой кабинет.

Он запер дверь и сказал: «Я прочитаю вам мое письмо к старику Геккерену. С сыном уже покончено. Вы мне теперь старика подавайте». Тут он прочитал всем известное письмо к

голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что я мог возразить против такой сокрушительной страсти? Я рассказал Жуковскому про то, что слышал, Жуковский испугался и обещал остановить отсылку письма. Действительно, ему это удалось…» (Воспоминания гр. Соллогуба)

В первый раз Жуковскому удалось остановить трагедию, но далее и он оказался бессилен. Именно то самое письмо, написанное в ноябре, чуть отредактированное и сокращенное, Пушкин отослал Геккерену в январе. Оно было столь оскорбительное, что Дантес не мог не драться, вступившись за честь своего приемного отца, Пушкин писал: «…я получил анонимные письма. Я увидел, что время пришло, и воспользовался этим. Остальное вы знаете: я заставил вашего сына играть роль столь гротескную и жалкую, что моя жена, удивленная такой пошлостью, не могла удержаться от смеха, и то чувство, которое, быть может, и вызывала в ней эта великая и возвышенная страсть, угасло в отвращении самом спокойном и вполне заслуженном. Но вы, барон, — вы мне позволите заметить, что ваша роль во всей этой истории была не очень прилична. Вы, представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему незаконнорожденному или так называемому сыну; всем поведением этого юнца руководили вы. Это вы диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и нелепости, которые он осмеливался писать. Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о вашем сыне… Теперь я подхожу к цели моего письма: может быть, вы хотите знать, что помешало мне до сих пор обесчестить вас в глазах нашего и вашего двора. Я вам скажу это. Я, как видите, добр, бесхитростен, но сердце мое чувствительно. Дуэли мне уже недостаточно, и каков бы ни был ее исход, я не сочту себя достаточно отмщенным ни смертью вашего сына, ни его женитьбой, которая совсем походила бы на веселый фарс (что, впрочем, меня весьма мало смущает), ни, наконец, письмом, которое я имею честь писать вам и которого копию сохраняю для моего личного употребления. Я хочу, чтобы вы дали себе труд и сами нашли основания, которые были бы достаточны для того, чтобы побудить меня не плюнуть вам в лицо, и чтобы уничтожить самый след этого жалкого дела, из которого мне легко будет сделать отличную главу в моей истории рогоносцев…»

Хулу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца…

— провозгласил поэт. Гнев — плохой советчик, равнодушно не получилось. За двести лет так и не было доказано, что пасквили принадлежат перу или деятельности Геккеренов. Пушкин сам воздвиг клевету на тех, кто через месяц стал его родственниками… Новость о помолвке Екатерины и Дантеса мгновенно облетела все гостиные и салоны и обсуждалась на все лады. Поскольку тайну поединка и ускоренной им свадьбы все посвященные сохранили, то обществу было невдомек, что произошло. Естественно, это породило новые толки. «Часть общества захотела усмотреть в этой свадьбе подвиг высокого самоотвержения ради спасения чести г-жи Пушкиной… это предположение дошло до Пушкина и внесло новую тревогу в его душу» (князь П. А. Вяземский). Всяк видел ситуацию в превратном свете, но по большей части из зависти к судьбе Екатерины мало кто решался назвать это браком по любви.

Жуковский не мог не понимать, что дуэль окончательно не остановлена, и решился обратиться к Государю с просьбой вмешаться и предотвратить трагический исход событий. 22 ноября Жуковский, по-видимому, рассказал царю о несостоявшемся поединке, что дало основание императрице написать своей подруге 23 ноября: «Со вчерашнего дня для меня все стало ясно с женитьбой Дантеса, но это секрет».

В это же день в камер-фурьерском журнале появилась запись: «По возвращении (с прогулки Государя. — Н. Г.) Его Величество принимал генерал-адъютанта графа Бенкендорфа и камер-юнкера Пушкина». Личные аудиенции царя, не носившие церемониального характера, были явлением чрезвычайным. Об этой встрече в официальной обстановке нет подробных сведений, больше всех знала Е. А. Карамзина (скорее всего — от Жуковского), которая писала сыну: «После истории со своей первой дуэлью Пушкин обещал Государю больше не драться ни под каким предлогом…» Итак, царь взял с Пушкина обещание не драться и, если история возобновится, обратиться к нему, тогда Государь лично вмешается в дело. Жуковский в дальнейшем твердо полагался на слово, данное Пушкиным, надеясь, что дуэль окончательно устранена.

В домах Геккеренов, Загряжской и Пушкиных начались предсвадебные хлопоты, о чем Пушкин в декабре сообщил отцу: «У нас свадьба. Моя свояченица Екатерина выходит за барона Геккерена, племянника и приемного сына посланника короля голландского. Это очень красивый и добрый малый, он в большой моде и 4 годами моложе своей нареченной. Шитье приданого

сильно занимает и забавляет жену мою и ее сестру, но приводит меня в бешенство. Ибо мой дом имеет вид модной и бельевой мастерской. Веневитинов представил доклад о состоянии Курской губернии. Государь был так поражен и много расспрашивал о Веневитинове; он сказал уже не помню кому: познакомьте меня с ним в первый же раз, что мы будем вместе. Вот готовая карьера… Я очень занят. Мой журнал и мой Петр Великий отнимают у меня много времени, в этом годуя довольно плохо устроил свои дела, следующий год будет лучше, надеюсь. Прощайте, мой дорогой отец. Моя жена и все мое семейство обнимают вас и целуют ваши руки».

22 декабря вышел четвертый том «Современника», в декабре — январе Пушкин работал над материалами к истории Петра Великого. В эти дни у него в гостях был надворный советник Келлер, который оставил такое свидетельство. ««Об этом государе, — сказал он (Пушкин. — Н.Г.) между прочим, — можно написать более, чем об истории России вообще. Одно из затруднений составить историю его состоит в том, что многие писатели, не доброжелательствуя ему, представляют разные события в искаженном виде, другие с пристрастием осыпали похвалами все его действия». Александр Сергеевич на вопрос мой: скоро ли будем иметь удовольствие прочесть произведение его о Петре, отвечал: «Я до сих пор ничего еще не написал, занимался единственно собиранием материалов: хочу составить себе идею обо всем труде, потом напишу историю Петра в год или в течение полугода и стану исправлять по документам». Просидев с полтора часа у Пушкина, я полагал, что беспокою его и отнимаю дорогое время, но он просил остаться и сказал, что вечером ничем не занимается. Возложенное на него поручение писать историю Петра весьма его обременяло. «Эта работа убийственная, — сказал он мне, — если бы я наперед знал, я бы не взялся за нее». Пушкину невыносимо было думать, что его литературные враги только и ждали того момента, когда можно было провозгласить, что Пушкин исписался, ослабел.

«Это была совершенная ложь, но ложь обидная. Пушкин не умел приобрести необходимого равнодушия к печатным оскорблениям… В свете его не любили, потому что боялись его эпиграмм, на которые он не скупился, и за них он нажил в целых семействах, в целых партиях врагов непримиримых… Он обожал жену… Он ревновал к ней не потому, что в ней сомневался, а потому, что страшился светской молвы, страшился сделаться еще более смешным перед светским мнением. Эта боязнь была причина его смерти, а не г. Дантес, которого бояться ему было нечего. Он вступался не за обиду, которой не было, а боялся

молвы и видел в Дантесе не серьезного соперника, не посягателя на его честь, а посягателя на его имя» (граф В. А. Соллогуб).

Натали в это время терпела, может, более, чем когда бы то ни было. Дома Пушкин в припадках ревности брал жену к себе на колени и с кинжалом допрашивал, верна ли она ему. Или терзал вопросом, по ком она будет плакать, по нему или по Дантесу; Натали, как говорили, отвечала: по тому, кто будет убит.

В течение нескольких недель Екатерина и Дантес не бывали ни у Вяземских, ни у Карамзиных в те дни, когда там находились Пушкин с женой. В конце декабря жених с невестой появились у Мещерских, о чем сообщила С. П. Карамзина: «Бедный Дантес появился у Мещерских, сильно похудевший, бледный и интересный, и был со всеми нами так нежен, как это бывает, когда человек очень взволнован или, быть может, очень несчастлив». Пушкин же был «мрачный, как ночь, нахмуренный, как Юпитер во гневе, Пушкин прерывал свое угрюмое и стеснительное молчание лишь редкими, короткими, ироническими, отрывистыми словами… Это было ужасно смешно». Графиня Строганова заметила, что Пушкин имел такой страшный вид, что «будь она его женою, она не решилась бы вернуться с ним домой». Долли Фикельмон, наблюдая сцены, когда в одном обществе собирались Пушкины, Дантес и Екатерина, свидетельствовала, что Натали: «бедная женщина оказалась в самом фальшивом положении. Не смея заговорить со своим будущим зятем, не смея поднять на него глаз, наблюдаемая всем обществом, она постоянно трепетала». Общество разделилось на партии, одна из которых утверждала, что свадьбы не может быть, потому что Дантес любит Натали, другая — что, наоборот, спасая ее честь, Дантес женится.

«Мой жених был очень болен в течение недели и не выходил из дома, так что хотя я и получала вести о нем регулярно три раза в день, тем не менее я не видела его все это время и очень этим опечалена. Теперь ему лучше, и через два или три дня я надеюсь его увидеть», — писала Екатерина в Полотняный Завод, еще в начале декабря, приглашая приехать братьев на венчание.

Оно состоялось 10 января 1837 года. Ввиду различия вероисповеданий брачующихся венчание состоялось дважды: в католической церкви Св. Екатерины и в православном Исаакиевском соборе. Сразу после этого Натали уехала домой.

«Неделю назад сыграли мы свадьбу барона Геккерена с Гончаровой. Тому два дня был у старика Строганова (посаженного отца) свадебный обед с отличными винами. Таким образом кончился сей роман а-ля Бальзак к большой досаде С.-Петербургских сплетников и сплетниц», — радовался Александр

Карамзин, а Софья Карамзина писала, что ее братья «были ослеплены изяществом квартиры, богатством серебра и той совершенно особой заботливостью, с которой убраны комнаты, предназначенные для Катрин».

Старшая сестра Натальи Пушкиной, ставшая баронессой де Геккерен, была действительно счастлива: «Теперь поговорю с вами о себе, но не знаю, право, что сказать; говорить о моем счастье смешно, так как, будучи замужем всего неделю, было бы странно, если бы это было иначе, и все-таки я только одной милости могу просить у неба — быть всегда такой счастливой, как теперь. Но я признаюсь откровенно, что это счастье меня пугает, оно не может долго длиться, я это чувствую, оно слишком велико для меня, которая о нем не знала иначе, как понаслышке, и эта мысль — единственное, что отравляет мою теперешнюю жизнь, потому что мой муж ангел, и Геккерен так добр ко мне, что я не знаю, как им отплатить за всю ту любовь и нежность, что они оба проявляют ко мне. Сейчас, конечно, я самая счастливая женщина в мире. Прощайте, мои дорогие братья, пишите мне оба, я вас умоляю, и думайте иногда о вашей преданной сестре».

Всю жизнь, которую молодым супругам привелось прожить вместе — ее было всего шесть лет, как и у Натали с Пушкиным, Екатерина любила своего мужа и пользовалась несомненной взаимностью. Но Пушкин был ослеплен, ему тошно было от этой супружеской идиллии, в его душе все освещалось превратным светом: «Надо было видеть, с какой готовностью он рассказывал моей сестре Катрин обо всех темных и наполовину воображаемых подробностях этой таинственной истории, совершенно так, как бы рассказывал ей драму или новеллу, не имеющую к нему никакого отношения… всегда радуется каждому новому слушателю» (С. Н. Карамзина).

Отчего так случилось? Приведем последнее свидетельство секунданта Пушкина К. К. Данзаса, который записал: «Пушкин возненавидел Дантеса, и несмотря на женитьбу его на Гончаровой, не хотел с ним помириться. На свадебном обеде, данном графом Строгановым в честь новобрачных, Пушкин присутствовал, не зная настоящей цели этого обеда, заключавшейся в условленном заранее некоторыми лицами примирении его с Дантесом. Примирение это, однако же, не состоялось, и, когда после обеда барон Геккерен-отец, подойдя к Пушкину, сказал ему, что теперь, когда поведение его сына совершенно объяснилось, он, вероятно, забудет все прошлое и изменит настоящие отношения свои к нему на более родственные, Пушкин отвечал сухо, что, невзирая на родство, он не желает иметь никаких отношений между его домом и

Дантесом (все это делалось публично, и даже близкие друзья в один голос восклицали: «Да чего же он хочет? да ведь он сошел с ума! Он разыгрывает удальца!» — Н. Г.)… Дантес приезжал к Пушкину со свадебным визитом, но Пушкин его не принял. Вслед за этим визитом Пушкин получил второе письмо от Дантеса (с просьбой о примирении. — Н. Г.). Это письмо Пушкин, не распечатывая, положил в карман и поехал к Загряжской, через нее хотел возвратить письмо Дантесу. Но, встретясь у ней с бароном Геккереном, он подошел к тому и, вынув письмо из кармана, просил барона возвратить его тому, кто писал его, прибавив, что не только читать писем Дантеса, но даже и имени его он слышать не хочет. Геккерен отвечал, что так как письмо было писано к Пушкину, а не к нему, то он и не может принять его. Этот ответ взорвал Пушкина, и он бросил письмо в лицо Геккерену со словами: «Ты возьмешь его, негодяй!» После этой истории Геккерен решительно ополчился против Пушкина, и в петербургском обществе образовались две партии: одна за Пушкина, другая за Дантеса и Геккерена. Партии эти, действуя враждебно друг против друга, одинаково преследовали поэта, не давая ему покоя… Борьба этих партий заключалась в том, что в то время как друзья Пушкина и все общество, бывшее на его стороне, старались всячески опровергать и отклонять от него все распускаемые врагами поэта оскорбительные слухи, отводить его от встреч с Геккереном и Дантесом, противная сторона, наоборот, усиливалась их сводить вместе, для чего нарочно устраивали балы и вечера, где жена Пушкина вдруг неожиданно встречала Дантеса. Зная, как все эти обстоятельства были неприятны для мужа, Наталья Николаевна предлагала ему уехать с нею на время куда-нибудь из Петербурга, но Пушкин, потеряв всякое терпение, решился кончить это иначе. Он написал барону Геккерену в весьма сильных выражениях известное письмо, которое и было причиной роковой дуэли нашего поэта. Говорят, что, получив письмо, Геккерен бросился за советом к графу Строганову, и граф, прочитав письмо, дал совет Геккерену, чтобы его сын, барон Дантес, вызвал Пушкина на дуэль, так как после подобной обиды, по мнению графа, дуэль была единственным исходом. В ответ Пушкину барон Геккерен написал письмо, в котором объявил, что сын его пришлет ему своего секунданта. Это был виконт д'Аршиак» (К. К. Данзас).

Дадим, наконец, слово и Дантесу, поскольку ему по сложившейся давно традиции слова никогда не давали, даже и последнего — в свое оправдание. «Со дня моей женитьбы, каждый раз, когда он видел мою жену в обществе мадам Пушкиной, он садился рядом с ней, а на замечания относительно этого, которое

она однажды ему сделала, ответил: «Это для того, чтобы видеть, каковы вы вместе, и каковы у вас лица, когда вы разговариваете». Это случилось у французского посланника на балу за ужином в тот же самый вечер. Он воспользовался, когда я отошел, моментом, чтобы подойти к моей жене и предложить ей выпить за его здоровье. После отказа он повторил то же самое предложение, ответ был тот же. Тогда он, разъяренный, удалился, говоря ей: «Берегитесь, я Вам принесу несчастье». Моя жена, зная мое мнение об этом человеке, не посмела тогда повторить разговор, боясь истории между нами обоими… В конце концов, он совершенно добился того, что его стали бояться все дамы… Я вам даю отчет во всех подробностях, чтобы дать Вам понятие о той роли, которую играл этот человек в нашем маленьком кружке. Правда, все те лица, к которым я Вас отсылаю, чтобы почерпнуть сведения, от меня отвернулись с той поры, как простой народ побежал в дом моего противника, без всякого рассуждения и желания отделить человека от таланта. Они также хотели видеть во мне только иностранца, который убил их поэта, но здесь я взываю к их честности и совести, и я их слишком хорошо знаю и убежден, что я их найду такими же, как я о них сужу» (Дантес — полковнику Бреверну, 28 февраля 1837 года).

«Перед смертью Пушкина приходим мы, я и Якубович, к Пушкину. Пушкин сидел на стуле, на полу лежала медвежья шкура; на ней сидела жена Пушкина, положа свою голову на колени к мужу. Это было в воскресенье, а через три дня уже Пушкин стрелялся» (И. П. Сахаров).

В те же дни Пушкина видели в книжном магазине: он спрашивал книгу о дуэлях. Встретившись за несколько дней до дуэли с баронессой Вревской в театре, Пушкин сам сообщил ей о своем намерении искать смерти. Тщетно та продолжала его успокаивать. Наконец, она напомнила ему о детях его. «Ничего, — раздражительно отвечал он, — император, которому известно мое дело, обещал взять их под свое покровительство». За несколько часов до дуэли, объясняя секунданту Дантеса д'Аршиаку причины, которые заставили его драться, сказал: «Есть двоякого рода рогоносцы; одни носят рога на самом деле, те знают отлично, как им быть; положение других, ставших рогоносцами по милости публики, затруднительнее, я принадлежу к последним».

Условия дуэли были таковы: драться 27 января за Черной речкой возле Комендантской дачи. Оружием выбраны пистолеты, стреляться на расстоянии 20 шагов с тем, чтобы можно было сделать пять шагов к барьеру, никому не было дано преимущества первого выстрела: каждый мог сделать один

выстрел, когда ему будет угодно. В случае промаха обеих сторон дуэль должна быть возобновлена на тех же условиях. Личных объяснений между противниками не было. За них объяснялись секунданты.

Дантес выстрелил первый и ранил Пушкина в живот. Собрав все силы, сделал свой выстрел и Пушкин. Когда Дантес упал от полученной контузии, Пушкин на минуту подумал, что он убит, и сказал: «Я думал, что его смерть доставит мне удовольствие, теперь как будто это причиняет мне страдание». Другие свидетели добавляют, что, когда он узнал, что Дантес только ранен, Пушкин прибавил: «Как только мы поправимся, снова начнем».

По дороге домой раненый Пушкин «в особенности беспокоился о том, чтобы по приезде домой не испугать жены, и давал наставления Данзасу, как поступить, чтобы этого не случилось…» Данзас через столовую пошел прямо без доклада в кабинет жены Пушкина. Она сидела со своей незамужней сестрой Александрой. Внезапное появление Данзаса очень удивило Наталью Николаевну, она взглянула на него с выражением испуга, как бы догадываясь о случившемся.

Она бросилась в переднюю, куда в это время люди вносили Пушкина на руках. Первые слова его к жене были следующие: «Как я счастлив! Я еще жив и ты возле меня! Будь покойна! Ты не виновата, я знаю, что ты не виновата…» (князь П. А. Вяземский)

Натали сделала несколько шагов и упала без чувств. Приехавший вскоре лейб-медик Арендт, осмотрев раненого, признал смертельную опасность. Он сказал об этом Пушкину. Арендт поехал с докладом к Государю: Пушкин просил передать ему, что он умирает и просит прощения за себя и за Данзаса.

Сознание того горя, которое он причинит жене и детям своею смертью, мучило его ежеминутно. «Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском», — говорил он доктору Спасскому.

Княгиня Вяземская «была с женою, которой состояние было невыразимо: как привидение, иногда прокрадывалась она в ту горницу, где лежал ее умирающий муж. Он не мог ее видеть (он лежал на диване лицом от окон к двери); но он боялся, чтобы она к нему подходила, ибо не хотел, чтобы она могла приметить его страдания» (Жуковский). Пушкин ждал приезда Арендта, говорил: «Жду слова от царя, чтобы умереть спокойно». На следующее утро он призывал жену, «но ее не пустили, ибо после того, как он сказал ей: «Арендт меня приговорил, я ранен смертельно», она в нервическом страдании лежит в молитве перед образами. Он беспокоился за жену, думая, что она ничего не знает об

опасности, и говорит, что «люди заедят ее, думая, что она была в эти минуты равнодушною»: это решило его сказать ей об опасности» (А. И. Тургенев). Твердил Спасскому: «Она не притворщица, вы ее хорошо знаете, она должна всё знать».

«Император написал собственноручно карандашом записку к поэту следующего содержания: «Если хочешь моего прощения и благословения, прошу тебя исполнить последний долг христианина. Не знаю, увидимся ли на сем свете. Не беспокойся о жене и детях; я беру их на свои руки». Пушкин был тронут, послал за духовником, исповедался, причастился и, призвав посланника государева, сказал ему: «Доложите императору, что, пока еще вы были здесь, я исполнил желание Его Величества и что записка императора продлит жизнь мою на несколько часов. Жалею, что не могу жить, — сказал он потом друзьям своим, окружающим умирающего, — отныне жизнь моя была бы посвящена единственно Государю». Жене своей он говорил: «Не упрекай себя моей смертью, это дело, которое касалось только меня» (Н. А. Муханов).

«Данзас спросил его: не поручит ли он ему чего-нибудь в случае смерти, касательно Геккерена? — Требую, отвечал Пушкин, чтобы ты не мстил за мою смерть, прощаю ему и хочу умереть христианином» (Вяземский).

Предсмертные жестокие страдания Пушкина продолжались 43 часа.

«Пушкин слабее и слабее… Надежды нет. Смерть быстро приближается, — писал Тургенев за 2 часа, — но умирающий сильно не страждет, он покойнее. Жена подле него. Александрина плачет, но еще на ногах. Жена — сила любви дает ей веру — когда уже нет надежды. Она повторяет ему: «Ты будешь жить!»

За десять минут до кончины он сказал: «Нет, мне не жить и не житье здесь. Я не доживу до вечера — и не хочу жить. Мне остается только — умереть».

«Г-жа Пушкина возвратилась в кабинет в самую минуту его смерти… Увидя умирающего мужа, она бросилась к нему и упала перед ним на колени; густые темно-русые букли в беспорядке рассыпались у ней по плечам. С глубоким отчаянием она протянула руки к Пушкину, толкала его и, рыдая, вскрикивала: «Пушкин, Пушкин, ты жив?» Картина была, разрывающая душу» (К. К. Данзас).

«Особенно замечательно то, — писал Жуковский, — что в эти последние часы жизни он как будто сделался иной: буря, которая за несколько часов волновала его душу неодолимою страстью, исчезла, не оставив в ней следа; ни слова, ни воспоминания о случившемся». Описывая первые минуты после смерти, он же

удивлялся происшедшей с покойным перемене: «Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было в нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась; руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею… Какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось спросить: «Что видишь, друг?» И что бы он ответил мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих… Я уверяю…, что никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскальзывала в нем и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина».

Смерть наступила 29 января около трех часов дня. Натали осталась двадцатичетырехлетней вдовой с четырьмя малолетними детьми, не прожив с мужем и шести лет.

«Бедный Пушкин! Вот чем он заплатил за право гражданства в этих аристократических салонах, где расточал свое время и дарование! Тебе следовало идти путем человечества, а не касты: сделавшись членом последней, ты уже не мог не повиноваться законам ее. А ты был призван к высшему служению» (А. В. Никитенко).

Граф Строганов взял на себя хлопоты похорон и уговорил престарелого митрополита Серафима отпевать Пушкина, не считая его самоубийцей. Пушкин еще до получения государева письма выразил согласие исповедаться и причаститься на другой день утром, а когда получил письмо, тотчас попросил послать за священником, который потом отзывался, что себе желал бы такого душевного настроения перед смертью.

«Вчера, входя в комнату, где стоял гроб, первые слова, которые поразили меня при слушании Псалтыри, который читали над усопшим, были следующие: «Правду Твою не скрыв в сердце моем» (Псалом 39. — Н.Г.) Эти слова заключают всю загадку и причину его смерти: то есть то, что он почитал правдою, что для него, для его сердца казалось обидою, он не скрыл в себе, не укротил в себе, а высказал в ужасных и грозных выражениях своему противнику — и погиб!.. Смирдин сказывал, что он продал после дуэли Пушкина на 40 тысяч его сочинений, особливо «Онегина», — написал 1 февраля А. П. Тургенев, который вместе с

дядькой поэта Козловым сопроводил гроб с телом поэта к месту последнего упокоения в Святогорском монастыре.

Глава четвертая
Вдова-бесприданница

«Да ниспошлет Господь силы и мужество…»

«В субботу вечером я видела несчастную Натали. Не могу передать тебе, какое раздирающее душу впечатление она произвела на меня: настоящий призрак, и при этом взгляд ее блуждал, а выражение лица было столь невыразимо жалкое, что на нее невозможно было смотреть без сердечной боли» (С. Н. Карамзина, 2 февраля 1837 г.).

«Вчера мы еще раз видели Натали, она уже более спокойнее и много говорила о муже. Через неделю она уезжает в калужское имение отца, где намерена провести два года. «Муж мой, — сказала она, — велел мне носить траур по нем два года и, я думаю, что лучше всего исполню его волю, если проведу эти два года совсем одна в деревне. Моя сестра едет вместе со мной, и для меня это большое утешение» (С. Н. Карамзина, 10 февраля).

8 февраля возвратился из Святогорского монастыря Тургенев и первым делом посетил вдову поэта: «Ввечеру же был у вдовы, дал ей просвиру монастырскую и нашел ее ослабевшую от горя и от бессонницы, но покорною Провидению».

Несомненно, таинства церкви укрепили ее, она много говорила со священником, часто ездила в церковь и горячо молилась. «Пушкина еще слаба, но тише и спокойнее. Она говела, исповедовалась и причастилась и каждый день беседует со священником Бажановым, которого рекомендовал ей Жуковский. Эти беседы очень умирили ее и, так сказать, смягчили ее скорбь. Священник очень тронут расположением души ее и также убежден в непорочности ее» (Вяземский, 10 февраля).

Перед отъездом в Заводы произошла прощальная встреча сестер в доме Пушкиных, в котором Екатерина не бывала с тех пор, как уехала из него на венчанье. Свидание происходило в присутствии братьев, Александры и тетушки Екатерины Ивановны. Екатерина плакала, предчувствуя, что скоро расстанется с родными навсегда.

16 февраля Натали выехала в Москву, что дало пищу для новых пересудов. «Москва о ее приезде дозналась, все узнали, что она не видела Сергея Львовича, и ее немилосердно ругали, особливо женщины. Таковы всегда человеки! Снисходительны к тем, кои в счастии, и строго взыскивают с тех, кои и без того горем убиты…» По Москве пронесся слух, что по приказу царя вдову поэта постригли в монахини.

В 20-х числах Натали с детьми и тетушкой Загряжской были в Заводах. По приезде она написала свекру, и между убитыми одним горем родственниками завязалась переписка.

«Я надеюсь, дорогой Батюшка, вы на меня не рассердились, что я миновала Москву, не повидавшись с вами; я так страдала, что врачи предписали мне как можно скорее приехать на место назначения… Я надеюсь, вы мне напишете о своем здоровье, что касается моего, то я об нем не говорю, вы можете представить, в каком я состоянии. Дети здоровы и прошу для них благословения» (1 марта).

В другом письме Натали писала, что имеет «намерение приехать в Москву единственно для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение»; но не сложилось. В августе Сергей Львович сам приезжал навестить свою невестку. «Я провел десять дней у Натальи Николаевны. Нужды нет описывать вам наше свидание. Я простился с ней как с дочерью любимою без надежды ее еще увидеть, или лучше сказать в неизвестности, когда и где я ее увижу. Дети — ангелы совершенные, с ними я проводил утро, с нею день семейственно» (С. Л. Пушкин — князю П. А. Вяземскому). Не предполагал Сергей Львович, что в 40-е годы будет часто бывать у невестки в Петербурге, и она будет заботиться об одиноком и больном старике…

Около двух лет прожила Наталья Николаевна в Полотняном Заводе в том самом Красном доме, в котором она провела счастливейшие две недели с Пушкиным. Очень тепло к ней относились все родные. «Береги сестру, дорогой брат, Бог тебя вознаградит», — писал Иван Николаевич Дмитрию. Наталья Ивановна очень скоро приехала и прожила с дочерью два месяца. Жизнь текла тихо и монотонно. Изредка праздновались дни рождения или именины, сестры много читали, переписывались с петербургскими и московскими друзьями. Несколько раз навещал вдову своего друга Нащокин, летом 1837 года приезжал Жуковский, дважды Наталья Николаевна ездила вместе с детьми к матери в Ярополец. Она выписала в Заводы все сочинения Пушкина и пыталась их читать, но у нее не хватало мужества: «Слишком сильно и мучительно они волнуют — все равно что слышать его голос, а это так тяжело».

Зрела мысль переселиться в Михайловское, в тот любимый Пушкиным уголок земли, где теперь покоился прах его. Наталья Николаевна стала хлопотать перед Опекой о выкупе для ее детей поместья (всего долгов Пушкина Опекой было уплачено 120 тысяч).

Летом 1838 года начались разговоры о возвращении Натальи Николаевны с семьей в Петербург. Ей было очень тяжело принять

такое решение, но она пошла навстречу настояниям тетушки Загряжской, которая считала Наталью Николаевну «дочерью своего сердца» и очень скучала без нее. «Тетушка здесь и она мне сказала, что уже сняла дом, чтобы заставить сестер приехать», — писал Иван Николаевич брату Дмитрию 13 октября 1838 года.

Екатерина Ивановна подумала и об Александре, о которой уже ходатайствовала перед императрицей о принятии ее во фрейлины. Александра вновь стала обретать уверенность в будущем и просила сестру не лишать ее счастья устроить свое замужество. Наталья Николаевна, любя Александру, не могла противиться и ее просьбам. И наконец, начатые Опекой хлопоты по выкупу Михайловского также требовали ее присутствия в столице…

Перед отъездом в Петербург сестры навестили свою мать и уже из Петербурга Александра сообщила брату: «Дорогой Дмитрий, ты просил меня сообщить тебе о приеме, оказанном нам в Яропольце. Должна тебе сказать, что мы расстались с матерью превосходно. Она была трогательна с нами, добра, ласкова, всячески заботилась о нас. Мы пробыли у нее сутки». В письме была приписка от Натальи Николаевны: «…не говорю об матери, сестра уже все подробно описала; одним словом, она с нами обошлась как нельзя лучше, и мы расстались со слезами с обеих сторон».

Снова сестры оказались в Петербурге, но теперь их было двое, а Натали в свои 26 лет должна была стать опорой своему немалому семейству. Главу семьи уже невозможно назвать легко и беспечно — Натали… Теперь она — Наталья Николаевна.

Трудно представить, чтобы она забыла свою старшую сестру Екатерину Николаевну. После смерти мужа внезапный и трагический разрыв с ней стал второй незаживающей раной сердца. Наталья Николаевна не писала ей, но переписывались Дмитрий Николаевич и Наталья Ивановна, и она не могла не знать, что происходит в далеком Сульце, где поселилась сестра со своим мужем. После дуэли Дантес провел два месяца в Петропавловской крепости и по суду был лишен «чинов и приобретенного им Российского дворянского достоинства» и как иностранец был выслан из России. В открытой телеге, разжалованный, сопровождаемый жандармом, он был довезен до границ Российской империи и встретился с последовавшей за ним чуть позже беременной женой в Бердине. Барон де Геккерен сам написал голландскому королю просьбу об отозвании его с занимаемого поста, более всего желая, чтобы государь Николай I не был «обманут клеветой в этом грустном деле».

Семейственная жизнь молодых Дантесов-Геккеренов под

покровительством двух отцов — родного и приемного протекала в атмосфере взаимной любви и доверия, о чем свидетельствует множество документальных и устных свидетельств потомков.

Первый их ребенок родился 19 октября 1838 года, и дата рождения опровергает ходившие слухи, что Дантес вынужден был жениться, «прикрывая грех». Затем родились еще две девочки, но желанного наследника не было. Екатерина очень хотела мальчика, который потом и стал причиной ее смерти: она умерла от родовой горячки спустя месяц после родов.

Первым эту весть сообщил родным Геккерен-старший. «Наша добрая, святая Катрин угасла утром в воскресенье около 10 часов на руках у мужа. Это ужасное несчастье постигло нас 15 октября (1843 г.). Я могу сказать, что смерть этой обожаемой женщины является всеобщей скорбью. Она получила необходимую помощь, которую наша церковь могла оказать ее вероисповеданию (слова, говорящие о том, что Екатерина не перешла из православия в католичество. — Н.Г.). Впрочем, жить, как она жила, это гарантия блаженства. Она, эта благородная женщина, простила всех, кто мог ее обидеть, и в свою очередь попросила у них прощения перед смертью».

Екатерина де Геккерен умерла 34 лет от роду и похоронена в фамильном склепе баронов Дантесов в Сульце. Жорж остался тридцатилетним вдовцом с четырьмя детьми и дожил до глубокой старости, став богатым и известным во Франции человеком, сенатором. Храня верность своей супруге, больше никогда не женился и умер 83 лет в родном доме, окруженный детьми, внуками и правнуками.

В Петербурге Наталья Николаевна жила скромно и уединенно. Красота ее нисколько не поблекла, в ней появилось что-то новое, одухотворенное… «Бог мой, как она хороша, эта мадам Пушкина, — она в высшей степени обладает всеми теми целомудренными и умиротворяющими свойствами, которые тихо привлекают взгляд, пробуждают в сердце того, кто их наблюдает, мысль, я бы сказал, почти религиозную. Жаль, что ее лицо так серьезно, но когда по временам на ее губах мелькает улыбка, как ускользающий луч, тогда в ее ясных глазах появляется неизъяснимое выражение трогательной доброжелательности и грусти, а в ее голосе есть оттенки нежные и немного жалобные, которые чудесным образом сочетаются с общим ее обликом…» — восхищался современник, встретив Наталью Николаевну после долгого отсутствия.

Поначалу все ее посещения ограничивались родными, да еще семейством Карамзиных, Вяземских, Мещерских и других

ближайших друзей Пушкина. Появления ее даже в этом узком кругу знакомых отмечались как события. 10 декабря 1840 года Плетнев пишет Гроту: «В 11 часов вечера поехал к Карамзиным. Там было все, что только есть прекраснейшего между дамами в Петербурге, начиная с Пушкиной, поэтши, да молодой Соллогуб». Из других писем известно, что ездила Наталья Николаевна и на концерты, бывала и на придворных балах, но находилась всего лишь — на хорах, наблюдая оттуда, как танцует сестра-фрейлина.

По-дружески был очень близок ей кн. Вяземский, который до известной степени как бы руководил ею в сношениях с обществом, часто бывал у нее, звал к себе в семью, сопровождал в театры и на вечера. Шутливо он писал о ней: «Наша барыня со дня на день прекрасней, милее и ненагляднее, она и всегда была такая красавица, что ни пером описать, ни в сказке не рассказать, но теперь нашла на нее такая тихая и светлая благодать, что без умиления на нее не взглянешь» (1840).

И все-таки уединенная сельская тишина неудержимо влекла к себе «поэтшу». Лето 41-го и почти полгода 42-го она вместе с детьми провела в Михайловском. И если бы дом был пригоден для жилья в зимнее время, она осталась бы там и на больший срок. В один из приездов Наталья Николаевна поставила памятник на могиле мужа.

В 1843 году она впервые после смерти Пушкина появилась при дворе. Художник Гау, присланный Ее Величеством, написал портрет молодой вдовы.

«Силою обстоятельств Наталья Николаевна понемногу втянулась в прежнюю светскую жизнь, хотя и не скрывала от себя, что для многих это служит лишним поводом упрекнуть ее в легкомыслии и равнодушном забвении. Но она не в силах была устоять деспотическому влиянию тетушки, настаивавшей на принятии любезных или лестных приглашений и не допускавшей даже мысли об отклонении от чести появляться при Дворе. А император часто осведомлялся о ней у престарелой фрейлины, продолжая принимать живое участие в ее судьбе, интересуясь изданием сочинений Пушкина, входя в материальное положение осиротевшей семьи и выражая желание, чтобы Н.Н. по-прежнему служила одним из лучших украшений его царских приемов. Одно появление ее при Дворе обратилось в настоящий триумф. В залах Аничкова дворца, взамен обычных танцевальных вечеров, на которые ввиду их интимности добивались приглашения как знака высочайшей милости, состоялся костюмированный бал в самом тесном кругу. Екатерина Ивановна выбрала и подарила племяннице чудное одеяние в древнееврейском стиле — по известной картине, изображавшей Ревекку… Как только начались

танцы, Николай Павлович, заметя ее высокий рост, направился к Н.Н. и, взяв за руку, повел к императрице, сказав во всеуслышанье: «Смотрите и восхищайтесь!» Александра Федоровна послушно навела лорнет на нее и со своей доброй чарующей улыбкой ответила: «Да, прекрасна, в самом деле прекрасна! Ваше изображение таким должно бы было перейти к потомству» (А. П. Арапова).

История с Гриффео и другие…

Пространные письма писал пятидесятилетний князь Петр Андреевич Вяземский тридцатилетней Наталье Николаевне Пушкиной. На правах старинного друга поэта он пытается предостеречь от «опасности» молодую женщину, вдову Пушкина. «Я всегда вам говорил, что вы должны остерегаться иностранцев…» О чем речь?

На первом листке письма рукой Натальи Николаевны сделана надпись: «Aff Grif» — это сокращенное от Aff(aire) Grif(feo), по-русски — история с Гриффео. «Истории» в самом деле никакой не было. Этот Гриффео — граф, дипломат, секретарь неаполитанского посольства был поклонником Натальи Николаевны, встречался с ней в салоне Карамзиных, но никаких ответных чувств у нее не вызвал.

Граф Гриффео оказывал внимание красавице Пушкиной, видимо, без серьезных намерений. Поняв, что с ней нельзя ожидать легкого романа, он вскоре увлекся другой женщиной, о чем Вяземский сообщает Наталье Николаевне в самых язвительных выражениях: «Гриффео уезжает из Петербурга на днях; его министр уже прибыл, но я его еще не встречал. Чтобы немного угодить вашему пристрастию к скандалам, скажу, что сегодня газеты возвещают в числе отправляющихся за границу: Надежда Николаевна Ланская». Так ли это или только странное совпадение имен?

Надежда Николаевна Ланская была женой Павла Петровича Ланского, брата будущего мужа Натальи Николаевны. Газетное сообщение намекало на то, что Надежда Николаевна оставила своего мужа и уехала с Гриффео за границу. Бракоразводный процесс длился более двадцати лет. И случилось так, что сын Надежды Николаевны, оставленный матерью, впоследствии нашел приют в семье Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской. В ее письмах 1849 года часто встречается имя Паши Ланского…

Спустя некоторое время князь Петр Андреевич Вяземский снова берется за перо для очередного предостережения… Письмо в высшей степени откровенное, дерзкое, интригующее, интересное во многих отношениях. «Ваши друзья — ваши ярые враги», «любовь, которую я к вам питаю»… На этом письме Наталья Николаевна, не опасаясь быть скомпрометированной, поставила помету: «Aff(aire) Alex(andre)» — история с Александром. Вяземский отмечал, что вдова Пушкина сумела «придать достоинство и характер святости своим поведением», однако настоятельно советовал воздержаться от посещения

салона Карамзиных, в котором в свое время так любил бывать Пушкин, чувствуя глубокую дружескую привязанность к жене историка Карамзина Екатерине Андреевне. (Она была внебрачной дочерью князя Андрея Ивановича Вяземского, стало быть, сестрой князя Петра Андреевича Вяземского.)

Но в 40-е годы изменился характер этого литературного салона. Пушкин умер; женился и уехал за границу Жуковский; неохотно стал бывать там Плетнев, который признавался Жуковскому: «.. В зиму у Карамзиных был только два раза… Всех нас связывала и животворила чистая светлая литература. Теперь этого нет. Все интересы обращены на мастерство богатеть и мотать. Видно, старое доброе время никогда к нам не вернется». Светскую гостиную теперь наполняли в основном товарищи по полку братьев Карамзиных и светские знакомые Софьи Николаевны, дочери Екатерины Андреевны, фрейлины императрицы. «…Едва ли не главным интересом С. Н. Карамзиной была светская жизнь с ее развлечениями и интригой, сложной сетью отношений, сплетнями и пересудами. Судить о других — вернее, осуждать их зло и насмешливо — Софья Николаевна была большая мастерица, и об этом знали все и говорили в «свете», считая ее злоязычной и любопытной», — писал о ней известный пушкинист Н. В. Измайлов. В свое время Екатерина Дантес обвиняла Карамзиных в несчастьях, происшедших в семье Пушкина, и тоже уговаривала Наталью Николаевну воздерживаться от посещения этого салона.

Но для Вяземского интрига ныне состояла в другом, несомненно он ревновал. Александр Карамзин, Alex, увлекался Натальей Николаевной еще при жизни Пушкина, каждую субботу у нее завтракал. Сколько бы не приводил князь «доказательств и фактов» зложелательства Карамзиных к вдове Пушкина, она оставалась верна усвоенному с детства принципу: «Старайся до последней крайности не верить злу или что кто-нибудь желает тебе зла»… Если даже Софья Карамзина по привычке и «предавала семейные шутки нескромной гласности», другими словами, сплетничала о Наталье Николаевне, то та дочери знаменитого историка сострадала как несчастной женщине. Софье Николаевне исполнилось уже сорок лет, красавицей она никогда не была…

Друг Пушкина Вяземский не мог не знать, что кроме Александра Карамзина у Натальи Николаевны был другой ухажер, также Alex — князь Александр Сергеевич Голицын, штабс-капитан лейб-гвардии конной артиллерии, сослуживец братьев Карамзиных, стало быть, и посетитель известного салона. Он сватался к Наталье Николаевне, об этом рассказывает

А. П. Арапова:

«…Года за два до ее второго замужества Наталье Николаевне представилась возможность сделать одну из самых блестящих партий во всей России. В нее влюбился князь Г. [6], обладатель колоссального состояния, вопрос о средствах (вдовы-бесприданницы Н. Н. Пушкиной. — Н.Г.), конечно, не мог играть тут никакой роли, но он вообще не любил детей, а чужие являлись для него подавно непосильным бременем. Мальчики еще казались меньшим злом, так как приближалось время, когда они должны были поступить в учебные заведения, но с девочками пришлось бы возиться, иметь их вечно перед глазами. Единственным исходом было заручиться обещанием воспитывать их в детском отдельном апартаменте, при первой возможности поместить их в институт — тем легче, что по смерти Пушкина государь предоставил Наталье Николаевне выбор в любой из них.

Мать всегда была убежденным врагом институтского воспитания, находя, что только родной глаз может следить зорко за развитием детского ума и сердца, что только нежная опытная рука способна посеять и вывести добрые семена. И достаточно было подосланному лицу только заикнуться о придуманном плане устранения преграды, чтобы она наотрез заявила:

— Кому мои дети в тягость, тот мне не муж!

Князь не сумел оценить это материнское самоотвержение, предпочел ему эгоистический покой и прекратил свои посещения».

«Вряд ли нашлось бы много женщин, — продолжает дочь Натальи Николаевны, — способных отклонить богатых женихов в те самые минуты, когда стесненность в средствах проявлялась каждый день. Ничего нет тяжелее вращаться в кругу богатых людей, когда каждая копейка на счету… Наталья Николаевна пользовалась некоторым кредитом в магазине Погребова в Гостином дворе, и ввиду этого все необходимое забиралось там. Уплата иногда затягивалась долее обыкновенного, и тогда появлялся сам хозяин, прося доложить о нем. Горничная или няня, не желая ее беспокоить, в особенности если это совпадало с периодом острого безденежья, пытались отговорить его, доказывая, что если речь идет об уплате по счету, то это будет лишь напрасный труд, так как денег из деревни еще не высылали и неоткуда их взять.

— Не в деньгах дело, — с достоинством отвечал кредитор, — я в них не нуждаюсь, но хочу лично видеть Наталью Николаевну, чтобы от них самих узнать, чувствуют ли оне мое одолжение?

Это требование являлось законным, мать немедленно принимала его, своим приветливым голосом благодарила за

оказанное доверие и добродушное терпение. Под обаянием ее любезностей он уходил вполне удовлетворенный словами до той поры, когда являлась возможность удовлетворить его деньгами.

Этот анекдот с годами превратился в поговорку. Нас всех так потешала оригинальность этой мысли, что часто, оказывая друг другу просимую услугу, мы прибавляли в шутку: «Хорошо, только чувствуешь ли ты это?»

Кажется, все женихи, предлагая Наталье Николаевне свою руку, в глубине души держали этот самый вопрос: «чувствует ли она одолжение», помнит ли, что она вдова-бесприданница, да еще и с четырьмя малолетними детьми.

Один из самых изящных и красивых российских дипломатов Н. А. Столыпин, «приехав в отпуск в Россию, при первой встрече был до того ошеломлен красотой Н. Н., что она грезилась ему днем и ночью, и с каждым свиданием чувство его все сильнее разгоралось.

Но грозный призрак четырех детей неотступно вставал перед ним: они являлись ему помехою на избранном дипломатическом поприще, и борьба между страстью и разумом росла с каждым днем… он понял, что ему остается только одно средство противустоять безрассудному, по его мнению, браку, — это немедленное бегство. К нему-то он и прибегнул. Не дождавшись конца отпуска, он наскоро собрался, оставив в недоумении семью и друзей, и впоследствии, когда заходила речь о возможности побороть сильное увлечение, он не без гордости приводил свой собственный пример».

Петр Бутафорыч

До самого второго замужества Натальи Николаевны не оставлял ее в покое князь Петр Андреевич Вяземский. Тонкий, умный поэт, которому Пушкин посвятил знаменитые четыре строки:

Судьба свои дары явить желала в нем,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род с возвышенным умом
И простодушие с язвительной улыбкой.

Вяземский продолжал писать вдове поэта длинные нудные письма, в которых постоянно присутствовали необоснованные претензии, навязчивые нравоучения, путаные исповеди. Всё говорило о том, что в душе Петра Бутафорыча — так он называл себя в письмах к Наталье Николаевне — смута. Свою влюбленность князь старался замаскировать дружеским участием; он был человеком женатым. Почти ежедневно являясь к обеду семейства Пушкиных, он не принимал в них участия и сидел часа полтора «мебелью». Часто бывал и вечерами, встречался с Натальей Николаевной у знакомых. Бывало, она не выдерживала настойчивых ухаживаний Вяземского и давала понять, что это ей неприятно. Вслед за этим она получала от него очередное письмо-жалобу. «Вы так плохо обходились со мной на последнем вечере вашей тетушки, что я с тех пор не осмеливаюсь появляться у вас и еду прятать свой стыд и боль в уединении Царского Села… Если я вам нужен для ваших протеже, дайте мне знать запиской… Ваша покорнейшая и преданная жертва. Вяз.»

Постепенно снова устанавливалось равновесие, и это придавало князю смелости, его письма опять наполнялись намеками, нравоучениями и сомнительными нежностями: «Целую след вашей ножки на шелковой мураве, когда вы идете считать гусей своих», «Прошу верить тому, чему вы не верите, то есть тому, что я вам душевно предан», «Вы мое солнце, мой воздух, моя музыка, моя поэзия», «Спешу, нет времени, а потому могу сказать только два слова, нет три: я вас обожаю! нет четыре: я вас обожаю по-прежнему!», «Любовь и преданность мои к вам неизменны и никогда во мне не угаснут, потому что они не зависят ни от обстоятельств, ни от вас».

Так оно и было… Петр Андреевич, попав в плен своих нежных чувств, никак не желал отрезвляться, несмотря на

недвусмысленные ответы Натальи Николаевны: «…Не понимаю, чем заслужила такого о себе дурного мнения, я во всем, всегда, и на все хитрые вопросы с вами была откровенна, и не моя вина, если в голову вашу часто влезают неправдоподобные мысли, рожденные романтическим вашим воображением, но не имеющие никакой сущности. У страха глаза велики».

И все-таки почему Наталья Николаевна несколько лет терпела излияния Вяземского, его назойливые посещения, поддерживала, насколько возможно дружеские отношения с семьями Карамзиных и Вяземских?

«…Законы света были созданы против нее (против женщины. — Н. Г.), и преимущество мужчины в том, что он может не бояться», — писала в одном из писем Н. Н. Пушкина. Она прекрасно понимала, что общественное мнение — огромная сила, которая однажды уже навалилась непомерной своей тяжестью на ее семейный мир и поколебала его до самого основания. Ее детям предстояло жить, вращаясь в светском обществе. Ради их будущего было необходимо соблюдать светские условности и приличия, поддерживать необходимые связи, тем более что пока она была одна — вдова с четырьмя детьми без искреннего защитника и покровителя ее интересов. Салон Карамзиных в определенных кругах в большой степени формировал это самое общественное мнение.

Но остановиться лишь на таком объяснении мотивов поведения Натальи Николаевны было бы несправедливо. Вяземский признавал: «Вы (Н. Н. Пушкина. — Н.Г.) слишком чистосердечны, слишком естественны, слишком мало рассудительны, мало предусмотрительны и расчетливы…» Голого расчета никогда не было в поступках Н. Н. Пушкиной. Более всего она полагалась на движения чуткого своего сердца. А сердце подсказывало ей, что Вяземский необычный человек. Князь был представителем старинного рода, происходившего из Рюриковичей. В середине XIX века таких родов в России было по пальцам перечесть — они угасали… Из восьмерых детей Петра Андреевича семеро умерли в младенческом и молодом возрасте. Это не могло не омрачать жизнь князя с его уважаемой Пушкиным супругой Верой Федоровной, с которой они прожили вместе 67 лет…

Петр Андреевич был первым, кто оценил талант Пушкина. О 16-летнем гении 22-летний Вяземский писал Батюшкову: «Что скажешь о сыне Сергея Львовича? Чудо и всё тут. Его «Воспоминания» вскружили нам голову с Жуковским. Какая сила, точность в выражении, какая твердая и мастерская кисть в картине. Дай Бог ему здоровия и учения, и в нем будет прок, и

горе нам. Задавит, каналья!»

Впоследствии Вяземский был сам известен и признан как поэт. Вяземского считали одним из духовных руководителей Декабрьского восстания 1825 года, недаром декабрист Рылеев писал ему: «Вам не должно забывать, что однажды выступив на такое прекрасное поприще, какое вы себе избрали, дремать не должно! давайте нам сатиры, сатиры, сатиры». О «прекрасном поприще» есть отзыв и агента III Отделения: «Образ мыслей Вяземского может быть достойно оценен по одной его стихотворной пьесе «Негодование», служившей катехизисом заговорщиков». Вяземский, разделяя некоторые декабристские взгляды, от революционных обществ держался вдали, и остался, отчего заслужил прозвище «декабриста без декабря».

«К счастью, он мыслит, что довольно редко между нами», — заметил однажды о своем друге Пушкин. И чем глубже размышлял Вяземский, тем дальше отходил от своего первоначального романтического и туманного взгляда на свободу.

После гибели Пушкина в стихах Вяземского появились мотивы одиночества и тоски о прошлом, всё более усиливающиеся с годами, ознаменованными чредою нескончаемых утрат:

Смерть жатву жизни косит, косит
И каждый день, и каждый час
Добычи новой жадно просит
И грозно разрывает нас…

Как много сверстников не стало,
Как много младших уж сошло,
Которых утро рассветало,
Когда нас знойным полднем жгло…

А мы остались, уцелели
Из этой сечи роковой,
Но смертью ближних оскудели
И уж не рвемся в жизнь, как в бой…

Сыны другого поколенья,
Мы в новом — прошлогодний цвет:
Живых нам чужды впечатленья,
А нашим — в них сочувствий нет.

Они, что любим, разлюбили,

Страстям их — нас не волновать!
Их не было там, где мы были,
Где будут — нам уж не бывать!

Наш мир — им храм опустошенный,
Им баснословье — наша быль,
И то, что пепел нам священный,
Для них одна немая пыль.

Так, мы развалинам подобны,
И на распутии живых
Стоим, как памятник надгробный
Среди обителей людских.

В поисках поддержки Вяземский невольно потянулся к Наталье Николаевне Пушкиной, которая, как он сам понимал, в труднейших обстоятельствах собственной жизни сумела придать своему существованию «достоинство и характер святости», тот пример «святости» был необходим ему, как воздух, ежедневно, ежечасно…

Ревность Вяземского ко всем претендентам на ее руку была именно «духовного свойства». Он боялся, что вместе с Натальей Николаевной он навсегда лишится того, что его, еще живого и страдающего, связывает с памятью Пушкина, с его творческой энергией, о которой Вяземский с восхищением писал: «Труд был для него святыня, купель, в которой исцелялись язвы… восстанавливались расслабленные силы. Когда чуял он налет вдохновения, когда принимался за работу, он успокаивался, мужал, перерождался». В свои кризисные годы 1840-х годов Вяземский искал, кто бы сдвинул его с мертвой точки…

Вдова Пушкина — свидетельница многих кризисных дней своего великого мужа, чуткая душа, понимала и состояние Вяземского и жалела его, как она жалела всех, кто нуждался в ее помощи. Вот причина, по которой Наталья Николаевна терпела Вяземского, его навязчивую «дружбу».

Когда она вторично вышла замуж, то у Карамзиных бывать перестала, и сам князь прекратил назойливые посещения. Наталья Николаевна изредка переписывалась с ним, нечасто встречалась у общих знакомых. Такое положение дел устраивало, как видно, обоих. «Карамзиных я очень редко вижу, — писала Н. Н. Пушкина-Ланская Вяземскому в 1853 году, — самой некогда въезжать, княгиня (Е. Н. Мещерская — дочь Карамзиных. — Н.Г.) всегда больна… Софи все бегает, но к нам никогда не попадает.

Вечера их, говорят, многочисленны, но я на них ни разу не была».

Военный, средних лет, генерал, темноволосый…

В своих воспоминаниях А. П. Арапова, «ручаясь за достоверность, потому что слышала от самой матери», приводит рассказ о событии, происшедшем за несколько месяцев до смерти Пушкина.

«Произошло это вечером, дома. Мать сидела за работой; он (Пушкин. — Н. Г.) провел весь день в непривычном ему вялом настроении. Смутная тоска обуяла его: перо не слушалось, в гости не тянуло и, изредка перекидываясь с нею словом, он бродил по комнате из угла в угол. Вдруг шаги умолкли, и, машинально приподняв голову, она увидела его стоявшим перед большим зеркалом и с напряженным вниманием что-то разглядывающим в него.

— Наташа! — позвал он странным сдавленным голосом. — Что это значит? Я ясно вижу тебя, и рядом — так близко! — стоит мужчина, военный… Этого я не знаю, никогда не встречал. Средних лет, генерал, темноволосый, черты неправильны, но недурен, стройный, в свитской форме. С какой любовью он на тебя глядит! Да кто ж это может быть? Наташа, погляди!

Она, поспешно вскочив, подбежала к зеркалу, на гладкой поверхности которого увидела лишь слабое отражение горевших ламп, а Пушкин еще долго стоял неподвижно, проведя рукою по побледневшему лбу. Очнувшись на ее вопросы, он вторично описал приметы появившегося незнакомца, и, перебрав вместе немногочисленных лиц царской свиты, с которыми приходилось встречаться, пришли к заключению, что никто из них не походит на портрет.

Пушкин успокоился. Он даже облегченно вздохнул; ему, преследуемому ревнивыми подозрениями относительно Геккерена, казалось, что видение как будто устраняет его. Мать же, заинтересовавшись в первую минуту, не подобрав никого подходящего между знакомыми, приписала все грезам разыгравшегося воображения…

Лишь восемь лет спустя, когда отец предстал пред ней с той беззаветной любовью, которая и у могилы не угасла, и она услышала его предложение, картина прошлого воскресла перед ней с неотразимой ясностью. Загробный голос Пушкина словно звучал еще, описывая облик таинственного видения, и молниеносно блеснуло в уме: «Это было предопределение».

Внешне генерал Петр Петрович Ланской выглядел именно так, как увидел незнакомца Пушкин; сорокапятилетний, темноволосый, стройный, приятной наружности. Особым знаком царской милости было его назначение прямо из свиты Государя командиром лейб-гвардии Конного полка, шефом которого состоял Николай I; так что была на генерале и «свитская форма».

Встреча будущих супругов произошла зимой 1844 года. Поводом послужило следующее обстоятельство. Осень 1843 года Ланской провел в Баден-Бадене, куда доктора направили его лечиться после долгой, изнурительной болезни. Его сразила легкомысленная измена женщины, которой он посвятил безраздельно лучшие годы молодости. В Бадене Петр Петрович постоянно встречался с Иваном Николаевичем Гончаровым, средним братом Натальи Николаевны, который привез на курорт свою больную жену. Когда Ланской решил возвращаться на родину, то Иван Николаевич попросил его передать сестре письмо и посылку. С этим поручением генерал Ланской нанес первый визит Наталье Николаевне в Петербурге.

Иван Николаевич был особенно дружен с Натальей Николаевной, и потому Ланской был принят радушно и с живейшим интересом. При расставании он получил приглашение бывать в доме. Что произошло дальше, вспоминает А. П. Арапова:

«В течение зимы посещения эти все учащались, и с каждым разом он все более и более испытывал ее чарующее обаяние. В сердце, иссушенном отвергнутой страстью, незаметно всходили новые побеги, пробуждалась жажда другого, тихого счастья. И невольно вспоминались тогда слова женщины, влияние которой даже и разрыв не мог уничтожить: «С сентиментальностью вашего ума и верностью привязанностей, соперничающей с плющом, во всем мире существует только одна женщина, способная составить ваше счастье, это Наталья Пушкина, и на ней-то вам следовало жениться».

Благодаря подобным размышлениям, мысль о браке незаметно вкралась в голову закоренелого холостяка… Пробудившаяся любовь все громче заявляла свои права, внутренний голос настойчиво твердил: ты обрел свое счастье, не упускай его! А время шло, наступила весна. Наталье Николаевне советовали повезти детей на морские купания, и, соблазнившись пребыванием четы Вяземских в Гельсингфорсе, она сговорилась с ними туда поехать. Все приготовления были уже сделаны, день отъезда назначен, даже билеты на всю семью заблаговременно взяты в мальпост.

Отец пришел к заключению, что эта разлука послужит ему на пользу. Вдали от обворожительной красавицы ему легче будет

обсудить положение и хладнокровно взвесить шансы pro и contra предполагаемого шага. Если, — размышлял он, — за три-четыре месяца чувство его только сильнее разовьется, то никакие преграды его не остановят, и он уже обдуманно и сознательно решит свою судьбу. Пустой случай, в котором он не преминул узнать Промысел Божий, всегда ему покровительствовавший, мгновенно разбил все доводы рассудка и привел его к неожиданному, но желанному концу, за который он не переставал благодарить Провидение до последней минуты своей долгой жизни.

За два дня до отъезда Наталья Николаевна, лежа на кушетке, читала книгу… Поспешно встав, она подвернула ногу… Доктор констатировал вывих щиколотки и предписал лежачее положение и безусловный отдых на несколько недель. Путешествие пришлось отложить. Знакомые разъехались. Отец чуть не ежедневно стал навещать одинокую больную. Он имел основание ожидать скорого назначения командиром армейского полка в каком-нибудь захолустье, что могло бы сильно осложнить воспитание детей Пушкиных, как вдруг ему выпало негаданное, можно оказать, необычайное счастье.

Особым знаком царской милости явилось его назначение прямо из свиты командиром лейб-гвардии Конного полка, шефом которого состоял Государь, питая к нему особое благоволение.

Обширная казенная квартира, упроченная блестящая карьера расширяли его горизонт, и, не откладывая дальше, он сделал предложение».

Очевидно, это было в мае 1844 года. Заметим здесь важное обстоятельство: Ланской еще до женитьбы имел чин генерала и командовал Конногвардейским полком. Дело в том, что в пушкиноведении достаточно было намеков на то, что он «пошел в гору» только благодаря женитьбе на Пушкиной, к которой «благоволил» император.

Наталья Николаевна приняла предложение. Главным в ее решении был, несомненно, вопрос об отношении будущего мужа к детям от первого брака. Ответ на него, надо полагать, был удовлетворительным. Об этом свидетельствуют все родственники — в переписке, возникшей между ними в преддверии важного события…

«Я начну свое письмо, дорогой Дмитрий, с того, чтобы сообщить тебе большую и радостную новость: Таша выходит замуж за генерала Ланского, командира Конногвардейского полка. Он уже не очень молод, но и не стар, ему лет 40… у него благородное сердце и самые прекрасные достоинства. Его обожание Таши и интерес, который он выказывает к ее детям,

являются большой гарантией их общего счастья. Но я никогда не кончу, если позволю себе хвалить его так, как он того заслуживает…» (из письма Александры Николаевны брату Дмитрию, начало июня 1844 года)

Родители Натальи Николаевны благожелательно отнеслись ко второму браку дочери и безо всяких сомнений, как это было с первым браком, дали свое благословение. Они были уверены, что «новый член, который в нее входит, со всеми его моральными качествами, может принести только счастье, а оно нам так нужно после стольких неприятностей и горя…» (Наталья Ивановна — сыну Дмитрию, 1844 г.)

Но прежде чем мы нарисуем картину этого счастья, вернемся к дням трагическим. Мало кто из исследователей интересуется жизнью Ланского до его женитьбы. Однако, возможно, он был одним из тех, кто невольно, но существенным образом повлиял на ход событий, дал толчок движению интриги…

Версия

Женщина, которой Петр Петрович «безраздельно посвятил свои лучшие годы» и которая так «легкомысленно изменила ему», была незаконная дочь графа Строганова Идалия Полетика. Она же и сказала ему язвительные, как казалось при разрыве, слова: «…во всем мире существует только одна женщина, способная составить ваше счастье — это Наталья Пушкина, и на ней-то вам следовало жениться», многолетняя любовница знала, что говорила…

Долговременная связь Ланского и Полетики была известна многим, в том числе, надо полагать, и ее мужу, кавалергардскому полковнику Александру Михайловичу Полетике, который был приятелем Дантеса. Про Идалию современники отзывались в том духе, что «она была известна в обществе как очень умная женщина, но с весьма злым языком, в противоположность своему мужу, которого называли «Божьей коровкой», «она олицетворяла тип обаятельной женщины не столько миловидностью лица, как складом блестящего ума, веселостью и живостью характера, доставлявшими ей всюду постоянный несомненный успех».

Идалия и Натали познакомились летом 1831 года после переезда Пушкиных в Петербург. Сближению сильно способствовало то обстоятельство, что отец Идалии, граф Григорий Строганов, был кузеном матери Натальи Николаевны. Вплоть до 1836 года в письмах Пушкина к жене Идалия упоминается всегда в самых дружеских выражениях. И совершенно непонятным, необъяснимым феноменом оказалась возникшая вдруг враждебность и ненависть Идалии к Пушкиным, впервые проявившаяся в подстроенном ею свидании Дантеса и Натали 2 ноября 1836 года, оказавшимся катастрофическим по своим последствиям…

Когда Наталья Николаевна вышла замуж за Ланского, барон М. А. Корф, как и Пушкин, лицеист первого выпуска, записал в своем дневнике: «После семи лет вдовства вдова Пушкина выходит замуж за генерала Ланского… Ланской был прежде флигель-адъютантом в Кавалергардском полку и недавно произведен в генералы. Злоязычная молва утверждала, что он жил в очень близкой связи с женою другого кавалергардского полковника Полетики. Теперь говорят, что он бросил политику и обратился к поэзии».

А. П. Арапова вспоминает, что до брака ее отец «…всецело поглощенный службой посвящал свои досуги Идалии Григорьевне, чуждался светской жизни, и только по обязанности

появлялся на придворные балы, где видел издалека прославленную красавицу Пушкину…» Не мог он, 37-летний флигель-адъютант и полковник блестящего Кавалергардского полка, не заметить ее, первую красавицу Петербурга и близкую подругу своей любовницы, на знаменитых балах августа 1836 года в зале минеральных вод Каменного острова, невдалеке от которого после длительных маневров летним лагерем расположились кавалергарды. А если неоднократно видел, то не мог ли влюбиться?

И тогда уместно предположить, что та самоотверженная, глубокая и искренняя любовь, которую питал Петр Петрович к своей жене во все время брака, возникла гораздо раньше их первой встречи в 1844 году, и до срока таилась от посторонних людей, и крепла в мужественном сердце военного. При этом становится понятным, почему полковник Ланской поддерживал дружеские отношения с поручиком лейб-гвардии Гусарского полка Иваном Николаевичем Гончаровым, средним братом Натальи Пушкиной. Эта дружба, неравная ни по чину, ни по летам, глядела в будущее… Именно Иван Гончаров в конце концов познакомил Ланского с сестрой.

Итак, версия. Предположим, что полковник Ланской влюбился в Натали Пушкину еще в 1836 году. Что из этого следует? Идалия Полетика, женщина наблюдательная, умная и темпераментная, сразу же почувствовала неладное. Видимо, Ланской охладел к своей возлюбленной, вызвав в ней нескрываемую ревность. Ланской не умел притворяться. По отзывам современников, он был человек прямодушный, известный тем, что даже царю говорил правду в глаза. Так или иначе, состоялось решительное объяснение, при котором открылось имя соперницы: Наталья Пушкина! Любовникам предстояла долгая разлука: Ланской получил приказ отправиться в четырехмесячную командировку на Украину «для наблюдения за набором рекрут». 16 октября 1836 года он выехал из Петербурга, оставив Идалию в состоянии мучительной неопределенности по поводу дальнейших их отношений. Надо полагать, она по-своему любила молчаливого, красивого, сдержанного кавалергарда и решила во что бы то ни стало вернуть, привязать его к себе покрепче. «Если я кого люблю, то люблю крепко и навсегда», — писала она впоследствии.

По светским салонам уже распространялись слухи, что красавец Дантес волочится за Натали. Сам он, вероятно, неоднократно рассказывал своей приятельнице Полетике о безумной любви к петербургской красавице Пушкиной, но ему даже встретиться с ней негде: всё на людях, всё на виду…

Представился случай убить сразу двух зайцев: свести влюбленного Дантеса с Натали и тем самым опорочить ее имя. Если на Ланского и это не подействует, то она, Идалия, хотя бы отомстит сопернице. Вот и весь план, созревший в ревнивом сердце. И если свидание всё же состоялось, то дело происходило так…

2 ноября, спустя две недели после отъезда Ланского, Идалия пригласила к себе ничего не подозревавшую Наталью Пушкину, которая, придя к ней на квартиру в кавалергардских казармах, застала вместо нее Дантеса. Тот, недолго думая, достает пистолет и угрожает застрелиться, если она ему не отдастся. Наталья Николаевна быстро удалилась с места свидания, «вся впопыхах» явилась к жене Вяземского и рассказала ей о новых домогательствах Дантеса. Возвратившись домой, поведала о случившемся своей сестре Александрине. Больше никто не знал об этом свидании.

Тем не менее 4 ноября Пушкин получил «диплом» рогоносца, который был послан накануне из мелочной лавки, ближайшей к Нидерландскому посольству. «Дипломы» в двойных конвертах, надписанные нарочито измененным почерком на имя Пушкина, получили и его друзья, члены карамзинского кружка, за исключением Дантеса, который стал его завсегдатаем с весны 1836 года. Заметим, что Идалию Полетику в этом кружке не принимали, но она была хорошо осведомлена обо всех его членах и об отношениях между ними.

Получалось, что пресловутые «дипломы» разве что только пальцем не указывали на Дантеса, а вместе с ним и на его приемного отца, нидерландского посла барона Геккерена. Пушкин, обратившись к жене за разъяснением, услышал от нее рассказ о злополучном свидании… Вывод напрашивался сам собой: Дантес мстил, раздосадованный неудачей, Натали.

«Это мерзость против жены моей», — было слово Пушкина, и тут он не ошибся. Просчеты были дальше. В письме к Бенкендорфу от 4 ноября поэт с уверенностью сообщает: «По виду бумаги, по слогу письма, по тому, как оно было составлено, я с первой же минуты понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего общества, от дипломата. Я занялся розысками». Далее — никаких конкретных «розыскных» действий, вместо них эмоции, подогреваемые «большинством лиц».

Последняя, наиболее квалифицированная графологическая экспертиза двух сохранившихся «дипломов», проведенная в 1987 году во Всесоюзном НИИ судебных экспертиз, показала, что их адресовало и писало одно лицо: не иностранец, то есть человек, для которого французский не был родным языком, и

принадлежавший к светскому кругу. Экспертиза сняла обвинение с князей Долгорукова и Гагарина, которых долгое время обвиняли в авторстве. Не в интересах Дантеса и Геккерена было писать «дипломы», ибо дуэль (как это и подтвердили дальнейшие события) оказалась бы для них жизненной катастрофой, отнимая у Дантеса Натали или жизнь, а у Геккерена — приемного сына или дипломатический пост, основу их положения в обществе и дальнейшей карьеры.

Кто-то другой усиленно наводил на них подозрения, «подставлял» их. Как и Пушкин, этот аноним был эмоционален, что проявилось в самый момент написания. На это указывают характерные детали. Так, в одном экземпляре «диплома» после слов «историографом ордена» — несколько восклицательных знаков, а в конце выведен чрезмерный росчерк, который почитался тогда проявлением неуважения, если он присутствовал в письме к мужчине, а в письме к женщине — вовсе не допускался. Барон Геккерен, слывший человеком холодным и рассудочным, такую вольность не мог себе позволить.

Быстрота, с которой «дипломы» были составлены, размножены и разосланы членам узкого кружка, а главное — специально изготовленная почтовая печатка на сургуче внешнего пакета с символами, красноречиво иллюстрирующими содержание «диплома», другие тщательно продуманные детали, отводящие подозрения от подлинного автора и направляющие их на Дантеса и Геккерена (что позволило ему оставаться вот уже более полутора веков не разоблаченным) — все это указывает на то, что «дипломы» не были импровизацией, а заранее спланированной акцией. Автор имел достаточное время на ее подготовку.

«…Гнусный шутник, причинивший его (Пушкина) смерть, не выдумал даже своей шутки, а получил образец от какого-то члена дипломатического корпуса и списал…» — утверждал в своих «Воспоминаниях» В. А. Соллогуб. Свидетельство того, что печатные образцы подобных «шутовских дипломов» были привезены из Вены в Петербург кем-то из иностранных дипломатов, бросало тень почему-то только на Геккерена. Однако отец Идалии Полетики — обер-камергер двора и крупный дипломат — мог вполне иметь соответствующую заготовку.

Кажется, достаточно оснований, чтобы предъявить Идалии Полетике обвинение в написании пасквильного «диплома». Она не иностранка, принадлежала к светскому обществу, умела и любила интриговать. (Кстати, есть сведения, что ее мать в молодости занималась шпионажем.) С ее точки зрения, у нее были все основания прибегнуть к интриге, понадеявшись на свой

ум и отбросив «условности» морали.

Идалия была абсолютно уверена в связи Пушкина с Александрой Николаевной (Александриной); именно она является источником этой гнусной сплетни. По ее словам, сама Александрина, сестра жены Пушкина, рассказала ей об этом. Это была явная ложь, но Идалия до конца дней своих твердила, что Пушкин стрелялся из-за преступной своей любви к Александрине, вернее — из-за боязни, что Дантес увезет ее вместе с женой Екатериной во Францию.

Подстраивая свидание, Идалия должна была уверять Дантеса, что дуэли не будет, так как Пушкин любит сестру жены, а не жену, давая тем самым и большие авансы на благосклонность Натали к Дантесу. «Александрина невероятно потолстела с тех пор, как… Спросите у своего мужа, что я имею в виду, — он поймет меня», — писала Идалия в 1839 году Екатерине Дантес в Сульц.

Вопреки расчетам Идалии события ноября 1836 года развивались не по предполагаемому плану… Проведя краткое самостоятельное расследование, Пушкин вечером 4 ноября посылает Дантесу вызов. Если Идалия Полетика была инициатором подстроенного свидания, то первый, к кому должен был обратиться Дантес, была именно она, жена сослуживца и приятеля, в доме которых он — частый гость.

Вызов на дуэль, несмотря на «любовь» Пушкина к Александрине, спутал все карты Идалии, она стала лихорадочно искать выход из непредвиденной ситуации. И возможно, именно к ней пришла идея женитьбы — ход, надо признать, блестящий, дерзостный, неожиданный, совсем в ее стиле. Женитьба формально устраняла подозрения Пушкина, спасала дипломатическую карьеру Геккерена, отводила от Дантеса дуло пистолета, а от нее — всякие подозрения в соучастии. Все свое красноречие Идалия употребила на то, чтобы убедить Дантеса: нет иного выхода, кроме женитьбы.

Екатерина была не первая претендентка на роль невесты. 5 ноября Дантес отправился к княжне Барятинской, сестре своего приятеля, с которой он флиртовал на балах. Но та приняла его холодно, ревнуя к Натали. Предложения не последовало. Только позднее всплыло имя влюбленной в Дантеса Екатерины. И если раньше Геккерен не давал благословения на этот брак, теперь он вынужден был это сделать для водворения мира между дуэлянтами. Как мы знаем, свадьба состоялась после отмены дуэли. Никто не ожидал, что последует второй раунд… Дантес позже сравнивал январский вызов на дуэль с «черепицей на голову».

Что же должна была чувствовать Идалия, если она на самом деле сделалась невольной убийцей поэта! «Мне кажется, что все то, что произошло, — это сон, но дурной сон, если не сказать кошмар… Мне нездоровится, и вы будете смеяться, когда я вам скажу, что больна от страха», — писала арестованному Дантесу Идалия. Вина перед ним могла водить ее рукой, когда она выводила такие строчки: «Ваше тюремное заключение заставляет кровоточить мое сердце».

Когда Екатерина Дантес передавала Идалии дорогой прощальный подарок от мужа, который уже был разжалован в солдаты и выдворен из России, то та «не могла утешиться и плакала, как безумная».

Что это? Откуда неуместное безумие? Не совесть ли мучит интриганку?

Она долго не могла успокоиться, поехала в длительное путешествие по Италии, но из Милана пишет, что «как затравленная крыса бегает по кладбищам, театрам и церквам».

Ланской вернулся к ней и, возможно, долго утешал ее в непонятном ему горе. В конце концов, она сама не выдержала и совершила «легкомысленную измену», которая привела Ланского к болезни и к полному разрыву с долголетней любовницей. От своей страсти он излечился рядом с Натальей Николаевной. Она знала об увлечении, вероятно, неоднократно говорила о ней с Петром Петровичем, чувствуя его терзания. Возможно, она и ревновала, потому что и спустя семь лет после их встречи писала мужу: «А ты сам помнишь ли, как ты был холостяком, — я называю холостяцкой жизнью тот период, когда ты был один после твоего страстного увлечения, — твое сердце было ли удовлетворено, не искало ли оно другой привязанности, и когда вы, ты и Фризенгоф (муж сестры Александры Николаевны. — Н. Г.), твердите мне обратное, скажу вам, что вы говорите вздор. Последний, не успев овдоветь, как принял в качестве утешения любовь Александрины, и перспектива женитьбы на ней заставила его забыть всю свою горестную утрату…»

Идалия Полетика прожила 83 года, пережив и Пушкина, и Наталью Николаевну, и П. П. Ланского, но не Дантеса, жизнь которого уложилась, к удивлению, в те же самые временные рамки — 83 года. (Идалия Полетика умерла в 1890, Дантес — в 1895 году.)

Ненависть и презрение к памяти Пушкина мучили ее всю оставшуюся жизнь. Узнав, что в Одессе, где она доживала свой век, собираются поставить памятник Пушкину (в 1888 году), Идалия Григорьевна кричала, называя его извергом, и обещалась

поехать и плюнуть на его статую. Она всегда была на стороне Дантеса, переживая, что поломала его карьеру в России и женила его на «ручке от метлы» (как называли злые языки Екатерину Николаевну Гончарову).

От ее портрета (кисти П. Ф. Соколова) трудно отвести глаза, как отмечают все исследователи. Справедливо замечание «прекрасна, как ангел небесный, как демон, коварна и зла». Существуют подлинники писем И. Г. Полетики 1837–41 годов. Дело — за графологической экспертизой ее почерка.

Мы же закроем эту тему, напомнив, что близкие Пушкину люди не простили Идалии Полетике того рокового свидания, которое она устроила Дантесу на своей квартире. Е. Н. Мещерская (дочь историка Н. М. Карамзина), увидев Идалию после смерти Пушкина, устроила ей «бурную сцену», повторяя: «Теперь вы довольны!» Старая тетка Н. Н. Пушкиной Е. Н. Загряжская не могла скрыть своего негодования при встрече с ней. Сама Идалия писала об этом в 1838 году: «…она скрежещет зубами, когда должна здороваться со мной».

Наталья Николаевна никогда больше не переступила порога ее дома.

Глава пятая
Второе замужество

«Выходи за порядочного человека…»

Итак, прошло более семи лет со дня смерти Пушкина, прежде чем его 32-летняя вдова могла безбоязненно доверить свою жизнь и жизни четверых детей от первого брака «порядочному человеку», новому супругу. Ни на йоту не преступила она границ предсмертного завета своего великого мужа: «Поезжай в деревню, носи по мне траур два года, а потом выходи замуж за порядочного человека». Возможно, только в последние два дня своей жизни поэт явственно осознал, что оставляет свою любимую «женку» в отчаянном положении: по-прежнему необыкновенная красавица, но с преследующим ее шлейфом светских пересудов, сплетен и обвинений; в расцвете блистающей своей молодости, но вдова; мать четверых малолетних детей, но без твердого материального обеспечения, наконец, женщина определенного, близкого ко Двору круга, но без прочного положения в обществе.

За время траура пересуды как будто бы улеглись. Наталья Николаевна, вернувшись в Петербург ровно через два года — в январе 1839-го, жила вдали от света, встречаясь только с друзьями покойного мужа. Она вела себя безукоризненно, отвергла, за неимением настоящего чувства, несколько блестящих предложений.

В канун Рождества 1841 года Наталья Николаевна, выбирая подарки своим детям, неожиданно встретилась с царем, который изволил с ней милостиво разговаривать, а впоследствии выразил тетке ее, фрейлине Екатерине Николаевне Загряжской, пожелание, чтобы Наталья Николаевна, как и прежде, украшала своим присутствием царские балы. Она действительно стала появляться на них, и это обстоятельство стало причиной нового витка сплетен о том, что якобы быстро забыла мужа, о том, что «у Николая завязались с Натальей Николаевной очень нежные отношения, результаты которых пришлось покрыть браком с покладистым Ланским», который к тому же сделал карьеру благодаря этому браку… Чего только не говорили!

Прав, тысячу раз был прав Пушкин, у которого перед смертью ныло всё существо: «Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском».

Что касается брака с Ланским, мы уже отмечали, что ко времени женитьбы на вдове Пушкина его карьера была вполне успешной; познакомился он с будущей женой, минуя царя, — через среднего брата Натальи Николаевны Ивана Николаевича, а нравственные качества генерала аттестовались всеми родными

невесты однозначно и единодушно: «…у него благородное сердце и самые прекрасные достоинства», он «со всеми его моральными качествами может принести только счастье».

И все-таки, прежде чем мы приступим к описанию этого тихого счастья, приведем забавный эпизод — один из тех, на которых основывались легенды вокруг имени Натальи Николаевны. Как правило, это были не свидетельства очевидцев, а «сенсационные открытия» позднейших самодеятельных «пушкинистов», нацеленных на свои собственные выгоды.

Легенда о связи Натальи Николаевны с царем, в частности, опиралась на следующее событие, записанное в начале века двадцатого В. Е. Якушкиным. В Московский исторический музей однажды пришел неизвестный человек и предложил купить у него золотые часы с вензелем Николая I. За эти часы он запросил огромную по тем временам сумму в 2000 рублей. Сотрудники музея не скрывали своего удивления, тогда неизвестный открыл вторую, секретную крышку часов, в которую был вмонтирован миниатюрный портрет Натальи Николаевны. По словам владельца, часы принадлежали его деду, а дед служил камердинером у Николая I и, когда царь умер, взял эти часы, «чтобы не было неловкости в семье». Неизвестному было объявлено, что о его предложении следует подумать. Его попросили прийти в другой раз за ответом… Он ушел, и с тех пор ни о нем, ни о часах ничего не известно.

Уважаемый, известный пушкинист Д. Д. Благой дал этому эпизоду следующее объяснение: «Скорее всего часы были ловкой подделкой в расчете, что на такое сенсационное предложение клюнут и сразу же — сгоряча — согласятся за любую цену их приобрести». А на сколько таких — сгоряча — сенсаций все-таки клюнули и возвели в разряд непреложного факта?..

В течение долгих десятилетий о втором замужестве Натальи Николаевны старались не писать — тема была неблагодарная и отчасти даже неприличная для истории развития русской национальной литературы: вдове Пушкина не прощали того, что она якобы забыла Пушкина и с легкостью сменила знаменитую фамилию. Потомки отказали ей в благодарной памяти, еще не зная и той малой правды, которая содержалась в существовавшем, но не открытом эпистолярном наследии Натальи Николаевны. Только в 60-е годы XX столетия И. М. Ободовская и М. А. Дементьев, разбирая богатый архив семьи Гончаровых (который насчитывал свыше 10 тысяч единиц хранения за период от конца XVII до начала XX веков), обнаружили неизвестные письма сестер Гончаровых — Натальи, Екатерины и Александры к брату Дмитрию, письма родителей

Натальи Николаевны и ее братьев Ивана и Сергея. Исходя из них, образ «тщеславной кокетки» сильно побледнел, лучше не сказать — совсем рассыпался.

Опубликованные письма Натальи Николаевны к своему второму мужу П. П. Ланскому довершают ее столь долго писавшийся портрет чистыми и яркими красками: жена Пушкина была умна, жертвенна, любима обоими мужьями и щедра теплотой своего сердца ко всем близким. Письма вдовы Пушкина периода ее второго замужества бросают свет на годы жизни с поэтом. Она, щадя чувства Петра Петровича Ланского, редко упоминала имя Пушкина, но не могла скрыть, как дороги ей дети его, родственники и друзья.

Осмелимся сделать предположение, что детей Пушкина Наталья Николаевна любила более, чем детей Ланского. И сам П. П. Ланской имел всегдашний повод для ревности Натальи Николаевны к памяти Пушкина… но никогда не решался воспрепятствовать тому обету, который, видимо, дала его законная жена: еженедельно воспоминать умершего строгим постом: «.. один из дней недели, именно пятницу (день кончины поэта — пятница 29 января 1837 года) она предавалась печальным воспоминаниям и целый день ничего не ела. Однажды ей пришлось непременно быть у Пащенко в одну из пятниц. Все заметили необыкновенную ее молчаливость, а когда был подан ужин, то вместо того, чтобы сесть, как все остальное общество, за стол, она ушла одна в залу и там ходила взад и вперед до конца ужина. Видя общее недоумение, муж ее (П. П. Ланской) потихоньку объяснил причину ее поступка, сначала очень удивившего присутствующих…» (Л. Н. Спасская)

Сделав эти вынужденные отступления от темы, попытаемся изобразить то, что, в сущности, невозможно передать… Как замечает по тому же поводу А. П. Арапова: «Для лиц, интересующихся дальнейшей судьбой матери, я могу добавить весьма немногое, почерпнутое из собственных воспоминаний. Недаром сложился французский афоризм: у счастливых народов нет истории. Жизнь ее, вступив в обыденную колею, не заключала выдающихся событий…»

Но у нас есть письма Натальи Николаевны, полные ощущениями и описаниями своего счастья, которое она так просто и ясно определила в одном из посланий Петру Петровичу Ланскому: «Союз двух сердец — величайшее счастье на земле». Союз этот основывался на единомыслии и любви — к детям, друг к другу, к памяти Пушкина, к жизни и ко всем ее проявлениям. Впрочем, пусть более всего об этом говорит сама Наталья Николаевна…

«Чувство, которое соответствует нашим летам…»

Единомыслие супругов проявилось с самого первого серьезного решения. Дозволение на женитьбу по сложившимся правилам Петр Петрович должен был испросить у своего высшего начальника — шефа лейб-гвардии Конного полка и Государя, приближенным подданным которого был генерал. Наталья Николаевна не желала присутствия на ее венчании царя, и будущий супруг согласился с ее доводами, навлекая на себя тем самым возможную немилость…

Историческую запись находим в воспоминаниях А. П. Араповой:

«Когда отец явился к Государю с просьбой о дозволении ему жениться, Николай Павлович ответил ему:

— Искренне поздравляю тебя и от души радуюсь твоему выбору! Лучшего ты не мог бы сделать. Что она красавица, это всякий знает, но ты сумел оценить в ней честную и прямую женщину. Вы оба достойны счастья, и Бог пошлет его вам. Передай своей невесте, что я непременно хочу быть у нее посаженным отцом и сам благословить ее на новую жизнь».

16 июля 1844 года после полудня скромный кортеж направлялся пешком в приходскую церковь Стрельны — летней стоянки Конного полка. Несмотря на так ясно выраженное желание царя, мать уклонилась от этой чести. Она не скрывала от себя, что ее второе замужестве породит много толков и осуждений и ей не простят, что она сложила с себя столь прославленное имя, и хотя присутствие Государя, осеняя ее решение могучим покровительством, связало бы не один ядовитый язычок, она предпочла безоружно выйти на суд общественного мнения и настояла, чтобы свадьба состоялась самым незаметным, тихим образом.

Почти никто не знал о назначенном дне, и кроме самых близких, братьев и сестер с обеих сторон, не было ни одного приглашенного. Невеста вошла в церковь под руку с женихом, более чем когда-либо пленяя своим кротким видом и просветленной красотой».

При венчании с Пушкиным упало на пол с аналоя Евангелие и потухла свеча, что он воспринял как дурное предзнаменование. При венчании с Ланским будто бы «сам собою» зазвонил колокол. Только после обряда дело выяснилось:

«Молодой граф, впоследствии князь, Николай Алексеевич

Орлов, состоявший в то время закорпусным камер-пажом, очень был заинтересован свадьбою своего будущего командира со вдовою Пушкина и тщетно старался проникнуть в церковь, строго охраняемую от посторонних. Но препятствия только раздражали его любопытство и, надеясь хоть что-нибудь разглядеть сверху, он забрался на колокольню, в самую торжественную минуту он задел за большой колокол, раздался громкий удар, а Орлов с испугу и растерянности не знал, как остановить звон… Когда дело объяснилось, он, страшно сконфуженный, извинился перед новобрачными, и это оригинальное знакомство с моей матерью послужило первым звеном той дружеской близости со всей нашей семьей, которая не прекращалась до той поры, когда служебная деятельность удалила его из России…»

Когда Ланской явился объясняться с царем по поводу состоявшейся без него свадьбы, Николай I ответил:

— Довольно! Я понимаю и одобряю те соображения, которые делают честь чуткости ее души!

Таким образом Наталья Николаевна связала свою судьбу с военным. И несмотря на то что стала «генеральшей», испытала участь всех «воинских» жен, мужья которых должны были выполнять приказы и следовать туда, куда зовет воинский долг, именно благодаря долгим разлукам супругов мы теперь имеем возможность судить о их чувствах друг к другу.

Ланской любил свою жену глубоко и преданно, это чувствовала и понимала Наталья Николаевна, потому и писала ему постоянно благодарные письма: «Благодарю тебя за заботы и любовь. Целой жизни, полной преданности и любви, не хватило бы, чтобы их оплатить. В самом деле, когда я иногда подумаю о том тяжелом бремени, что я принесла тебе в приданое, и что я никогда не слышала от тебя не только жалобы, но что ты хочешь в этом найти еще и счастье, — моя благодарность за такое самоотвержение еще больше возрастает, я могу только тобою восхищаться и тебя благословлять…»

«Ко мне у тебя чувство, которое соответствует нашим летам, сохраняя оттенок любви, оно, однако, не является страстью, и именно поэтому это чувство более прочно, и мы закончим наши дни так, что эта связь не ослабнет…»

«Ты стараешься доказать, мне кажется, что ревнуешь. Будь спокоен, никакой француз не мог бы отдалить меня от моего русского. Пустые слова не могут заменить такую любовь, как твоя, внушив тебе с помощью Божией такое глубокое чувство, я им дорожу. Я больше не в таком возрасте, чтобы голова у меня кружилась от успеха. Можно подумать, что я понапрасну прожила 37 лет. Этот возраст дает женщине жизненный опыт, и я могу

дать настоящую цену словам. Суета сует, все только суета, кроме любви к Богу и, добавлю, любви к своему мужу, когда он так любит, как это делает мой муж. Я тобою довольна, ты — мною, что же нам искать на стороне, от добра добра не ищут» (10 сентября 1849 г.).

Следуя старой привычке, Наталья Николаевна обо всем рассказывала своему мужу и, видимо, несколько раз в своих письмах упомянула о некоем французе-поклоннике, что не осталось незамеченным Ланским. Ему приходилось по долгу службы отсутствовать дома целыми месяцами и, возможно, не раз в голову приходили ревнивые чувства — это не мудрено: он знал, как действует на мужчин красота и обаяние супруги. Но, очевидно, он весьма осторожно и туманно, в отличие от Пушкина, высказывается о недостойных христианина, благородного и любящего мужа подозрениях, боясь оскорбить или смутить жену. Но стараясь исключить любую недомолвку в супружеских отношениях, она заглядывает в самые тайники сердца: «стараешься доказать, мне кажется, что ревнуешь». Памятуя, в чем ее обвиняли в молодости, она еще и еще раз убеждает мужа:

«Я слишком много страдала и вполне искупила ошибки, которые могла совершить в молодости; счастье, из сострадания ко мне, снова вернулось вместе с тобою».

Об этой ошибке, которую Наталья Николаевна «могла» совершить, она поведала перед смертью воспитательнице детей Ланских, женщине, «посвятившей младшим сестрам и мне всю жизнь и внушавшей матери такое доверие, что на смертном одре она поручила нас ее заботам, прося не покидать дом до замужества последней из нас», как писала А. П. Арапова. Эта женщина, Констанция, видимо, потом рассказывала Александре Петровне Ланской-Араповой, о покаянных словах Натальи Николаевны: «Видите, дорогая Констанция, сколько лет прошло с тех пор, а я не переставала строго допытывать свою совесть, и единственный поступок, в котором она меня уличает, это… свидание, за которое муж мой заплатил кровью, а я — счастьем и покоем всей своей жизни. Бог свидетель, что оно было столь же коротко, сколько невинно. Единственным извинением мне может послужить моя неопытность на почве сострадания… Но кто допустит его искренность?»

Счастье все же «вернулось» к исстрадавшейся душе. Но если оно «вернулось», значит, оно было — в ее первой любви к Пушкину. Сколько раз, должно быть, перечитывала Наталья Николаевна его признание: «Не можешь вообразить, какая тоска без тебя», «Конечно, друг мой, кроме тебя в жизни моей утешения нет — и жить с тобой в разлуке так же глупо, как и тяжело».

Утешение может дать только любящая и любимая женщина… Тот, кто не испытал подобного, может и дальше продолжать обвинять Наталью Николаевну в том, что она не любила Пушкина, и доказывать, что не была с ним счастлива. Она была с ним счастлива…

Второй брак принес другое — ровное и тихое счастье. И «несмотря на то, что я окружена заботами и привязанностью всей моей семьи, иногда такая тоска охватывает меня, что я чувствую потребность в молитве. Эти минуты сосредоточенности перед иконой, в самом уединенном уголке дома, приносят мне облегчение. Тогда я снова обретаю душевное спокойствие, которое часто принимали за холодность и меня в ней упрекали. Что поделаешь? У сердца есть своя стыдливость».

Отчего же тоска? От того, может, что часто вспоминалась картина, «разрывающая душу», о которой помнил и секундант Пушкина К. К. Данзас: «Когда этот болезненный припадок аппетита был удовлетворен, жена Пушкина вышла из кабинета. Выходя, она, обрадованная аппетитом мужа, сказала, обращаясь к окружающим: «Вот вы увидите, что он будет жив». В отсутствие ее началась агония, она была почти мгновенная, потухающим взором обвел умирающий поэт шкапы своей библиотеки, чуть внятно прошептал: «Прощайте, прощайте», — и тихо уснул навсегда. Госпожа Пушкина возвратилась в кабинет в самую минуту смерти…

Наталья Николаевна Пушкина была красавица. Увидя умирающего мужа, она бросилась к нему и упала перед ним на колени: густые темно-русые букли в беспорядке рассыпались у ней по плечам. С глубоким отчаянием она протянула руки к Пушкину, толкала его и, рыдая, вскрикивала: «Пушкин, Пушкин, ты жив?!»

Со столь трагическими воспоминаниями долго невозможно расстаться. Возможно, всю жизнь они не отпускали Натали… Тяжкий, тяжкий крест выпал на ее долю.

Второй муж, как мог, охранял ее от воспоминаний, потому единомыслие было и в образе жизни супругов: «Втираться в интимные придворные круги — ты знаешь мое к тому отвращение; я боюсь оказаться не на своем месте и подвергнуться какому-либо унижению. Я нахожу, что мы должны появляться при дворе, только когда получаем на то приказание, в противном случае лучше сидеть дома спокойно. Я всегда придерживалась этого принципа и никогда не бывала в неловком положении. Какой-то инстинкт меня от этого удерживает» (из письма Натальи Николаевны П. П. Ланскому, 1849 год).

И все же в «неловкое» положение, независимо от воли,

Наталья Николаевна попадала неоднократно в местах совершенно непредсказуемых. Об одном эпизоде рассказывает А. П. Арапова, аттестуя его как «пустяшный», однако «неизгладимо запечатлевшийся в моем уме, так как мое шестнадцатилетнее мышление сразу постигло вечно сочащуюся рану, нанесенную матери тем прошлым, о котором все близкие тщательно избегали ей напоминать». Семейство находилось «на водах» за границей в Гейдельберге. Жили в большой гостинице. «Обедающих было немного. Мы занимали один конец стола, а на противоположном собиралась группа из восьми до десяти русских студентов и студенток. Курсистки в ту пору не существовали. Мы изредка глядели на них, они с своей стороны наблюдали за нами, но знакомства не завязывали… Когда я проходила однажды по опустелой и уже приведенной в порядок комнате, мне бросилась в глаза оставленная книга. Схватить ее и влететь в гостиную, где находились родители и сестры, было делом одной минуты.

— Посмотрите! — радостно воскликнула я. — Русская книга и разогнута как раз на статье о Пушкине. — «В этот приезд в Москву, — стала я громко читать, — произошла роковая встреча с Натальей Николаевной Гончаровой, той бессердечной женщиной, которая погубила всю его жизнь».

— Довольно, — строго перебил отец, — отнеси сейчас на место. Что за глупое любопытство совать нос в чужие книги!

Я тут только сообразила свою оплошность и виновато взглянула на мать. Я до сих пор не забыла ее смертельную бледность, то выражение гнетущей скорби… она закрыла лицо руками и, пока я поспешно выходила, до моего слуха болезненным стоном долетело:

— Никогда меня не пощадят, и вдобавок перед детьми!

Напрасно страдала она мыслью уничижения перед нами, зная, что часто нет судей строже собственных детей. Ни одна мрачная тень не подкралась к ее светлому облику, и частые обидные нападки вызывали в нас лишь острую негодующую боль…»

Наталья Николаевна, по ее собственным словам, «давно, давно, пока еще жизнь не сломила» была «беззаботная, доверчивая, веселая». Ее дочь утверждает: «Несмотря на то, что ее вторая семейная жизнь согласием и счастьем сложилась почти недосягаемым идеалом, веселой я ее никогда не видела. Мягкий ее голос никогда порывом смеха не прозвучал в моих ушах, тихая, затаенная грусть всегда витала над нею. В зловещие январские дни она сказывалась нагляднее; она удалялась от всякого развлечения, и только в усугубленной молитве искала облегчения страдающей душе».

Эту постоянную «затаенную грусть» должен был чувствовать и Петр Петрович. И не только чувствовать, но и ясно понимать причину этой грусти… Понимать и мириться с тем, что сердце его жены часто обращено в прошлое, а дети Пушкина ей так дороги, что она и на короткий срок не соглашалась оставить их одних, чтобы поехать к мужу. Это положение вещей она и называла тем «тяжелым бременем, что я принесла тебе в приданое», в котором Ланской хочет «найти еще и счастье».

«Ты мне говоришь о рассудительности твоего довода. Неужели ты думаешь, что я не восхищаюсь тем, что у тебя так мало эгоизма. Я знаю, что была бы тебе большой помощью, но ты приносишь жертву моей семье. Одна часть моего долга удерживает меня здесь, другая призывает к тебе; нужно как-то отозваться на эти оба зова сердца, Бог даст мне возможность это сделать, я надеюсь».

«Не беспокойся об элегантности твоего жилища. Ты знаешь, как я нетребовательна (хотя и люблю комфорт, если могу его иметь). Я вполне довольствуюсь небольшим уголком и охотно обхожусь простой, удобной мебелью. Для меня будет большим счастьем быть с тобою и разделить тяготы твоего изгнания. Ты не сомневаешься, я знаю, что если бы не мои обязанности по отношению к семье, я бы с тобой поехала. С моей склонностью к спокойной и уединенной жизни мне везде хорошо. Скука для меня не существует».

Приведенные выдержки из писем Натальи Николаевны мужу во время их длительной разлуки 1849 года, когда полк Ланского стоял в Лифляндии, свидетельствуют о том, что семейные обязанности удерживали ее в Петербурге. Она все пыталась «отозваться на два зова сердца» и первый — по отношению к детям Пушкина пересиливал желание приехать к мужу. Всё лето велась интенсивная переписка. Наталья Николаевна сообщила мужу, что не может приехать, потому что не на кого оставить детей. Она ждет гувернантку и рассчитывает приехать к Ланскому в конце сентября, чтобы к ноябрю вернуться в Петербург, когда нужно будет вывозить Машу в свет. Но между строк звучало, что в июле — августе у мальчиков каникулы, и ей хотелось побыть с ними, а в сентябре Гриша должен был поступать в Пажеский корпус: мать не могла отсутствовать в такой важный момент. И только когда он привыкнет к новой для него жизни, она считала себя вправе ненадолго уехать…

Петр Петрович сочувствовал всем хлопотам жены и терпеливо ждал. В одном он не мог себе отказать… Ланской гордился и восхищался красотой Натальи Николаевны и, по ее

признанию, «окружал себя ее портретами». Однако во многих письмах Натальи Николаевны есть выражение удивления по поводу восторженных отзывов о своей красоте. «Красота от Бога» и ее собственной заслуги в этом нет… Однажды только, отправив Ланскому в подарок ко дню именин свой портрет, Наталья Николаевна в сопроводительном письме сообщила, что послала очень хорошенькую женщину, имея по этому поводу «чуточку тщеславия», в чем «смиренно и признается». Общий же тон очень сдержанный и даже грустный: «Упрекая меня в притворном смирении, ты мне делаешь комплименты, которые я вынуждена принять и тебя за них благодарить, рискуя вызвать упрек в тщеславии. Что бы ты ни говорил, этот недостаток мне всегда был чужд. Свидетель — моя горничная, которая всегда, когда я уезжала на бал, видела, как мало я довольна собою. И здесь ты захочешь увидеть чрезмерное самолюбие, и ты опять ошибешься. Какая женщина равнодушна к успеху, который она может иметь, но клянусь тебе, я никогда не понимала тех, кто создавал мне некую славу. Но довольно об этом, ты не захочешь мне поверить, и мне не удастся тебя убедить» (7 августа 1849 года).

Но если Наталья Николаевна была бы только красивой женщиной — без внутреннего горения, без самоотдачи, без естественного исключительного обаяния, она не привлекала бы к себе столько взоров, она не смогла бы внушить тонкому знатоку женского сердца Пушкину страстную и безграничную любовь… Наталья Николаевна своей доброжелательностью и приветливостью готова была обнять любого, нуждающегося в сочувствии. И эти качества во второй половине ее жизни развились с особою силой. Ее заботы о ближних неустанны.

Известно, что Наталья Николаевна навещала бывшую гувернантку детей, когда та болела, и привозила ей врача; беспокоилась о старике-лакее, прослужившем у нее много лет, и на старости сняла ему комнату поблизости, чтобы не отрывать от семьи. Желая сделать приятное своей гувернантке-англичанке, которую очень любила в детстве, Наталья Николаевна писала ей письма за границу: «…Вернувшись в 9 часов, я села за английское письмо, которое должно быть послано Каролиной сегодня. Ко всеобщему и моему удивлению, я прекрасно с ним справилась, не знаю, право, как я вспомнила построение английских фраз, ведь уже прошло 17 лет, как я упражнялась в языке. В общем, все получилось неплохо, и моя гувернантка будет иметь право гордиться мною». Об этих поступках Натальи Николаевны мы знаем из писем, и они — как верхушка айсберга, основная часть которого скрыта от взгляда…

Были ли у нее недостатки? Конечно, как и у всякого человека.

Но недостатки Натальи Николаевны — продолжение ее достоинств. Безмерная ее доброта оборачивалась иногда слабохарактерностью. Любовь к детям порой не знала границ и переходила в баловство. Особенно это касалось Ази — той самой Александры Петровны Араповой, которая написала так часто цитируемые здесь воспоминания. Она была первым ребенком Ланского и росла очень живой и своенравной, причиняя много беспокойства всем родным. Отец обожал ее…

В отсутствие Ланского Наталья Николаевна, бывало, не могла справиться со слугами, которые пьянствовали в доме и устраивали драки. Жалуясь на это в письмах к мужу, она сама же и умоляла не показывать и вида, что он об этом знает, потому что «я была бы в отчаянии, если бы кто-нибудь мог считать себя несчастным из-за меня».

Очевидно, не могла Наталья Николаевна повлиять на сестру, которая осталась жить с ней и вносила постоянный разлад в семейную жизнь. «Привыкшая никогда не разлучаться с матерью, она (Александра Николаевна Гончарова. — Н. Г.) мучила ее своею ревностью, за которой, может быть, таилось чувство зависти: ее сестра нашла себе двух мужей, в то время как она сама как будто была обречена на несносную для нее судьбу старой девы. Живя в доме зятя, она чуждалась его общества, обращалась с ним сухо и свысока и днями сидела у себя в комнате, требуя, чтобы мать не оставляла ее в одиночестве. Доходило до того, что мать никогда не решалась ни прогуляться, ни прокатиться вдвоем с мужем, чтобы не навлечь на себя сестрин гнев… Тетушка со своей стороны искренно любила мать, но как-то по-своему: эгоизм преобладал в ней. Она считала лишним бороться со своим враждебным чувством, закрывая глаза на тот духовный разлад, который она насаждала в обиходе… Она принимала постоянные уступки, как нечто должное и вполне естественное…»

Такая семейная неурядица продолжалась около семи лет, но Наталья Николаевна, в силу своей привязанности к сестре, не могла даже подумать о том, чтобы попросить Александру Николаевну оставить ее семейный очаг. А что же Ланской? «… Ему был дорог только покой его обожаемой Наташи, и не было жертв, которые бы он не принес в угоду ей…» Лет через десять после замужества Александры Николаевны у нее в замке Бродзяны гостила племянница — младшая дочь Пушкина Наталья Александровна. Однажды, вспоминая прошлое, тетка добродушно заявила ей: «Ты знаешь, я уже давно все простила Ланскому!»

Удивительно все-таки: две сестры до сорока лет почти не разлучавшиеся, вместе выросшие и искренне любившие друг друга, но такие разные по характеру. Наталья Николаевна, в

отличие от Александры Николаевны, постоянно себя корит, критикует, осуждает свои необдуманные поступки. И очень редко осуждает других, наоборот, старается, как правило, найти хоть какие-нибудь оправдывающие обстоятельства в неблаговидном поведении тех или иных лиц… «Я, как всегда, пишу под первым впечатлением, с тем, чтобы позднее раскаяться», «Гнев — это страсть, а всякая страсть исключает рассудок и логику», «Твердость — не есть основа моего характера» — подобных фраз в письмах Натальи Николаевны немало. Не будем судить, насколько справедливы ее упреки в свой адрес, лишь отметим, что они свидетельствуют о постоянной внутренней работе живой души этой знаменитой женщины.

«В память о покойном своем муже…»

«В августе 1853 года, в бытность нашу в Петергофе, отец заболел холерою, сильно свирепствовавшей в Петербурге и окрестностях, — вспоминает А. П. Арапова. — С беззаветным самоотвержением мать ходила за ним, не отходя от постели больного, и ей удалось вырвать его из цепких рук витавшей над ним смерти. Не успел он еще вполне оправиться и набраться сил, как получил приказание, по должности генерал-адъютанта, отправиться в Вятку, для сформирования местного ополчения. Россия стягивала в Кремль последний оплот в борьбе с наседающим врагом (во время Крымской войны 1853–56 годов. — Н. Г.). Относительно службы отец не признавал отговорок, он немедленно собрался в далекий тяжелый путь. Железной дороги, кроме Николаевской, не было; осень уже наступила.

Мать не могла решиться отпустить его одного и, несмотря на пережитое волнение и усталость, на общее недомогание, изредка уже проявлявшееся во всем организме, она храбро предприняла это путешествие. В этом случае, как и всегда, она не изменила своему правилу, никогда не думать о себе, когда дело коснется блага близких… Вятка являлась прототипом провинциального захолустья, по своей отдаленности служившего надежным местом ссылки. Приезд генерал-адъютанта казался таким великим событием, что их чуть не с колокольным звоном встречали. Местный кружок, состоящий из служебного персонала и богатых купцов, приготовился увидеть в лице матери важную, напыщенную светскую даму, и долго не мог прийти в себя от простоты ее, от доброты и отзывчивости, сквозившей в каждом слове, в каждом жесте. Она, в свою очередь, возвращаясь в Петербург, увезла самую теплую память о своих «вятских друзьях», которые без всякого стеснения прибегали к ней, когда требовалась какая-нибудь услуга в далекой столице. И с каким усердием принималась она хлопотать то о помещении девочки в институт, то о определении на службу, то о выслуженной пенсии, то о смягчении наказания… Между прочим, ей удалось оказать большую услугу Салтыкову-Щедрину. Он был сослан в Вятку за свое сочинение «Запутанное дело»

«Среди Вятского общества Ланские особенно сошлись с управлявшим Палатою государственных имуществ Пащенко, состоявшим членом Губернского комитета по созыву ополчения, и его женою и бывали у них совершенно запросто. Мадам Пащенко, женщина редкой доброты, придумала заинтересовать Наталью Николаевну в судьбе Н. Е. Салтыкова-Щедрина, который очень

уважал и любил ее (мадам Пащенко) и был у нее в доме принят, как родной. Она составила план воспользоваться большими связями Натальи Николаевны, чтобы выхлопотать Салтыкову прощение и позволение возвратиться в Петербург. План этот увенчался полным успехом: Салтыков был представлен Наталье Николаевне, которая приняла в нем большое участие (как говорят, в память о покойном своем муже, некогда бывшем в положении, подобном салтыковскому) и решилась помочь талантливому молодому человеку и походатайствовала за него и письменно и лично. Успех не замедлил обнаружиться. Наталья Николаевна уехала из Вятки в январе 1856 года, а в июне того же года Салтыков был уже назначен чиновником особых поручений при Министерстве внутренних дел и возвратился в Петербург» (Л. Н. Спасская, дочь вятского врача, лечившего там Наталью Николаевну).

Ланские прибыли в Вятку в конце сентября, а уже 14 октября Петр Петрович написал письмо-ходатайство министру внутренних дел С. С. Ланскому, своему двоюродному брату…

«Исследователям Салтыкова-Щедрина был давно известен этот эпизод, — замечает Д. Д. Благой, — который прочно, как непреложный, без всяких комментариев вводился ими в биографию Салтыкова; а пушкинисты, в силу своих предубежденных взглядов на жену и вдову Пушкина, просто не обращали на него никакого внимания…»

«Простое, безыскусственное дело…»

«Ты совершенно прав, что смеешься над тем, как я говорю о политике, ты знаешь, что этот предмет мне совершенно чужд. Я добросовестно стараюсь запомнить то, что слышу, но половина от меня ускользает, я определенно не в ладах с фамилиями, поэтому когда решаюсь говорить об этом, то это должно выглядеть смешно. Я более привыкла к семейной жизни, это простое, безыскусственное дело мне ближе, и я надеюсь, что исполняю его с большим успехом…»

«Если бы ты знал, что за шум и гам меня окружает. Это бесконечные взрывы смеха, от которых дрожат стены дома, Саша проделывает опыты над Пашей, который попадается в ловушку, к великому удовольствию всего общества. Я только что отправила младших спать и, слава Богу, стало немного потише…»

«Маленький Павлищев приехал сегодня ко мне, и вот наш пансион теперь в полном составе. Графиня Строганова, которая пришла сегодня к нам, не могла прийти в себя от удивления, сколько у нас народу. Она очень настаивала, чтобы я привела их всех к ней пить чай. С меня и Сашеньки (Александры Николаевны Гончаровой. — Н. Г.) она взяла обещание прийти к ней обедать; мы думаем, что пойдем, когда мадам Стробель (гувернантка) будет здесь, иначе невозможно оставить молодежь предоставленной самой себе…»

«На днях приходила ко мне мадам Нащокина, у которой сын тоже учится в училище правоведения, и умоляла меня посылать иногда в праздники за сыном, когда отсутствует мадемуазель Акулова, к которой он обычно ходит в эти дни. Я рассчитываю взять его в воскресенье. Положительно, мое призвание — быть директрисой детского приюта: Бог посылает мне детей со всех сторон, и это мне нисколько не мешает, их веселость меня отвлекает и забавляет…»

«…Не брани меня, что я употребила твой подарок (видимо, деньги ко дню именин Натальи Николаевны. — Н. Г.) на покупку абонемента в ложу, я подумала об удовольствии для всех. Неужели ты думаешь, что я такая сумасшедшая, чтобы взять подобную сумму и бегать с ней по магазинам. Я достаточно хорошо знаю цену деньгам, принимая во внимание наши расходы, чтобы тратить столько на покупку тряпок. Не упрекай меня, я приняла твой подарок, но хочу разделить его со всеми…»

Кажется, достаточно и этих выдержек из писем Н. Н. Ланской к П. П. Ланскому лета 1849 года, чтобы понять, что же составляет сущность ее политики, главный объект которой, несомненно, —

собственная семья и все, кто так или иначе притягивается к ней. В основном это были дети, по каким-то причинам лишенные родительского тепла — образовался даже целый «пансион», управление которым составляло необходимую потребность и ни с чем не сравнимую радость существования в мире Натальи Николаевны.

Помимо своих семерых детей, у Натальи Николаевны жили племянники первого и второго мужа Лев Павлищев и Паша Ланской. Последнему просто негде было приютиться после побега своей матери за границу с сеньором Гриффео, о котором мы уже упоминали, и Паша нашел почти материнскую ласку в гостеприимном доме Ланских…

Лев Павлищев, сын сестры Пушкина Ольги Сергеевны, занимает особое место в письмах Натальи Николаевны. «Горячая голова, добрейшее сердце, вылитый Пушкин», — говорит она о Льве, восхищаясь живостью его характера. Родная кровь — не иначе можно определить самую сущность отношения тетки к племяннику. Пушкин видел его годовалым младенцем, когда Ольга Сергеевна летом 1835 года приезжала в Петербург. Теперь Лев учился в Училище правоведения и иногда приводил в дом родственников и своих товарищей. Реакция Натальи Николаевны была, как всегда, однозначна: «Ты знаешь, — писала она мужу, — это мое призвание, и чем больше я окружена детьми, тем больше я довольна».

Часто упоминается в письмах Натальи Николаевны Саша Нащокин, сын Павла Воиновича Нащокина, самого близкого друга Пушкина, который был на свадьбе Пушкиных и очень часто встречался с молодоженами во время их жительства в Москве. Павел Воинович специально приезжал в Петербург крестить сына Пушкиных Александра. А в 1849 году, оставляя собственного сына одного в чужом Петербурге, жена Нащокина обратилась к Наталье Николаевне, зная ее доброту и отзывчивость, с просьбой взять шефство над десятилетним Сашей. Саша Нащокин был назван в честь Пушкина, а родившуюся в 1857 году дочь Нащокины назвали Натальей.

«…Вернувшись домой, после чая я прилегла отдохнуть на диван и предоставила мальчикам меня развлекать. Лев Павлищев играл на фортепиано, Гриша и Паша переоделись женщинами и разыгрывали разные комические сценки, очень хорошо, особенно Гриша, у которого в этом отношении замечательный талант…»

«…Перед отъездом я попрощалась со Львом. Бедный мальчик заливался слезами. Я обещала присылать за ним по праздникам, и что он может быть спокоен — я его не забуду. Мы расстались очень нежно…»

«По дороге на Острова я зашла к правоведам, чтобы утешить бедного пленника (Льва Павлищева. — Н. Г.), который умолял меня навестить его в первый же раз, что я буду в городе. Но я не видела его, они были в классе…»

«Забыла тебе сказать, что Лев Павлищев приехал вчера из своей школы провести с нами два дня. Бедный мальчик в совершенном отчаяньи, и достаточно произнести слово «правоведение», как он разражается потоком слез. Его уже бранил директор за то, что он вечно плачет. «Что вы хотите, — сказал мне Лев, — я ничего не могу поделать, достаточно мне вспомнить о парке Строгановых и о том, как мне хорошо живется у вас, как сердце мое разрывается». Этот ребенок меня трогает, в нем столько чувствительности, что можно простить ему небольшие недостатки, которые главным образом состоят в отсутствии хороших манер. Я не смогла удержаться и не сделать замечание Саше (сыну Пушкина. — Н. Г.), что расставаясь с нами, он не испытывал и четвертой доли того горя, что его двоюродный брат. Но, в конце концов, у каждого свой характер, а Саша так жаждет разных перемен и нетерпеливо стремится стать мужчиной. Покинуть родительский кров для него — это уже шаг, который, как он полагает, должен приблизить к столь страстно желаемой им поре…»

«Саша и Лев приехали провести с нами воскресенье. Гриша завтра доедет с братом, чтобы держать экзамен у Ортенберга. Лев, кажется, попривык немного, но еще печален. Я не думаю, что Гриша (который поступал в IV класс Пажеского корпуса. — Н. Г.) будет в таком же отчаянии. В моих то хорошо, что общество мальчиков их не пугает, они умеют с ними ладить; то с одним немножко подерутся, то с другим, и устанавливаются дружеские отношения, а с ними и уважение…»

Подумать только, 150 лет прошло с тех времен, но из-под пера Натальи Николаевны образы детей встают перед нами живыми и непосредственными, в полноте своего детского и юношеского возраста. Чем можно объяснить это?.. Как кажется — несомненным литературным даром и той настоящей и искренней привязанностью к детям, к семье, к мужу, который, в силу служебных обязанностей, должен был надолго отрываться от любимых и родных. Точно и со знанием описывая характеры и привычки детей, их проблемы, Наталья Николаевна вовлекала мужа в процесс воспитания, желая получить от него советы и наставления в «простом и безыскусственном деле» семейной жизни. Надо полагать, что пропавшие письма ее к Пушкину были наполнены тем же духом, только детей было поменьше, да жизненного опыта…

Семейную жизнь и воспитание детей Наталья Николаевна называла «простым» делом только по своему смирению, скрывая свои заслуги, потому что считала исполнение долга жены, матери, хозяйки дома своей первейшей обязанностью. «Счастливый и довольный вид» детей, о котором она частенько сообщает П. П. Ланскому, был конечно же плодом ее постоянных материнских забот и усилий. Наталья Николаевна была в курсе всех событий и переживаний детей, подмечала достоинства и недостатки их характеров, каждую оплошность и достижение переживала как свои собственные, иными словами, была мудрой воспитательницей и наставницей. У нее был определенный взгляд на воспитание, которого она строго придерживалась. Он был выработан давно и вполне сознательно. Еще в 1841 году Плетнев писал об этом: «…Чай пил у Пушкиной (жены поэта). Она очень мило передала мне свои идеи насчет воспитания детей. Ей хочется даже мальчиков до университета не отдавать в казенные заведения. Но они записаны в пажи — и у нее мало денег для исполнения этого плана».

До последней возможности сыновья Натальи Николаевны занимались дома, чтобы мать имела возможность наблюдать за их успехами и здоровьем. Саша Пушкин поступал сразу в четвертый класс гимназии. Ему было уже 12 лет, и он «нетерпеливо стремился стать мужчиной» и «жаждет перемен». Отпуская его из-под своего постоянного надзора, Наталья Николаевна адресовала директору гимназии Постельсу следующее письмо: «Направляю Вам моего сына, которого поручаю Вашему строгому попечению, господин Постельс. Уступая Вам часть своих прав, я рассчитываю на Ваше внимание, так как надеюсь, что он всегда будет его достоин. Ваши советы, я надеюсь, укрепят его в тех принципах, которые я стремлюсь внушить ему с его юных лет; если, храни Бог, он вызовет у Вас неудовольствие, прошу оказать любезность, предупредить меня об этом, и он никогда не встретит во мне ни слабости матери, ни снисхождения, ибо моей обязанностью является помощь Вам в этом трудном деле, которое Вы так усердно и по совести исполняете. Мой сын передаст Вам пакет с вложением официального письма и медицинского свидетельства.

Метрическое свидетельство, как я уже имела удовольствие сказать Вам, находится в деле господина Пушкина — что же касается денег, то в ближайшую субботу Александр принесет 270 рублей. Благоволите, господин Постельс, принять мои чувства признательности. Наталья Ланская».

Судя по всему, Наталья Николаевна была уверена в своем сыне и знала, что он никогда не переступит границ дозволенного,

однако деликатно и тактично просила о самом важном, чтобы любое «неудовольствие» директора становилось известным ей, матери, дабы вовремя исправить злую привычку.

Сыновья Натальи Николаевны были записаны в пажи вскоре после смерти Пушкина — по распоряжению императора Николая I. Петр Петрович Ланской стремился поскорее определить Александра и Григория в Пажеский корпус, заботясь об их карьере. И сразу после окончания учебы оба были зачислены в лейб-гвардии Конный полк под командованием Ланского. «Сегодня утром, едва одевшись, я велела заложить пролетку и, как только мы напились чаю, оторвала от семьи моего бедного Григория. Он оставил нас не без слез, хотя и стремился испытать новый образ жизни. Я поехала в казармы (на казенную квартиру П. П. Ланского при кавалергардских казармах. — Н. Г.)… Там я взяла извозчика, чтобы отвезти моего молодого человека в церковь Всех Скорбящих. Когда мы приехали туда, мы не смогли отслужить молебна, так как священник был в отсутствии, а дьячок нам сказал, что придется ждать более получаса. Я побоялась, что Гриша пропустит час обеда, который бывает в два часа, тогда он остался бы до вечера без кусочка хлеба, потому что он и чаю не выпил. И я решила отложить молебен до воскресенья и, велев ему приложиться к иконе, вернулась в казармы пересесть в экипаж, потому что явиться на извозчике в это аристократическое учебное заведение было бы не совсем прилично. Пажи были уже на учебном плацу, и я немного подождала, потом прибежал Саша. Когда я передавала ему брата, чтобы он представил его начальству, Жерардот через своего офицера попросил у меня разрешения самому мне представиться. Я пошла ему навстречу и рекомендовала ему Григория. Он мне обещал последить за ним, хвалил Сашу. После этого я рассталась с детьми. Несколько раз Гриша бросался мне на шею, чтобы попрощаться. Оба они проводили меня до пролетки, и я вернулась домой с печалью на сердце…»

«Я велела подать завтрак пораньше, чтобы не опоздать поехать в корпус, повидать сыновей. Там я имела счастье узнать, что мой Гага отличается: по-французски получил 10 (по десятибалльной шкале успеваемости), без ошибки написал диктант, по-немецки получил 9, потому что впервые подвергся испытанию по этому языку, а вчера по зоологии получил также 9. Дай Бог, чтобы и впредь было так. Саша тоже имеет хорошие отметки. Признаюсь, это доставляет мне огромное удовольствие, так как я опасалась очень за Гришу…»

«…Покончив дела с гувернанткой, я поехала в Пажеский корпус, и была бесконечно счастлива узнать, что Саша сегодня

утром был объявлен одним из лучших учеников по поведению и учению, и что Философов и Ортенберг очень его хвалили в присутствии всех пажей. Что касается Гриши, он также имел свою долю похвал. Ортенберг подошел к нему, чтобы сказать, что он не думал, что Гриша будет так хорошо заниматься, как он это делает. Ты представляешь, как я была счастлива, я благословляю Бога за то, что у меня такие сыновья, потому что Гриша находится под влиянием брата, хочет ему подражать, и им все довольны. Мальчик уже не имеет апатичного вида, и я начинаю надеяться. Не говорю уж о Саше, оставив мою материнскую гордость, могу сказать — это замечательный мальчик. Да благословит Бог их обоих за ту радость, которую они мне доставляют…»

«Мать была всегда одинаково добра и ласкова с детьми, и трудно было отметить фаворитизм в ее отношениях, — вспоминает А. П. Арапова. — Однако же все как-то полагали, что сердце ее особенно лежит к нему (старшему сыну Пушкина — Александру. — Н. Г.). Правда, что и он, в свою очередь, проявлял к ней редкую нежность, и она с гордостью заявляла, что таким добрым сыном можно гордиться».

«В молодости, даже в ту пору, когда он был уже женат, сын поэта каждую субботу проводил у Натальи Николаевны. Суббота была для всех днем памяти Пушкина. Вдова Александра Сергеевича делилась с сыном своими душевными невзгодами, печальными воспоминаниями о последних днях Пушкина. Она была предельно откровенна с Александром, вот почему он знал об отце гораздо больше, чем другие дети поэта» (из воспоминаний Н. С. Шепелевой, внучки Александра Александровича Пушкина, правнучки А. С. Пушкина).

Дочери Пушкина и Ланского воспитывались дома до самого поступления в женские институты. К ним приглашались учителя по общеобразовательным предметам, по музыке, языкам, рисованию, рукоделию. На собственном опыте мать уверилась, что счастье дочерей в будущем должна составить их собственная семья, а это в огромной степени будет зависеть от того, какими они будут женами. Поэтому Наталья Николаевна считала своим долгом внушить девочкам понятие о том, замужество — «серьезная обязанность и что надо делать свой выбор в высшей степени рассудительно».

Она во всем реально смотрела на вещи. В этом смысле важны ее замечания по поводу женской красоты, из которой в ее случае толпа сделала своего кумира… «К несчастью, я такого мнения, что красота необходима женщине. Какими бы она ни была наделена достоинствами, мужчина их не заметит, если внешность

им не соответствует. Это подтверждает мою мысль о том, что чувственность играет большую роль в любви мужчины. Но почему женщина никогда не обратит внимание на внешность мужчины? Потому что ее чувства более чисты. Однако, я пускаюсь в обсуждение вопроса, в котором мы никогда не бывали согласны…»

Наталья Николаевна, восклицая, «почему женщина никогда не обратит внимания на внешность мужчины», не кривила душой. Оба ее брака доказывают это. Она вышла замуж 18-летней девушкой за Пушкина, которого красавцем назвать было никак нельзя. Он был старше ее на 13 лет и на 10 сантиметров ниже ростом, это не помешало ей сломить сопротивление матери и стать счастливой с отцом первых ее четверых детей. Ланской тоже был на 13 лет старше жены (удивительно, Пушкин и Ланской оказались ровесниками, 1799 года рождения), он не блистал красотой, однако и в нем Наталья Николаевна сумела разглядеть доброту и душевную щедрость, достоинства, решившие дальнейшую ее судьбу с детьми от первого брака.

И поскольку «красота необходима женщине», матери радостны первые успехи дочерей, которые только-только стали выезжать в свет: «Что касается Маши, то могу тебе сказать, что она тогда произвела впечатление у Строгановых. Графиня мне сказала, что ей понравились и ее лицо, и улыбка, красивые зубы, и что вообще она никогда бы не подумала, что Маша будет так хороша собою, так как она была некрасивым ребенком. Признаюсь тебе, что комплименты Маше мне доставляют в тысячу раз больше удовольствия, чем те, которые могут сделать мне…»

За год до смерти Натальи Николаевны стала выезжать в свет и 17-летняя Азя — старшая дочь Ланского. Прощальным блеском сверкнуло на Ниццком карнавале очарование прославленной красавицы… «Я в ту зиму стала немного появляться в свете, но вывозил меня отец, так как никакое утомление не проходило безнаказанно для матери. Тогдашний префект Savigni придумал задать большой костюмированный бал, который заинтересовал все съехавшееся международное общество. Мать уступила моим просьбам и не только спешно принялась вышивать выбранный мне наряд, но, так как это должно было быть моим первым официальным выездом, захотела сама меня сопровождать. Когда в назначенный час мы, одетые, собирались уезжать, все домашние невольно ахнули, глядя на мать. Во время первого года нашего пребывания за границей скончался в Москве дед Николай Афанасьевич; она по окончании траура сохранила привычку ходить в черном, давно отбросив всякие претензии на молодость. Скромность ее туалетов как-то стушевывала все признаки ее

красоты. Но в этот вечер серо-серебристое атласное платье не скрывало чудный контур ее изваянных плеч, подчеркивая редкую стройность и гибкость стана… Ей тогда было ровно пятьдесят лет, но ни один опытный глаз не рискнул бы дать и сорока. Чувство восхищения, вызванное дома, куда побледнело перед впечатлением, произведенным на бале… Я шла за нею по ярко освещенной анфиладе комнат, и до моего тонкого слуха долетали обрывками восторженные оценки: «Поглядите! Это самая настоящая классическая голова! Таких прекрасных женщин уже не бывает! Вот она, славянская красота! Это не женщина, а мечта!»… Я видела, как мать словно ежилась под перекрестным огнем восторженных взглядов; я знала, как в эту минуту ее тянуло в обыденную, скромную скорлупу, и была уверена, что она с искренней радостью предоставила бы мне эту обильную дань похвал, тем охотнее, что унаследовав тип Ланских, я не была красива и разве и могла похвастаться только двумя чудными косами, ниспадавшими ниже колен, ради которых и был избран мой малоросский костюм» (А. П. Арапова).

Дети росли. Незаметно подошло то время, когда пришлось серьезно задуматься о подходящих партиях для них, о том, что в недалеком будущем им предстоит вылететь из родного гнезда…

В интенсивной переписке супругов Ланских 1851 года эта тема начинает звучать в полную силу: «А теперь я возвращаюсь к твоему письму, к тому, где ты пишешь о моих девушках. Ты очень строг, хотя твои рассуждения справедливы. Кокетство, которое я разрешила Мари, было самого невинного свойства, уверяю тебя, и относилось к человеку, который был вполне подходящей партией. Иначе я бы не разрешила этого, и в этом не было ничего компрометирующего, что могло бы внушить молодому человеку плохое мнение о ней. Что касается того, чтобы пристроить их, выдать замуж, то мы в этом отношении более благоразумны, чем ты думаешь. Я всецело полагаюсь на волю Божию, но разве было бы преступлением с моей стороны думать об их счастье. Нет сомнения, можно быть счастливой и не будучи замужем, но это бы значило пройти мимо своего призвания… На днях мы долго разговаривали об этом, и я говорила для их блага, иногда даже против моего убеждения, о том, что ты мне пишешь в своем письме. Между прочим, я их готовила к мысли, что замужество не так просто делается и что нельзя на него смотреть как на игру и связывать это с мыслью о свободе… В конце концов можно быть счастливой, оставшись в девушках, хотя я этого не думаю. Нет ничего более печального, чем существование старой девы, которая должна довольствоваться любовью к не своим, а к чужим детям и создавать себе какие-то другие обязанности, а не те,

которые предназначены природой ей самой. Ты мне называешь многих старых дев, но побывал ли ты в их сердце, знаешь ли ты, через сколько горьких разочарований они прошли и так ли они счастливы, как кажется… Союз двух сердец — величайшее счастье на земле, и вы хотите, чтобы молодые девушки не позволяли себе мечтать, значит, вы никогда не были молодыми и никогда не любили. Надо быть снисходительным к молодежи. Плохо то, что родители забывают, что они сами когда-то чувствовали, и не прощают детям, когда они думают иначе, чем они сами. Не надо превращать мысль о замужестве в какую-то манию, и даже забывать о достоинстве и приличии, я такого мнения, но предоставьте им невинную надежду устроить свою судьбу — это никому не причинит зла…»

Мудрые слова матери… Если бы дети всегда слушали их! Не думала Наталья Николаевна, что уже через два года молоденькая шестнадцатилетняя Таша Пушкина «выскочит» замуж за Леонтия Дубельта. Мать долго противилась этому браку, но в конце концов пришлось уступить настойчивости и юношескому максимализму младшей дочери, которая все время упрекала родительницу: «Одну замариновали, и меня хочешь замариновать!»

С тяжелым сердцем писала Наталья Николаевна друзьям Пушкина: «…Вот уже год борюсь с ней, наконец покорилась воле Божией и нетерпению Дубельта. Один мой страх — ее молодость, иначе сказать — ребячество… За участие, принятое вами, и за поздравления искренне благодарю Вас» (князю П. А. Вяземскому, 6 января 1853 г.).

Через несколько лет Наталья развелась с первым мужем. Детей своих от первого брака — внуков Пушкина — она оставила своему отчиму, Петру Петровичу Ланскому, и тот воспитал их. Наталья Николаевна предчувствовала несчастье и очень переживала.

Немало огорчений доставила ей старшая дочь Мария, которую, по словам сестры, «замариновали». Она действительно никак не могла устроить свою судьбу и только в 1860 году в возрасте двадцати восьми лет вышла замуж. Не знаем достоверно, являлись ли Наталье Николаевне «предчувствия» в отношении Марии, но Бог миловал мать; она не дожила до страшного несчастья семейной жизни дочери: муж Марии Александровны застрелился.

На два года раньше Марии женился Александр Александрович на близкой своей родственнице — племяннице П. П. Ланского, нарушив таким образом церковные правила в отношении родства венчающихся. Наталья Николаевна решилась

обойти запрет, поддавшись чрезмерной материнской любви к сыну. Наказание за преступление божественной заповеди не миновало его.

Старшие дети покинули родительский кров, и только младший сын Пушкина Григорий жил с матерью. Он состоял в долголетней незаконной связи с француженкой, которая родила ему трех дочерей. Это было против религиозных убеждений Натальи Николаевны, и она до последних дней своих глубоко страдала, что сын ее находится в состоянии смертного греха, в нем «она предусматривала угрозу его будущности», иными словами — серьезное препятствие ко спасению души. Лишь спустя 20 лет после смерти матери Григорий Александрович вступил в законный брак с другой женщиной.

Постоянно болея в последние годы, Наталья Николаевна не могла не понимать, что жизнь ее на исходе. Как тяжко было сознавать ей, что меньшие дочки от второго брака лишатся, должно быть, матери в самом юном своем возрасте. Так оно и было: двух младших девочек Софью и Елизавету ей так и не удалось вывезти в свет, когда вошли они в пору невест. Отцу выпала горькая доля заменить отроковицам, сколько возможно, мать.

Судьбам детей Н. Н. Пушкиной-Ланской посвящена отдельная глава, но и по немногим приведенным выше сведениям о них ясно, что «простое, безыскусственное дело» Натальи Николаевны — управление семейным кораблем — встретило в своем плавании по бурному житейскому морю множество подводных камней, острых рифов, неожиданных стремнин. Но мужественным был капитан, ни на час не оставлял своего капитанского мостика и, если совершал непреднамеренные ошибки, то не перекладывал невеселые последствия их на чужие плечи, честно исполнял долг свой до конца…

«Под зловещей звездой…»

«Если бы я любила деньги, это было бы, может быть, легче, я бы сумела для дома откладывать, а я, однако, только и делаю, что трачу. Но что приводит меня в отчаяние, это что отчасти это падает на тебя; я не чувствую себя виноватой, и все же нахожу, что ты вправе меня упрекать. Мои гордость и чувствительность от этого страдают, вот почему я так часто плачу над своими счетами. Ах, Боже мой, если б я тратила свои собственные деньги, ты бы ни слова от меня не услышал, а едак все-таки больно», — и жалуется, и оправдывается перед Ланским Наталья Николаевна.

«В материальном отношении мать бесспорно родилась под зловещею звездой», — разъясняет это «больно» А. П. Арапова. Богатства, которые нажили ее предки, должно было бы хватить не на одно поколение… Но жизнь распорядилась иначе. Наталья Николаевна постоянно придерживалась жесткой экономии и во всю свою жизнь была смиренной просительницей…

«Личное состояние отца было незначительно, но это был аккуратный по природе человек, с весьма скромными потребностями», — вспоминает А. П. Арапова, и действительно, его аккуратность постепенно упрочила материальный достаток семьи, но это было уже в последние годы жизни Натальи Николаевны. До тех пор ей приходилось шить домашние платья себе и Александре Николаевне собственными руками, перешивать детям из старой одежды. Вечерами ради экономии свечей собирались все в одной комнате: кто-нибудь читал вслух, остальные рукодельничали. Часто приходилось отказывать в невинных удовольствиях и развлечениях из-за отсутствия средств.

Михайловское приносило ничтожный доход. По выходе замуж Наталья Николаевна лишилась своей пенсии. Дети Пушкина получали по полторы тысячи в год на душу — этого было совершенно недостаточно. Неизвестно, учились ли мальчики на казенный счет, но если нет, то пребывание в Пажеском корпусе стоило очень дорого. Большие суммы тратились и на воспитание и образование девочек Пушкиных. Содержание большого семейства при постоянном присутствии посторонних детей, расходы на гувернанток, прислугу требовали денег, денег, денег. Кроме того, из-за частых отъездов Петра Петровича приходилось жить на два дома, а ему, как командиру полка, необходимо было тратиться на «представительство».

Наталья Николаевна постоянно изыскивала способы и средства облегчить бремя материальных забот о детях Пушкина, легшее на плечи Ланского, который постоянно «приносил жертву

моей семье», как писала она в одном из своих писем мужу.

В 1849 году Наталья Николаевна делает попытку переиздать сочинения А. С. Пушкина, обратившись с этой целью к книгоиздателю Я. А. Исакову. Об этом она сообщает: «…Затем я заехала к Исакову, которому хотела предложить купить издание Пушкина, так как не имею никакого ответа от других книгопродавцев. Но не застала хозяина в лавке; мне обещали прислать его в воскресенье». Переговоры с Исаковым ни к чему не привели. Второе издание сочинений поэта осуществил в 1855–57 годах Н. В. Анненков, критик и историк литературы, первый биограф Пушкина. Исаков издал собрание сочинений только в 1859–60 годах, за три года до смерти Н. Н. Пушкиной-Ланской.

Из доходов Полотняного Завода Наталье Николаевне выделялось всего полторы тысячи в год, но, как и при Пушкине, деньги задерживались, и ей приходилось постоянно напоминать об этом брату Дмитрию Николаевичу: «…Мой муж может извлечь выгоды из своего положения командира полка. Эти выгоды, правда, состоят в великолепной квартире, которую еще нужно прилично обставить на свои средства, отопить и платить жалование прислуге 6000. И это вынужденное высокое положение непрочно, оно целиком зависит от удовольствия и неудовольствия Его величества, который в последнем случае может не сегодня, так завтра всего лишить. Следственно, не очень великодушно со стороны моей семьи бросать меня со всеми детьми на шею мужа. Три тысячи не могут разорить мать, а нехватка этой суммы, уверяю тебя, очень чувствительна для нашего хозяйства. Я рассчитываю на твое влияние на ее характер, так как ты единственный в семье можешь добиться от нее справедливости, а я не осмеливаюсь хоть что-нибудь требовать, это значило бы навлечь на себя ее гнев… Бога ради, сладь это дело с нею и добейся для меня этого единственного дохода, потому что ты хорошо знаешь, что у меня ничего нет, кроме капитала в 30 000, который находится в руках Строганова. Надеюсь только на тебя, не откажи в подобных обстоятельствах в помощи и опоре…»

Как известно, за посмертное издание произведений Пушкина вдова получила 50 000 и положила их в банк как неприкосновенный капитал для детей. Еще в 1843 году она писала, что придется затронуть капитал на нужды, связанные с образованием детей. 20 тысяч были израсходованы на эти цели. Намекая в письме на возможную немилость царя, Наталья Николаевна не имела в виду ничего конкретного. В действительности это было деликатное напоминание о

непредсказуемой изменчивости человеческой судьбы, которая не раз уже потрясала ее душу. Случись теперь что-нибудь с Ланским или с ней самой, кто знает, как отзовется это на детях…

После смерти отца Пушкина Сергея Львовича, последовавшей в 1848 году, начался раздел между наследниками. Раздел тянулся очень долго, только в 1851 году он был оформлен юридически: сыновья получали Кистенево и Львовку в Нижегородской губернии, дочерям определили денежную компенсацию, которую обязывались им выплатить братья Александр и Григорий. Но до «живых» денег с этого наследства было еще далеко.

Странный поворот приняло дело о наследстве тетушки Натальи Николаевны фрейлины Екатерины Ивановны Загряжской, которая очень любила свою милую «душку» племянницу Натали. Кончина тетушки Загряжской в 1842 году, еще до второго замужества племянницы, была для нее невосполнимой потерей. «Тетушка соединяла с любовью ко мне и хлопоты по моим делам, когда возникало какое-нибудь затруднение. Не буду распространяться о том, какое горе для меня кончина моей бедной Тетушки, вы легко поймете мою скорбь. Мои отношения с ней хорошо известны. В ней я теряю одну из самых твердых моих опор. Ее бдительная дружба постоянно следила за благосостоянием моей семьи, поэтому время, которое обычно смягчает всякое горе, меня может только заставить с каждым днем все сильнее чувствовать потерю ее великодушной поддержки…»

Выполняя волю покойной сестры, вторая тетка Натальи Николаевны отдала ей «все вещи, а также мебель и серебро». Недвижимое имущество между сестрами поделено не было, и Екатерина Ивановна просила Софью Ивановну де Местр передать после ее смерти любимой племяннице поместье в 500 душ. Однако графиня де Местр распорядилась по-своему, думая, очевидно, что, вышедши замуж, Наталья Николаевна не нуждалась в материальной поддержке; «…старушка считала, что она вполне исполняет волю умершей, на каждый праздник даря матери и сестрам какие-нибудь материи, из которых обязательно было тотчас сшить платье и явиться в обновке на первый из ее дипломатических обедов, — вспоминает А. П. Арапова. — Кухня ее славилась на весь Петербург, и на изысканный стол она никаких расходов не жалела. К подаркам эта система не применялась, но взамен она изобрела доморощенную, наивную рекламу.

Всякий раз, что к ней приезжали в подаренной вещи, она внимательно оглядывала в лорнет с ног до головы и неизменно спрашивала:

— Как это красиво! Откуда это у вас?

— Ведь это ваш подарок, тетя, разве вы не узнали?

— В самом деле! Я так рассеянна! Не хочу хвастать, а все-таки очень красиво!

И все добросовестно разыгрывали подобные сценки раза три-четыре в год.

Графиня де Местр скончалась в 1851 году летом, во время пребывания матери за границей, куда она отправилась для лечения на водах старшей сестры. Графиня оставила духовное завещание, в котором пожизненное пользование ее состоянием предоставлялось ее мужу, дожившему уже до 90 лет, а по его смерти, минуя сыновей ее сестры Натальи Ивановны (Гончаровой, матери Н. Н. Пушкиной-Ланской. — Н. Г.), доставалось цельностью дальнейшему племяннику, графу Сергею Григорьевичу Строганову (брату Идалии Полетики. — Н. Г.). Ему же вменялось в обязанность выдать Наталье Николаевне Ланской московское имение, завещанное еще Екатериной Ивановной, и выплатить разные суммы поименованным в завещании лицам. Всего как долгов, так и обязательств насчитывалось сто с чем-то тысяч.

Граф де Местр пережил ее менее года, и, переехав на лето к моей матери, тихо скончался на даче, в Стрельне.

Через несколько времени, когда граф Строганов вступил в свои права, к великому недоумению матери и еще сильнейшему негодованию, прежде чем передать завещанное имение, потребовал с нее уплаты половины причитающихся долгов, считая ее сонаследницей, но преднамеренно упуская из виду, что его львиная часть превосходит выдаваемую чуть ли не в десять раз… Дело затягивалось. Мать, наконец, объявила, что скорее откажется от наследства, чем согласится на поставленное условие. Оно было для нее прямо неисполнимо, при отсутствии личных средств и отказа в пользу дочерей причитающейся ей вдовьей части.

Тем временем братья Гончаровы надумали затеять процесс с Строгановым, рассчитывая его выиграть на основании оплошно выраженной фразы. Графиня де Местр завещала ему все состояние, полученное от отца, а на деле оказывалось, что все ее имения достались от дяди и сестры, так как отец умер вполне разоренным, что вовсе не трудно было доказать. Граф Строганов, взвесив шансы противников, объявил им откровенно, что закон, может быть, останется на их стороне, но при судебной волоките (это происходило до реформы суда) им очень тяжела окажется тяжба с ним, и потому он предлагает им сто тысяч отступного, но никак не иначе, как если им удастся склонить сестру подчиниться

его решению.

Мать долго и упорно отказывалась. Отец предоставил ей полное распоряжение доходами, оставляя себе безделицу для личных нужд, но именно ввиду этого доверия и деликатности ее прельщала мысль о достижимой независимости, а чересчур было обидно из-за разных ухищрений дважды лишиться выпавшего наследства. Я хорошо помню, как наконец она сдалась на горячие просьбы братьев, которых устраивало получение обещанных капиталов, и, им в угоду, она решилась пожертвовать своим самолюбием. Отец внес графу Строганову пятьдесят пять тысяч, требуемые им, но, по настоянию матери, была совершена на его имя купчая на эти 500 душ крестьян, и так как это случилось незадолго до уничтожения крепостного права, то это оказалось даже не особенно выгодным предприятием. Она же с этой минуты порвала всякие сношения с семьей Строгановых. Исключение составил только граф Григорий Александрович, как непричастный всему делу и сохранивший к ней прежнюю беспристрастную дружбу…»

Семья Ланских была владельцем многих душ крепостных. Этот веками сложившийся уклад русской жизни рухнул на глазах Натальи Николаевны. Новая страница отечественной истории предварялась огромным моральным напряжением всей России. 19 февраля 1861 года ожидали по-разному: кто со страхом, кто с надеждой… «Мать, уверовавшая в предвидение Пушкина, убеждена была, что не обойдется без революции и резни на улицах. В томительной тревоге прошла предшествующая ночь и часы, сопровождавшие обнародование манифеста, и затем с недоумением пришлось сознаться, что это мировое событие ничем не нарушило покоя столицы и обыденного строя жизни. На меня лично, — признается А. П. Арапова, — этот резкий перелом не произвел впечатления. Все злоупотребления и ужасы крепостного быта лишь отдаленным эхом достигали детского слуха, и я только потом постигла их из книг. Крестьяне отца все были на оброке, а из крепостных служащие в доме являлись основой патриархального быта, не словом, а делом вылившегося ходячим определением: «Вы наши отцы, а мы ваши дети». Не только не применялись какие-либо наказания, но я не могу припомнить, чтобы мать возвысила голос на кого-нибудь из слуг.

Лучшей иллюстрацией моих утверждений может служить отношение к эмансипации нашей старой няни, отроду не разлучавшейся с матерью, которой и была дана в приданное. Старших братьев и сестер занимало дразнить ее, приходя по очереди поздравлять с только что дарованной свободой.

— Отстаньте вы от меня! — ворчала она на них. — И кому это

только на ум взбрело? Ну, что мне с вашей волей? Куда я с ней денусь, коли маменька меня в доме держать не захочет? И статочное ли это дело людей без всяких бар оставить? Вот лишний раз и вспомянешь батюшку Николая Павловича, Царство ему небесное! Остался он бы живым, никогда бы этого не допустил…»

В самый разгар Крымской войны, в 1855 году, скончался император Николай Павлович.

«Смерть императора Николая Павловича… своей неожиданностью нанесла ей вдвойне тяжелый удар, — засвидетельствовала А. П. Арапова о матери. — Отец приехал из Зимнего дворца и при мне сообщил ей скорбную весть. Побледневшее лицо словно окаменело под наплывом горя. Неутешно оплакивала она Царя-Благодетеля, собирая, как драгоценные реликвии, все, что относилось и нему. В ее заветной шкатулке хранятся у меня и посейчас два его автографа, цветы с гроба, поношенный темляк и платок с его вензелем.

Теплое участие, сошедшее на нее с высоты Престола в самую ужасную минуту ее жизни, неизменная доброта и поддержка, проявляемая ей и детям, создали в благодарном сердце тот благоговейный культ, который теплился в ней до последней минуты и ярко вспыхивал, когда доводилось произнести имя усопшего царя».

Этот отрывок — последний из эпизодов, связанных с именем Николая I, из «Воспоминаний» А. П. Араповой об отношениях Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской к царю и царя к ней.

Каково же было наше удивление, когда, открыв книгу, всего лишь несколько лет назад написанную профессиональными пушкинистами, мы обнаружили такие слова: «На создание легенды об интимных отношениях Н. Н. Пушкиной и царя повлияли и воспоминания ее дочери от второго брака (с П. П. Ланским) А. П. Араповой. Сквозь мемуары Араповой проходит культ Николая I. Царь был ее крестным отцом, а в подтексте сквозит намек, что отцовство было кровным…»

Читатель, тебе судить, «сквозит» ли «намек»! От себя же добавим, что никогда не надо забывать о том, как живуч предвзятый взгляд на любого великого по своей общественной значимости или положению человека. И публике всегда интересней его альковные тайны, чем подвиги и заслуги перед обществом, благоденствие которого, возможно, в огромной степени зависит от усилий того самого человеческого титана. Стараясь приблизить его к своему понятию и образу жизни, обыватель силен в разборе интимных подробностей и превращении злокозненных намеков в несомненные факты. И

готова легенда!

Пошлость неистребима. И это действительно зловещая звезда на небосклоне знаменитых исторических личностей, к которым несомненно принадлежали и Государь Император Николай I, и Пушкин, и его «любимая женка».

Светская жизнь

«Признаюсь тебе, я не чувствую себя способной присутствовать при этих больших обедах. Это жертва, которую моя лень находит бесполезной приносить», — извещает своего второго мужа Наталья Николаевна. Более всего ей хотелось замкнуться в тесном семейном кругу, но положение в обществе мужа обязывало ее подчиняться принятым условностям. Часто она отказывалась от приглашений под предлогом отсутствия гувернантки, на которую можно было бы оставить детей. Но, конечно, Наталья Николаевна не была нелюдимой затворницей. Эти же самые дети подрастали и должны были занять свое место в том кругу знакомств, к которому принадлежали… В письмах 1849 года неоднократно упоминается о визитах к Наталье Николаевне светских дам и о ее ответных посещениях.

Чаще всего, чуть ли не ежедневно, она или сестра Александра Николаевна с кем-нибудь из детей ходили к де Местрам и графине Юлии Павловне Строгановой. Это называлось у сестер «нести службу при тетках». Тетушка Софья Ивановна де Местр болела, теряла зрение, ее муж-старик был вспыльчив и раздражителен и, видимо, их светские знакомые избегали навещать супругов. Строгановых Наталья Николаевна посещала гораздо реже, надо полагать, ей не хотелось встречаться у них с Идалией Полетикой, незаконной дочерью графа Григория Строганова. Сама же Идалия Григорьевна с вдовой Пушкина старалась поддерживать родственные отношения, была с ней «любезна и мила» в доме своего отца и даже сочла возможным приехать с визитом к Наталье Николаевне со своей дочерью и ее женихом — перед назначенной уже свадьбой.

Графиня Юлия Павловна хранила самые теплые чувства к своей племяннице еще со времен брака с Пушкиным, она «почти безотлучно» находилась в квартире умиравшего поэта, и не ответить на добро добром Наталья Николаевна не могла.

Бывать при дворе Наталья Николаевна считала своей неприятной обязанностью. «Втираться в интимные придворные круги — ты знаешь мое к тому отвращение; я боюсь оказаться не на своем месте и подвергнуться какому-нибудь унижению. Я нахожу, что мы должны появляться при дворе, только когда получаем на то приказание…»

Она не только боялась подвергнуться унижению, но не переносила правил игры светского общества, в котором невозможна искренность, главное «казаться», а не «быть». «Рядом со мной все время стояла госпожа Охотникова, которая

заливалась слезами, г-жа Ливан сумела выжать несколько слезинок, другие дамы тоже плакали, а я не могла», — сообщала мужу Н. Н. Ланская о событии при дворе печальном. Умер великий князь Михаил Павлович, и Наталье Николаевне, как жене генерала, необходимо было присутствовать на панихиде в Петропавловской крепости — на этом настояла тетушка Строганова.

На похороны умершей маленькой княжны из императорской семьи Наталья Николаевна не пошла, потому что «не получила никакого извещения, ни приказа по этому поводу, а во-вторых, так как с меня не требуют, чтобы я пошла, я избегну таким образом большого расхода, который мне мои капиталы не позволяют сделать, если только не входить в новые долги… Мое отсутствие не будет замечено, так как я не принадлежу к интимному кругу при Дворе, считаю себя в праве позволить себе эту вольность». Совсем иные чувства владели Натальей Николаевной, когда печальную обязанность последнего целования нужно было выполнить по отношению к человеку близкому. Осенью 1849 года умер генерал-майор Д. П. Бутурлин — военный историк, директор Публичной библиотеки. И он сам, и его жена, урожденная Комбурлей, были знакомы с Пушкиным: неоднократно он бывал у Бутурлиных вместе с молодой женой на балах и вечерах. Связь с этой образованной семьей, с которой дружила и тетушка Загряжская, не прерывалась и после смерти поэта. И вот настал черед генерала…

«После обеда я собрала все свое мужество и пошла одеваться, чтобы одной ехать к Бутурлиным. Я считала необходимым сделать это ради сына, который действительно был мне верным другом, и потом старик всегда был так внимателен ко мне. Было даже время, когда принимая во внимание близкие отношения тетушки Катерины со старой Комбурлей, я постоянно бывала в их доме, стало быть, это было почти моим долгом, и я решила побороть мою застенчивость. Приехав туда, я прошла через прекрасные гостиные, чтобы достигнуть бального зала, где столько раз я веселилась. Посредине стоял гроб. Из женщин были только две особы, живущие в доме, и горничные, зато довольно много мужчин. Я была просто ошеломлена. Но набралась смелости и прошла прямо к этим двум женщинам, которых я даже не знала. Когда началось чтение молитв, пришло много монахов, мне кажется — весь невский монастырь собрался здесь. Наконец приехали тетушка Местр и княгиня Бутера, их присутствие меня ободрило. Не могу тебе выразить, какое тяжелое впечатление произвело на меня это печальное зрелище. Столько воспоминаний вызвало оно во мне… Я снова увидела покойного,

стоящего в дверях своей гостиной, в парадной форме, встречающего гостей, и его жену, сияющую от сознания своей красоты и успеха. Зала полна, сверкает огнями, танцы, музыка, всюду веселье, а теперь скорбь, слезы, монахи, несколько мужчин в траурной одежде… Мрачное настроение не оставляло меня весь вечер. Твой брат провел его с нами, и невольно разговор принял серьезное направление. Мысли о смерти и наши упования на будущее были единственной печальной темой. В полночь мы разошлись».

Как много оставалось на земле зацепок за трагическое прошлое! Поди узнай, где настигнет! Наталья Николаевна не упомянула о Пушкине, потому что письмо написано второму мужу, и она щадит его чувства… Не только жену Бутурлина, но и себя вместе с Пушкиным увидела она в этих залах, а траурная церемония живо воскресила события 12-летней давности, всколыхнувшие всю Россию. Сейчас она, 37-летняя женщина, робкая и застенчивая по натуре, «была ошеломлена» обществом немногих незнакомых мужчин, как же тогда выдержала она, неопытная душа, внезапно свалившееся горе и нелицеприятный суд многоликой толпы?

В 1849 году Наталье Николаевне довелось на вечере у Лавалей встретиться с графиней Е. К. Воронцовой, в которую некогда был влюблен Пушкин и которой теперь было 57 лет. Об этой встрече Наталья Николаевна сообщает своему второму мужу:

«…Когда мы приехали, там уже собралось большое общество. До того, как начался вечер, был обед, и дипломатический корпус был в полном составе. Твоя старая жена как новое лицо привлекла их внимание, и все наперерыв подходили и смотрели на меня в упор. Ферръеры тоже там были и тоже оказались в числе любопытных. Так как муж уже был мне представлен у Тетушки, он сел около меня, чтобы поговорить. Жена не сводила с меня глаз, сидя на диване напротив. В течение всего вечера я сидела рядом с незнакомой дамой, которая, как и я, казалось, тоже не принадлежала к этому кругу петербургских дам и иностранцев-мужчин. Графиня Строганова представила нас друг другу, назвав меня, но умолчав об имени соседки. Поэтому я была в большом затруднении, разговаривая с нею. Наконец, воспользовавшись моментом, когда внимание ее было отвлечено, я спросила у графини, кто эта дама. Это была графиня Воронцова-Браницкая. Тогда всякая натянутость исчезла, я ей напомнила о нашем очень давнем знакомстве, когда я ей была представлена под другой фамилией, тому уже 17 лет. Она не могла прийти в себя от изумления. «Я никогда не узнала бы вас, — сказала она, — потому что даю слово, вы тогда не были и на четверть так

прекрасны, как теперь, я бы затруднилась дать вам сейчас более 25 лет. Тогда вы мне показались такой худенькой, такой бледной, маленькой, с тех пор вы удивительно выросли»… Несколько раз она брала меня за руку в знак своего расположения и смотрела на меня с таким интересом, что тронула мне сердце своей доброжелательностью. Я выразила ей сожаление, что она так скоро уезжает, и я не смогу представить ей Машу… Мы оставались на этом вечере до 11 часов. Можно было умереть со скуки. И как только графиня сделала мне знак к отъезду, я поспешно поднялась.

В карете она мне заявила, что я произвела очень большое впечатление, что все подходили к ней с комплиментами по поводу моей красоты. Одним словом, она была очень горда, что именно она привезла меня туда. Прости, милый Пьер, если я тебе говорю о себе с такой нескромностью, но я тебе рассказываю все, как было, и если речь идет о моей внешности, — преимуществе, которым я не вправе гордиться, потому что это Бог пожелал мне его даровать, — то это только в силу привычки описывать все мельчайшие подробности».

По кончине фельдмаршала Воронцова в 1856 году его вдова принялась разбирать переписку покойного мужа, а заодно и свои бумаги. Связку писем Пушкина княгиня предала огню.

…Но когда коварны очи
Очаруют вдруг тебя,
Иль уста во мраке ночи
Поцелуют не любя —
Милый друг! от преступленья,
От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья
Сохранит мой талисман!

Это стихотворение Пушкин посвятил Е. К. Воронцовой…

Слова много повидавшей на своем веку фельдмаршальши Воронцовой «…даю слово, вы тогда не были и на четверть так прекрасны, как теперь» отражают и немногие, известные наперечет портреты Натальи Николаевны, о которых следует сказать отдельно. В самом начале светской карьеры ее портрет написал Александр Брюллов. Это было в первый год ее замужества за Пушкиным. То ли Брюллов был не в духе, то ли сама Натали, спешившая на бал с сеанса, только акварель красавицы в бальном платье получилась такой, будто действительно написана с «бездушной кокетки»: на портрете

изображена светская дама «без выражения»: лицо с классически правильными чертами, с огромными глазами, очаровательное своей молодостью, но — непонятное, закрытое для зрителя в выражении своих чувств, характера. Типичный парадный портрет с акцентом на внешность, а не на внутренний мир человека. При желании этому лицу можно приписать и тщеславие, и гордость, и некоторую надменность, одним словом, любую страсть, которую приписывали ей недоброжелатели.

Совсем другой облик Натальи Николаевны предстает с портретов 1840-х годов кисти И. Макарова и В. Гау. Та же красавица, но красота ее теплая, притягательная, одухотворенная. Впрочем, неблагодарное дело описывать портреты, в них нужно вглядываться самому…

Именно П. П. Ланскому мы обязаны тем, что красота этой женщины увековечена в целой галерее ее портретов. История одного из портретов записана Натальей Николаевной. Художнику Макарову в то время было всего 27 лет, но он уже прослыл талантливым портретистом. Его отец был крепостным художником, сын же окончил Академию художеств и впоследствии стал академиком.

«Необходимость заставляет меня сказать, в чем состоит мой подарок. Это мой портрет, написанный Макаровым, который предложил мне его сделать без всякой просьбы с моей стороны и ни за что не хотел взять за него деньги… Прими же этот дар от нас обоих», — сообщает Н. Н. Ланская мужу, находящемуся в Риге 4 июля 1849 года, а через четыре дня пишет ему еще письмо. «… Макаров, автор этого сюрприза, с нетерпением ждет сообщения о впечатлении, которое на тебя произведет портрет. Надо мне тебе рассказать, каким любезным образом он предложил свои услуги, чтобы вывести меня из затруднения с дагерротипом и фотографией, которые у меня были, потому что оба они были неудачными. Он пришел однажды утром к нам работать над портретами детей, и мне пришла в голову мысль посоветоваться с ним, нельзя ли как-нибудь подправить фотографию, и не поможет ли в этом случае кисть Гау. — Да, сказал он, может быть. Потом, глядя на меня очень пристально, что меня немного удивило, он сказал:

— Послушайте, сударыня, я чувствую такую симпатию к вашему мужу, так его люблю, что почту себя счастливым способствовать удовольствию, которое вы хотите ему доставить. Разрешите мне написать ваш портрет, я уловил характер вашего лица и легко набросаю на полотне только голову.

Ты прекрасно понимаешь, что я не заставила себя просить, в таком я была отчаянии после стольких хлопот. Он назначил мне

сеанс на следующий день, был трогательно точен и заставил меня позировать три дня подряд. Не утомляя меня, делая большие перерывы для отдыха, он закончил портрет удивительно быстро. Я спросила его о цене, он не захотел мне назвать ее и просил принять портрет в подарок, который он счастлив тебе сделать. Не забудь выразить ему свою благодарность, я непременно ее передам.

Мы расстались с ним очень тепло, он обещал время от времени бывать у нас. Положив руку на сердце, он меня всячески уверял в своем уважении и преданности. Теперь он начал писать портреты г-на и г-жи Айвазовских…»

Иван Константинович Айвазовский — известнейший русский художник-маринист — был знаком с Пушкиным. Познакомились они, видимо, на осенней выставке 1836 года в Академии художеств, и с тех пор не прекращалось его общение с семьей поэта. В знак признательности художник подарил Наталье Николаевне свою картину «Лунная ночь у взморья», на обратной стороне которой сохранилась дарственная надпись «Наталье Николаевне Ланской от Айвазовского. 1 Генваря 1847 г. С. Петербург».

Невозможно не рассказать о еще одном знакомце Пушкина. Петр Александрович Плетнев был на переломе 20–30-х годов ближайшим другом поэта. Пушкин ласково назвал его в рифму: «Брат Лёв и брат Плетнёв». Этому-то «брату Плетнёву» Пушкин был обязан своими литературными заработками. Именно он осуществил огромную посредническую деятельность в Петербурге, чтобы издать более 20 книг Пушкина, в которые вошло все, что поэт создал на Юге, в Михайловском, в Москве и в Болдине. Это Плетнев искал издателя, договаривался о выгодных для Пушкина условиях, разрешал типографские, материальные и иные проблемы, делая это совершенно бескорыстно. Плетнев был поэтом, критиком и педагогом, профессором русской словесности Петербургского университета. Ему, «душе прекрасной, святой, исполненной мечты», Пушкин посвятил свою «энциклопедию русской жизни» — «Евгения Онегина».

Не мысля гордый свет забавить,

Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя,
Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и простоты;

Но так и быть — рукой пристрастной
Прими собранье пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Дельвиг был их общим другом. Пушкин утешал Плетнева в письме от 22 июля 1831 года: «Дельвиг умер… умрем и мы. Но жизнь еще богата, мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые ребята».

После смерти Дельвига они особенно сблизились, собрав и выпустив последний альманах «Северные цветы» — в пользу семьи покойного. Друзья уходили, рядом с Пушкиным не оставалось никого из прежних: Плетнев напоминал ему молодость, «завтра Петергофский праздник, и я проведу его на даче у Плетнева вдвоем. Будем пить за твое здоровье», — писал Пушкин из Петербурга своей Натали на Полотняный Завод в 1834 году.

Пушкин и Плетнев дружили семьями. Спустя два года после смерти поэта умерла жена Плетнева, и десять лет он прожил одиноко. Только в 1849 году он женился второй раз на А. В. Щетининой и не замедлил представить молодую жену Наталье Николаевне. Та, в свою очередь, в один из вечеров решила всей семьей, запросто, навестить друга своего покойного мужа, о чем и сообщила, как всегда, подробно П. П. Ланскому: «Утро сегодняшнего дня я употребила на письмо мадам Бибиковой, а вечером на одно доброе дело. Мы отправились гулять в сторону лесничества, чтобы отдать визит Плетневу. Мы никого не застали дома, но зайдя в Публичный сад, где играла музыка, мы его встретили, прогуливающегося под руку с женой. Он нас увидел издалека и бросился навстречу. Узнав, что мы у него были, он настоял на том, чтобы мы вернулись. Мы были вынуждены уступить его просьбам. Но чтобы не оставаться там долго, я сослалась на то, что мне в 9 часов надо укладывать Азиньку. Сегодня его жена не показалась мне некрасивой, даже совсем наоборот, а дочь его, напротив, порядочная дурнушка. Он кажется очень счастливым, водил нас всюду по своей даче. Наш

визит ему доставил удовольствие, но смутил его жену, которая выглядит очень застенчивой…»

До конца своих дней Петр Александрович с большой симпатией относился к вдове Пушкина. Лучшим выражением этого чувства нужно признать слова Плетнева из его письма к Я. К. Гроту через пять лет после смерти друга-поэта: «В понедельник я обедал у Natalie Пушкиной с отцом и братом (Львом Сергеевичем) поэта. Все сравнительно с Александром ужасно ничтожны. Но сама Пушкина и ее дети — прелесть…»

Как, вероятно, уже заметил читатель, значительная часть биографии Н. Н. Пушкиной-Ланской написана в основном ею самой. Если бы не многочисленные письма отдельных периодов ее жизни, если бы не та «страсть», которую Наталья Николаевна обнаружила в себе: «…я очень много болтаю в письмах… марать бумагу одна из моих непризнанных страстей», то наши сведения о ее жизни — особенно о второй половине, были бы весьма скудны. Отрывочны они остаются и в нашем изложении по недостатку многих воспоминаний современников. Никто из них не составил себе труда собрать при жизни Натальи Николаевны сведения о женщине, которая была подругой великого поэта и оставалась таковой до самой смерти.

Кто знает, сколько неожиданных встреч явилось на ее пути, сколько запутанных обстоятельств обрело ту спасительную нить, дернув за которую, распутывался и сам клубок, сколько неясных до сих пор тайн из жизни Пушкина и его окружения таило ее сердце… Но… «только Бог и немногие избранные» имели ключ от ее сердца, остальные и не пытались его найти.

Из ее писем мы немного знаем о том, чем занималась Наталья Николаевна в 1856 году. Вообще же 50-е годы отмечены медленным, но неуклонным ухудшением ее здоровья.

В январе 56-го она была в Москве целый месяц, останавливаясь, вероятно, в старом гончаровском доме на Никитской. Сохранились три письма из Москвы, в которых Наталья Николаевна живо описывает свое пребывание в древней столице, где прошли ее детство и юность. Она возобновляет старые знакомства, делает множество визитов, принимает у себя: «Все сегодняшнее утро я ездила по Москве с визитами. Расстояния здесь такие ужасные, что я едва сделала пять, а в списке было десять. Каждый день я здесь обнаруживаю каких-нибудь подруг, знакомых или родственников, кончится тем, что я буду знать всю Москву… Здесь помнят обо мне как участнице живых картин тому 26 лет назад и по этому поводу всюду мне расточают комплименты».

В этот приезд в Москву Наталья Николаевна повидала всех

своих родственников — отца Николая Афанасьевича, братьев Ивана, Сергея, Дмитрия, из памятных встреч того января мы знаем о свидании с известной поэтессой графиней Евдокией Петровной Ростопчиной, почти ровесницей Натальи Николаевны.

В 1856 году Ростопчиной было 45 лет, а познакомилась она с Пушкиным в 1828 году, когда только-только стала выезжать в свет. В 1836 году Ростопчина с мужем переехала в Петербург, и Пушкин часто бывал у нее на «литературных» обедах, где собирались Жуковский, Вяземский и другие литераторы. Чета Пушкиных не раз встречалась с графиней в светском обществе. Пушкин ценил поэтическое дарование графини Евдокии, говоря, что «если пишет она хорошо, то, напротив, говорит очень плохо». Надо отдать должное графине, что за прошедшие двадцать лет она научилась «говорить», о чем и сообщает Наталья Николаевна: «Сегодня утром мы имели визит графини Ростопчиной, которая была так увлекательна в разговоре, что наш многочисленный кружок слушал ее, раскрыв рты. Она уже больше не тоненькая… На ее вопрос: «Что же вы мне ничего не говорите, Натали, как вы меня находите», у меня хватило только духу сказать: «Я нахожу, что вы очень понравились».

Она нам рассказала много интересного и рассказала очень хорошо».

Теперь графиня Ростопчина уже чувствовала себя принадлежащей литературному процессу и, наравне с мужчинами, обсуждала негативные его явления. Во времена Пушкина такое невозможно было предположить… «Не знаю, как Вам, — писала она П. А. Плетневу, — а мне кажется, что мы пережили свою эпоху и попались в хаос Вавилонского столпотворения, где идет разноголосица, соединяющая в своем бестолковом шуме все ереси, все лжеученья, все сумасбродства, до которых может доводить человека желанье блеснуть чем-нибудь новым и странным во мнениях и преподаваниях. Меня прозаики и натуралисты-грязисты только что не каменьями побивают за мое служение поэзии и пристрастие к великим людям замогильного поколения; я одна только за глаза и в глаза смею предпочитать Шиллера Диккенсу и Пушкина новому поэту («Новый поэт» — псевдоним И. И. Панаева), но что я значу с своим женским бессилием».

Да, времена мало-помалу менялись…

Царствование Николая I уступило черед своему преемнику. В духовном своем завещании Николай Павлович писал: «Я умираю с пламенной любовью к нашей славной России, которой служил по крайнему моему разумению верой и правдой. Жалею, что не мог сделать всего добра, которого столь искренне желал. Сын мой

меня заменит. Буду молить Бога, да благословит его на тяжкое поприще, на которое вступает…»

Первое время царствования Александра II было всецело занято военными действиями — Николай I умер в самый разгар осады Севастополя, превращенного русскими в настоящую крепость, о которую в течение 11 месяцев разбивались отчаянные приступы враждебных армий. Но Севастополь пришлось оставить… Успехи русских на границе и взятие турецкой крепости Каре отчасти дали некоторое удовлетворение. Новый император не захотел продолжать трудную войну и согласился на мир, обязавший Россию не иметь в Черном море военного флота, возвратить Турции взятые крепости и города в Малой Азии, уступить прилегающую к устью Дуная часть Бессарабии, отошедшую к Молдавии.

Мирный договор был подписан 18 марта 1856 года. Коронация императора происходила по окончании войны в августе 1856-го. Во всех городах возвратившимся живыми севастопольцам устраивали торжественные встречи — с колокольным звоном, с крестами и хлебом-солью. Особой торжественностью отличалась встреча в Москве. Накануне встречи в Москву из всех соседних сел и деревень, городов собрались десятки тысяч народа.

Среди встречавших наверняка была и Наталья Николаевна. Именно в эти дни она находилась в Москве, возвратившись из Вятки, где муж ее командовал формированием местного ополчения для Крыма. Теперь можно было спокойно вздохнуть — война кончилась.

По этому случаю состоялся бал в Дворянском собрании, куда была приглашена Наталья Николаевна с дочерью. Получила она также приглашение и на костюмированный бал к Закревской, жене московского военного генерал-губернатора. Наталья Николаевна долго ездила по магазинам в поисках костюма для Маши, наконец остановили выбор на красивом цыганском наряде… Московская генерал-губернаторша Аграфена Федоровна Закревская была ровесницей века, в 1856-м ей было 56… Когда-то эта 28-летняя светская львица вскружила голову Пушкину, который называл ее «беззаконной кометой». Блистательная графиня Воронцова, супруга всесильного губернатора Новороссии и Крыма, ни по своему положению, ни по темпераменту не могла отвечать Пушкину чувством такой же силы. Но по-своему Елизавета Ксаверьевна была привязана к поэту, его несдержанность и сумасбродные выходки заставляли ее волноваться за его будущее. И сама эта богатая, с большими связями при дворе красавица бывало безнаказанно шокировала

общество, делая всё, что заблагорассудится — вплоть до скандала… Эту «ослепительную Клеопатру Невы» под именем Нины Воронской Пушкин описал в числе гостей на балу в «Евгении Онегине».

Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была…

В черновиках остался ее подробный портрет в прозрачно-соблазнительном костюме, который Закревская часто надевала, шокируя современников. Страсть к костюмированным балам осталась с молодости.

Вспоминая Воронцову, нельзя не вспомнить об их с Пушкиным суеверном увлечении… У Елизаветы Ксаверьевны в молодости была пара перстней-близнецов, принадлежавших некогда ее отцу. Эти массивные витые золотые кольца со вставленным восьмиугольным полированным сердоликом багряного цвета имели одну и ту же надпись древнееврейскими буквами. Е. К. Воронцова искренне верила в магическую силу перстней-талисманов и их взаимную связь. Когда Пушкин уезжал из своей южной ссылки, на прощанье она подарила поэту медальон со своим портретом-миниатюрой и один из перстней-талисманов. По ее суеверному верованию перстень должен был охранять Пушкина от всех несчастий и создавать между влюбленными невидимую связь. Тогда появились эти волшебные стихи:

Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья.
Ты в дни печали был мне дан.
Пускай же ввек сердечных ран
Не растравит воспоминанье.
Прощай, надежда; спи, желанье.
Храни меня, мой талисман.

Находясь в Михайловском, Пушкин время от времени получал письма от Воронцовой. «Сестра поэта, О. С. Павлищева, говорила нам, — писал П. В. Анненков, — что когда приходило из Одессы письмо с печатью, изукрашенною точно такими же каббалистическими знаками, какие находились и на перстне ее брата, — последний запирался в своей комнате, никуда не

выходил и никого не принимал к себе». Во избежание возможного скандала Пушкин дал Воронцовой слово не хранить ее письма, а сжигать немедленно по прочтении. Это было настоящей мукой. Прочитав и перечитав письмо, покрыв поцелуями сургучный оттиск перстня-талисмана любимой женщины, он бросал ее письмо в огонь.

Прощай, письмо любви!
прощай: она велела.
Как долго медлил я!
как долго не хотела
Рука предать огню
все радости мои!..

В 1827 году Пушкин и Воронцова встретились в Москве, и результатом этой встречи стало третье стихотворение, посвященное волшебному талисману — хранителю пылкой любви поэта.

Где в гаремах, наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.
И, ласкаясь, говорила:
«Сохрани мой талисман:
В нем таинственная сила!
Он тебе любовью дан.
От недуга, от могилы,
В бурю, в грозный ураган,
Головы твоей, мой милый,
Не спасет мой талисман.
Милый друг! от преступленья,
От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья,
Сохранит мой талисман!»

На черновике стихотворения поэт поставил пять сургучных оттисков сердоликовой печати с каббалистическими знаками. Пушкин даже не знал, какую тайну скрывают письмена, вырезанные на сердолике. Подаренным Воронцовой перстнем были запечатаны многие письма поэта, и эти же сургучные оттиски встречаются на полях многих рукописей. Он часто протирал его замшей, доводя до зеркального блеска, панически

боялся потерять его и носил перстень на большом пальце правой руки в особо важных случаях. (На известном портрете Пушкина работы В. А. Тропинина хорошо виден этот перстень-талисман.) В минуту редкой откровенности Пушкин признался как-то, что верит в магические свойства талисмана, охраняющего его от беды, и особенно верит в то, что талисман таинственно связан с его поэтическим даром: утрата талисмана повлечет за собой и утрату этого дара. Поэтому в то время, когда поэт не писал, перстень хранился запертым в секретере, в специальном сафьяновом футляре.

И в роковой день дуэли Пушкин не расставался с перстнем. Но он не спас его от смерти…

Но вернемся к истории, событиями которой был богат 1856 год.

Обязательство не иметь флота в Черном море значительно подрывало военную мощь России, и многие от души огорчались невыгодным миром. Но император Александр II вполне обдуманно пошел на уступки. Им руководил глубокий и верный расчет: внутренние дела России требовали всего внимания и заботы императора. Именно в 1856 году в своей речи к московскому дворянству Государь ясно выразил свои намерения, сказав, что «существующий порядок владения крестьянами не может оставаться неизменным». На пути к реформе у Александра II было много противников. Однако нам важно отметить, что относительно задуманного им преобразования царь часто совещался с Сергеем Степановичем Ланским, министром внутренних дел, двоюродным братом Петра Петровича Ланского. Под влиянием этих бесед министр стал убежденным сторонником отмены крепостного права и много поработал для проведения в жизнь этого великого дела.

Не удивительно ли, что Наталью Николаевну окружали люди, поработавшие славе отечества: Пушкин, Вяземский, Плетнев, Жуковский, Ланские и многие другие… Не будет преувеличением сказать, что общение с лицами историческими стало делом ее обыденной жизни — и в первом, и во втором браке. Но эта тема еще только ждет своих исследователей.

Поэт Жуковский — благороднейший, умнейший и широко образованный человек — был воспитателем наследника престола — старшего сына Николая Павловича Александра Николаевича, будущего императора Александра II, оставшегося в истории с наименованием Освободителя за то, что отменил крепостное право. К своему высокому званию — наставника будущего царя России — Жуковский решил основательно подготовиться. Он испросил у Государя отпуск за границу и, пользуясь там

свободным временем, в течение года усиленно готовился. «Я весь поглощен одною мыслью, и эта мысль, основанная на любви, оживляет все мое существо», — писал поэт из-за границы своим друзьям. Прежде чем заняться с царственным воспитанником, Жуковский составил план учения, который утвердил Государь, а в помощь ему были приглашены лучшие учителя того времени.

Пушкину было дано откровение свыше о трагической судьбе венценосного воспитанника Жуковского. Дело происходило «в Царском Селе на квартире Жуковского, — вспоминает А. П. Арапова. — Вечером к нему собрались невзначай человек пять близких друзей; помню, что между ними находился кн. Вяземский, так как в его памяти тоже сохранилось мрачное предсказание. Как раз в этот день наследник Александр Николаевич прислал в подарок любимому воспитателю свой художественно исполненный мраморный бюст. Тронутый вниманием, Жуковский поставил его на самом видном месте в зале и радостно подводил к нему каждого гостя. Посудили о сходстве, потолковали об исполнении и уселись за чайным столом, перейдя уже на другие темы.

Пушкин, сосредоточенный и молчаливый, нервными шагами ходил по залу взад и вперед. Вдруг он остановился перед самим бюстом, впился в мраморные черты каким-то странным, застывшим взором, затем, обеими руками закрыв глаза, он надтреснутым голосом вымолвил:

— Какое чудное, любящее сердце! Какие благородные стремления! Вижу славное царствование, великие дела и — Боже! — какой ужасный конец! По колени в крови! — и как-то невольно он повторял эти последние слова….

Жуковский и Вяземский, поддавшись его настроению, пытались его успокоить, приписывая непонятное явление нервному возбуждению, и всячески ухищрялись развлечь его. Это им, однако, не удалось, и, под гнетом мрачных мыслей, вернулся он ранее обыкновенного домой и передал жене этот странный случай».

В 1881 году царь Освободитель погиб от руки террориста Гриневецкого. Утром Александр II отправился на развод караула. На обратном пути около трех часов на Екатерининском канале под его карету была брошена бомба, убившая и ранившая казаков его конвоя и случайных прохожих. Император не пострадал и, несмотря на настоятельные просьбы кучера не покидать блиндированную карету, подошел к схваченному бомбометателю и спросил: «Ты бросил бомбу? Кто такой?» Затем наклонился над умирающим мальчиком и убитым казаком и направился к неподвижно стоящему у решетки канала человеку, который

неожиданно поднял руки вверх и с силой бросил между собой и императором сверток с бомбой. Александр II и его убийца Гриневецкий, смертельно раненые, сидели почти рядом на снегу, опираясь руками о землю, спиной о решетку канала…

Царя подняли и перенесли в сани. Одежда была сожжена или сорвана взрывом, ноги его были совершенно раздроблены и почти отделились от туловища. Подбежавшему Великому князю Михаилу Николаевичу император еще имел силы объявить свою волю: «Несите во дворец… там… умереть…» Умирающий, лишившийся сознания Государь был привезен во дворец и через несколько часов скончался. Царь-Освободитель стал царем-мучеником.

Это немыслимое покушение на священную особу царя было совершено спустя четверть века после его вступления на престол, развязав руки террористам всех мастей. Наталья Николаевна не дожила до тех смутных времен, свидетелями и современниками которых стали ее дети и внуки.

На месте, где был смертельно ранен император Александр II, на всенародные пожертвования был возведен храм Воскресения, что на крови.

Семейный роман в письмах

Много повидала на своем недолгом веку Наталья Николаевна Пушкина-Ланская. Пережитые ею страдания расшатали ее крепкий, от природы здоровый организм задолго до старости. Но и об этом знали только близкие.

У нее часто болело сердце, по ночам мучалн судороги в ногах, которые начались в те дни, когда умирал Пушкин. Нервы ее не в порядке, она начала курить… Судя по известным нам симптомам, у Натальи Николаевны было истощение нервной системы и хроническая усталость — не мудрено для женщины, имеющей большое семейство, для которого постоянно не хватало необходимых денежных средств для образа жизни, приличествующего ее кругу. В самые последние годы болезнь перекинулась на легкие.

Еще в 1851 году состояние здоровья жены вынудило Ланского уговорить ее поехать лечиться за границу. Зная, как трудно ей расстаться с семьей и что ради себя она никогда на это не согласится, Петр Петрович, видимо, сговорился с врачами, которые уверили Наталью Николаевну, что нуждается в лечении Маша Пушкина, и настояли на поездке «на воды».

Весной Наталья Николаевна с сестрой Александрой Николаевной, дочерьми Марией и Натальей выехали в Германию — в сопровождении горничной и преданного слуги Фридриха.

Именно эта поездка оставила по себе запечатленную память — в сохранившихся обширных письмах-дневниках Натальи Николаевны к мужу. О характере этих писем, долго не рассуждая, хорошо сказать словами поэтессы графини Ростопчиной: «Я лучше разобью навеки свою чернильницу и брошу все перья, нежели соглашусь составлять бальные сцены, мелочные разговоры, перечни семейных чаев и бутербродов; вся эта будничность и пошлая внешность мне страх надоели у других; от того-то я и пишу свой роман в письмах, где лица мои будут рассказывать и выражать свою внутреннюю жизнь, свои чувства, страсти и стремления…»

Письма печатаются в сокращении.

7 июля 1851 г. Бонн

«Вутц только что вышел от меня, и первым моим движением было дать тебе отчет, мой славный Пьер, об этой консультации. Результаты весьма незначительны. Если только сколь-нибудь серьезно заболеваешь, теряешь всякое доверие к медицине. У меня было три врача, и все разного мнения… К счастью, я

чувствую себя лучше, иначе можно было бы потерять голову и всякое доверие к знаниям этих господ, которые друг другу противоречат… Может быть, я повидаю еще раз Вульфа, но визиты этого знаменитого профессора меня разорили бы: каждый его визит стоит золотой. Если я буду лечиться у него долго, мне не на что будет продолжить путешествие. С общего согласия мы решили пробыть в Годсберге до субботы, я продолжу, по совету врача, молочные ванночки. Посмотрим достопримечательности и окрестности Бонна, который мне кажется очаровательным, воздух великолепный. Потом, если все будет благополучно, мы поедем в Спа, где пробудем неделю, потом в Брюссель и Остенде. Не знаю теперь, на что решиться в отношении морских ванн, подожду еще, что ты мне напишешь о мнении Керелли (петербургский врач Ланских. — Н. Г.). Но хватит говорить о моей болезни, мне надоело писать тебе об этом, так же, как я полагаю, тебе читать.

Сегодня утром я тебе писала, что личности, сидящие с нами за табльдотом, мало интересны, придется мне исправить свою ошибку. Мы, оказывается, были в обществе ни много ни мало как князей. Два князя Тур ле Таксис учатся в Боннском университете, первый из них — наследный князь. С ним был еще князь Липп-Детмольдский. Что касается последнего, то уверяю тебя, что Тетушка, рассмотрев его хорошенько в лорнетку, не решилась бы взять его даже в лакеи. У двух первых физиономии тоже совершенно незначительные, но все-таки не такие отвратительные. Остальные сидящие за столом — профессура и несколько англичан. Словом, этот город в высшей степени ученый. От нас только будет зависеть, стать или нет тоже учеными…

Потом пришел лакей, который выполнял мое поручение в отношении врача, так как Фридрих был нездоров сегодня утром. Этот лакей — оригинальный старик, который рассказал нам, что он воевал в 1812 году с Россией с армией Наполеона, и, коверкая язык, бормотал по-французски, что, когда его взяли в плен в России, его барин в Перми заставил его учить французскому языку своих дочерей. Я поздравляю этих девушек с очаровательным произношением, которое они получили.

Целый день я прождала своего врача, который пришел только в 8 часов вечера, что очень жаль, так как погода была изумительная… А сейчас уже 10 часов, и я иду спать, верная своей привычке ложиться рано… Спокойной ночи, дорогой Пьер. Бог с тобой, душа моя. Обнимаю тебя, так же как и дети, до завтра».

Воскресенье 8 июля 1851 г.

«Добрый день, мой прекрасный муж. Я только что вернулась с прогулки, так как не захотела уехать из Бонна, не посмотрев его. Я им очарована, это один из красивейших городов из тех, что я видела. Улицы широкие, хорошо вымощенные, прекрасные тротуары, великолепные дома, повсюду сады, Рейн восхитителен, никакого сравнения с Эксом, который оставил довольно неприятное впечатление. Там тоже есть хорошие улицы, но это город, похожий на множество других, тогда как Бонн имеет свою прелесть… я благодарю Керелли, что он меня сюда послал… Я посвящаю эту неделю Бонну и его окрестностям…

Я тебе послала, друг мой, отчет о моих расходах. Наша бродячая жизнь стоит дорого. Дети, Азя и Саша, не простят мне, что я снова им не пишу, так как спешу отправить письмо сегодня, как я тебе обещала, поэтому оно несколько короче, чем обычно.

Ты рассчитываешь, что мы потратим 18 дней на возвращение из Остенде в Петербург, но я начну морские ванны 15 августа, и мы будем вынуждены пробыть в Остенде до 24-го. Значит, впереди у меня 22 дня, вычтя 18, я могу пожертвовать Фризенгофу четыре. И это будет справедливо, мой повелитель.

Никогда я ему ничего не говорила о двух неделях, не знаю, откуда он это выдумал. Сама Александрина не могла ему этого сказать[7], об этом и речи не было, и количество дней не назначили. Будь спокоен, твое сокровище будет у тебя к 15-му, я — женщина, которая держит слово. Жду с нетерпением решения Керелли по поводу Мари, мне необходимо знать, могу ли я вернуться с ней в Россию, не вызвав еще каких-нибудь новых болезней.

Ты по-прежнему не имеешь привычки отвечать на все мои вопросы, хотя они достаточно важны, этот, во всяком случае: не забудь. А многие другие остались без ответа вообще; я вижу, что ты, кажется, меня считаешь чуть ли не ребенком. В письмах Фризенгофа встречаются строки, по которым, мне кажется, можно подумать, что вы говорите обо мне, и, довольно часто, очень легкомысленно. «Мы говорили о том-то и о том-то (я не знаю, о чем двое мужчин, столь непогрешимых, могут рассуждать), но конец (результат) был всегда один и тот же: он не одобряет свою жену и находит, что она просто ребенок». Ну, господин мой муж, я не люблю, когда Вы так судите о своей жене и не защищаете ее. Если ты не одобряешь что-нибудь из того, что я сказала или сделала, скажи мне об этом сам прямо, а не другим.

Вот и ссора на немецкий лад, но, что поделаешь, я еще немного сердита на тебя, и время от времени это прорывается [8]. = Я вообще на обоих вас была зла вчера. Фризенгоф воображает, что он так глубокомыслен и умен, что все другие дураки, а ты ему

поддакиваешь. Вот я вас обоих проучу — в Вену не поеду, а на место, чем к тебе приехать, уеду на зиму в Италию. А вы, умницы, соединитесь да смейтесь над нами. Смеется хорошо тот, кто смеется последним! Не беспокойся о деньгах, я найду всегда, кто мне их даст. Но, в конце концов, если ты захочешь признать свою вину, я, быть может, соглашусь не исполнить своей угрозы. Шутки в сторону, но правда, что вчера я была взбешена. Надо, однако, мне заканчивать свое письмо, уже звонят к обеду… Прими же мой нежный поцелуй, дорогой Пьер, так как, несмотря на все твои недостатки, я все еще очень, очень люблю тебя. Прощай, ангел мой, Бог с тобою, укладываюсь и, наконец, в путь пускаюсь. Азю, Соню, Лизу, Сашу, Гришу, всех вас очень, очень целую. =

Годсберг, 9 июля 1851 г.

…Вчера я писала тебе письма, обоими я недовольна. Я должна была писать наспех, и сама не знала, что тебе пишу. Мне кажется, я задала тебе головомойку, хотя ты ее заслужил, я была накануне вне себя, раздражена более, чем обычно, если бы не это, я бы не сердилась так сильно. Не сердись на меня, и помиримся, как это мы всегда делаем после наших размолвок…

Отель, в котором мы здесь остановились, лучший из двух. Он не очень элегантен, но имеет одно преимущество — дешевле. У нас две спальни, маленькая гостиная, а рядом — большая с балконом, которая также в нашем распоряжении, затем две комнаты для горничной и Фридриха. День здесь стоит от 6 до 7 талеров за все. Но самое главное преимущество — тут нет соблазнов — магазинов — здесь их нет. А красивых видов и прогулок — множество: и ослики, и верховые лошади для выездов в горы, которые находятся на другом берегу Рейна. Мы хотим доставить себе это удовольствие сегодня вечером. Дети уже вчера катались на лошадях и осликах, это очень их позабавило. Мы с Александриной оставались в саду, который находится через дорогу от дома. Там много зелени, цветов, очаровательные рощицы, беседка, где можно выпить чаю. Столы и скамейки повсюду. Наконец-то у нас было то, что нам хотелось — деревня, природа. Это приблизительно, как у нас на Островах, хотя все же менее роскошно…

Поцелуй нежно Азиньку, скажи ей, что ей здесь было бы очень весело… Поцелуй также Соню и Лизу, и обоих моих сыновей.

Поверь, что не ты один страдаешь от нашей разлуки. С каждым днем она мне все тяжелее, и мне трудно выразить все, что я чувствую. = Довольно того, что нигде себе места не нахожу, и только тогда мне немного легче, когда в движении нахожусь, в

дороге. Некогда предаваться тоске, иначе хоть на стену лезь, а ты знаешь, что скука не в моем характере, я этого чувства дома не понимаю… Ну, покамест прощай, душа моя… Целую бессчетно тебя и детей. =

Вторник, 10 июля

Вот я снова с тобой, мой друг Пьер… прозвонил колокол к обеду, и мы все собрались, чтобы отправиться на это главное событие дня и познакомиться с вновь прибывшими, посланными нам судьбой. Человек 30 было за столом, но ни одной культурной физиономии. Напротив нас сидели добродушные толстые немцы, типичные для своей нации. Немного подальше — голландская семья, а в конце стола англичане. Последние всегда держат себя хорошо, к какому бы классу они ни принадлежали. Две немецкие семьи… познакомились с нами… начали длинный разговор о Петербурге, железных дорогах и так далее. Мы предоставили им возможность спорить между собой, а так как мне трудно поддерживать длинный разговор на их языке, мы отвечали по-немецки только на вопросы… Обед длился долго, принимая во внимание, что подают около 20 блюд…

После этого я послала за коляской, чтобы поехать посмотреть окрестности. Кучер очевидно имел привычку расхваливать путешественникам родные места. Он повез нас на гору Роланда, где находятся руины, с которыми связана немецкая легенда о рыцаре Роланде. Он рассказал нам очень интересную историю о нем.

Когда мы приехали к горе, то обнаружили, что все ослики были взяты компанией путешественников, которые приехали раньше нас. В ожидании их возвращения мы отправились на лодке на соседний остров, где находится женский монастырь. Нам хотелось увидеть монахинь, а не ограду и бедную, ничем не примечательную церковь, которые нам показал садовник, сказав, что в монастыре всего пять монахинь, руководящих воспитанием молодых девушек, что устав монастыря очень строг и никто из посторонних светских людей не может их видеть. Мы снова сели в лодку, чтобы отправиться обратно.

Ослы уже вернулись. Каждая из нас села на своего ослика верхом, и мы пустились в путь. Не могу сказать, чтобы этот способ передвижения мне понравился. Заставлять их идти вперед только ударами палки не особенно приятно… Возвратившись в отель, мы пошли в сад и вдруг увидели большую кавалькаду. Это были наши князья де Таксис и с ними большое общество. Они нас узнали. Хозяйка, которая была в этот момент с нами, увидев, что мы знакомы, была очень удивлена и потом засыпала нас

вопросами. Она, видимо, сочла нас близкими ко двору, так как когда мы попросили чаю, нам подали его в сад и совсем иначе сервированный, чем накануне: посуда гораздо лучше и сам завтрак более дорогой, что понравилось Натали, которой надоели вечные бутерброды. Но мы еще больше удивились, когда Александрина, повернув голову, увидела хозяйку, которая ставила горшки с цветами на наши подоконники. Это был сюрприз к нашему возвращению. В общем, эти знаки внимания нам понравились, лишь бы они не увеличили посягательств на наш кошелек…

Когда мы гуляли по саду, Мари и Натали отошли от нас немного, чтобы полакомиться ягодами, которых здесь очень много. В кустарнике они были атакованы пятью нашими соседками по столу, которые засыпали их вопросами, а девушки должны были отвечать, удовлетворяя их любопытство. Соседки были изумлены, когда узнали, что Натали свободно говорит по-французски, а также знает немецкий.

У меня есть еще немного времени, чтобы ответить на твое последнее письмо. Я не существую с тех пор, как покинула Петербург, — просто машина, которая двигается. Все мои мысли направлены к одной цели — считать остающиеся мне дни. Я стала бестолковой и нахожу, что мои письма глупы. Поцелуй моих маленьких детей и обоих мальчиков.

А после обеда мы поедем в Крецберг, посмотреть на монахов в склепе, которые там лежат непогребенными много веков и, как говорят, чудесно сохранились…

Благодарю тысячу раз, мой добрый друг, за все твои ласковые слова, которые ты мне говоришь, и не сердись за упреки, что часто вырываются из-под моего пера. До свидания, душа моя, целую тебя и детей, да хранит вас Бог».

11 июля

«Я только что получила твое доброе, прекрасное письмо, и мне стало стыдно, дорогой Пьер, за нехорошее письмо, что я послала тебе на днях. Пожалуйста, прости меня, но я в плохом настроении, а ты как раз тот человек, которому я высказываю все свои жалобы. Я знаю твое прекрасное сердце и то, что в тебе очень много снисходительности.

Ничто не может меня развлечь, ни путешествие, ни новые места. Я ношу в себе постоянное беспокойство, и это заставляет меня желать постоянной перемены мест. Я снова стану здоровой и веселой, только когда придет день моего отъезда в Россию.

Большое спасибо тебе за лекарство, о котором ты пишешь, я непременно им воспользуюсь и в который раз повторяю тебе, что

все эти консультации врачей — выброшенные деньги. Ухо мое, слава Богу, совсем поправилось. Последние дни мои нервы были в плохом состоянии, но вот уже второй день я стала выглядеть нормально, а то моя бледность поражала всех, и соседи по столу считали меня больной, которую отправили за границу дышать горным воздухом. Вчера они заметили, что я лучше выгляжу, и наговорили мне всяких комплиментов. Надо сказать, что я отдаю должное великолепному здешнему воздуху по сравнению с городским. И тем не менее, я жду с нетерпением возможности уехать. Лучший воздух для меня — это воздух родины. = День ото дня все тоскливее. Встану — считаю дни, благодарю Бога, что одним меньше. = Одним словом, я не думаю, что ты чувствуешь себя более несчастным, чем я. Я совершенно теряю разум, ты это можешь видеть по письмам, что я тебе пишу, никогда раньше я не писала столь глупых. Какая-то апатия владеет мной, и я просыпаюсь, только когда получаю твои письма…

= Моя Маша стала толстеть, это приводит ее в отчаяние, намедни она даже на этот счет поплакала, чем нас всех весьма насмешила. Если на нее посмотреть, никто не может сказать, что мы за границей для нее, все думают, что для меня, ибо у меня в иные дни лицо весьма некрасивое. Вот только два дня, как лицо не мертвое…

Я была очень рада узнать, что к тебе хорошо относится вся царская фамилия. Визит Великого князя Константина вызывает у меня беспокойство как матери, я уверена, что девочки были не в лучшем виде. Я не думаю о Софи, которая очень красива безо всяких особых приготовлений, но моя бедная Азинька и Лиза могли не произвести желаемого благоприятного впечатления. Азя привлекательна, когда ее знаешь, как знаем ее мы. Застенчивость не в ее характере.

Что меня заставляет смеяться, так это разница тех обществ, которые нас окружают, тебя и меня, не может быть большего контраста. Ты видишь императора, великих князей и высшее общество, а я становлюсь буржуазной: наши лучшие друзья — наша хозяйка и женщины в водолечебнице. Что меня поразило в Берлине и вообще во всей Германии, это что аристократии, кажется, вообще не существует. И княгиня Бирон, которой я высказала свое мнение, нашла его правильным и подтвердила, что даже в Берлине нет высшего общества, а это все же столица. Дипломатический корпус — вот основа общества. Окружение Двора кажется таким жалким по сравнению с нашим. Вообще Германия противна. Мне довольно любопытно переступить границу Бельгии. Хотя я не ожидаю лучшего, но что-нибудь другое по крайней мере. =

…дорогой Пьер, и, пожалуйста, успокой Семена (старого слугу Ланских. — Н. Г.), скажи ему, чтобы он снял комнату недалеко от нас, я буду ее оплачивать. Я не хочу, чтобы в старости он считал себя уволенным…

Натали теперь занята вышиванием одной из твоих туфель. Прошу тебя верить, что она захотела это сделать сама. Она работает то над одеялом для Ази, то над туфлей.

Я была в восторге, когда узнала, что Азя (которой исполнилось 6 лет. — Н. Г.) умеет шить и подрубать платки, как это мадемуазель Констанции удалось побороть ее нетерпеливость, это, право, чудо. Сказать тебе не могу, до чего мне хочется поцеловать ее в обе толстые щечки. Не дождусь этого счастья.

12 июля. Годсберг

Начну с того, что целую тебя, мой дорогой, добрый Пьер, а также и детей… я остановилась на позавчерашнем обеде. Он прошел, как обычно. Войдя, начинаешь с того, что отвечаешь на приветствия собравшегося общества, потом начинаются вопросы о том, как провели вечер накануне, советы, какие экскурсии сделать сегодня. Голландки задают глупые вопросы об императоре и вообще считают нас дикарками. Англичанин, сидящий около Мари, спросил ее, в какое время года больше всего веселятся в Петербурге, она сказала — на балах, зимой. Он очень удивился, как это можно танцевать в такой холод! Мари повергла его в задумчивое удивление, сказав, что бывает так жарко, что открывают окна, чтобы проветрить бальный зал. Он также спросил ее, едят ли у нас мороженое и какие прохладительные напитки подают на балах. Эти дураки были бы очень удивлены, найдя в Петербурге такую роскошь, о которой представления не имеют, и общество несравненно более образованное, чем они сами…

Рядом с нами находится общая гостиная, где все собираются после обеда, что касается нас, то мы предпочитаем свою гостиную, где проводим время до прогулки. В пять часов приехал фиакр, чтобы отвезти нас в Крецберг. Ехали через Бонн. Восхитительный город, даже лучше Берлина, который все же мне понравился.

Крейцберг — это гора в одном лье от города. Там нам показали красивую церковь, место паломничества, и интересный склеп, который называют склепом монахов, потому что там можно увидеть более 20 тел монахов, которые, якобы, хорошо сохранились, в действительности я увидела только высохшую, как пергамент, кожу и ногти на пальцах… В церкви нам показали

великолепную мраморную лестницу, по которой ходят только в дни больших религиозных праздников, потому что она сделана наподобие той, по которой поднимался Христос, идя к Пилату, и каждая ступенька является реликвией.

На этой горе был некогда старинный монастырь, который во время Революции был разрушен французами, а монахи разбежались. Потом там построили кабаре. Профанация, которой я не понимаю в католической стране, где люди так набожны.

Вернулись в город и по дороге зашли в музей, где женщина, которая была в очень плохом настроении, так как ее вытащили из постели, показала нам поспешно залы, которые могли быть интересны только для ученых, но не для нас — коллекцию минералов. Наконец, мы дошли до зала зоологии. Раньше здесь была церковь, и стены расписаны на священные сюжеты. Это место нашли наиболее подходящим, чтобы показывать всякие земные чудовища. Что нас заинтересовало больше всего, это заспиртованные зародыши, иначе говоря, дети чудовищ, еще не родившиеся. Закончив экскурсию, мы вернулись к отдохнувшим лошадям, купили вишен и, как добрые немецкие буржуазки, принялись их есть; они здесь очень хороши и дешевы…

Здоровье мое решительно лучше, я больше не глухая, что касается больного уха, то нерв еще чувствуется…

Итак, до завтра, дорогой друг.

13 июля

Я только что получила твое доброе длинное письмо, дорогой Пьер, тысячу раз благодарю тебя за все ласковые слова, которые оно содержит. = Прочтешь твое письмо, так на сердце легче станет… =

Утро прошло как обычно — принимала ванну, занималась своим туалетом, а там пришло время спускаться к обеду…

Вчера я договорилась с одним мальчиком, из тех, что мы встретили в горах, чтобы он нас проводил в деревню по соседству, о которой нам рассказали, что там очаровательный вид на Рейн. Бедный мальчуган был так счастлив, что именно на него пал выбор, что вместо 5 часов после обеда, как заметил Фридрих, он с 6 часов утра бродил возле отеля около наших окон, боясь нас пропустить.

В назначенный час мы вдруг увидели, что небо покрылось черными тучами, угрожавшими грозой. Едва мы собрались на экскурсию, как начался дождь. Выражение лица нашего маленького гида было таким жалким, со слезами на глазах, что я уже хотела дать ему на чай и отпустить, как Фридрих, непременный участник всех наших прогулок, убедил меня, что

дождь скоро кончится и что мы сможем пойти на прогулку. На этот раз предсказание его исполнилось, тучи рассеялись, и вечер стал чудесным… Дойдя до кабачка, расположенного на берегу Рейна, мы спросили простокваши, и нам подали превосходную, какой мы никогда не ели у нас дома. Подкрепившись и полюбовавшись видами, мы отправились в путь с большим удовольствием по очаровательным аллеям…

Вечером хотела написать тебе, но в 9 часов сон так одолевает меня, что я ложусь, как младенец. Утром Фридрих, не сказав мне ничего, сделал прогулку в город, а это далеко, справиться на почте, нет ли писем. Он принес мне твое письмо, которое я ожидала получить только завтра. Так что я прочла его рано утром и тотчас же села писать тебе, что я делала днем, так как завтра утром я снова буду в дороге…

Я составила план путешествия, который тебе при этом посылаю, и ты можешь им руководствоваться. Во всяком случае, если это письмо запоздает и ты уже послал несколько писем в Брюссель, я пошлю туда Фридриха, это всего в нескольких часах езды. В Остенде я предполагаю остаться на 20 дней, по числу предписанных мне ванн… Из Остенде до Бонна я поеду по железной дороге. В Бонне я сяду на пароход и, нигде не останавливаясь, доеду до Мейнца. Я не интересуюсь никакими экскурсиями, ограничимся тем, что будем любоваться берегами, этого достаточно, чтобы удовлетворить наше любопытство, из Мейнца до Франкфурта — поездом. В Дрездене остановлюсь, только чтобы посмотреть Швейцарию и Саксонию, как советовали Мещерские…

15-го, повторяю, я буду у тебя во что бы то ни стало.

Должна тебе сказать, что я очень мало расположена купаться в море, если это будет во вред моему уху, обретя слух, я боюсь его снова потерять. С тех пор, как я много бываю на воздухе, я чувствую себя прекрасно. Морского воздуха будет достаточно, чтобы поддержать это самочувствие. Вода может способствовать возвращению боли, от которой, слава Богу, я совсем избавилась, вот уже неделя, как голова у меня не болит, если не считать шума в больном ухе. Может, я смогу и от него избавиться. Если нет — примирюсь с этим. Что бы ты ни говорил — все врачи глупцы. Я не хочу ни с кем консультироваться, кроме моего друга Конена, ради которого я хочу остановиться ненадолго в Аахене. Что касается пребывания в Остенде, где, ты предсказывал, будет очень скучно, то мне это безразлично при моем отношении ко всяким развлечениям. О поездке в Бонн для консультации с врачами я и думать не хочу. Я до сих пор жалею тот золотой, что заплатила врачу. Лучше всего путешествовать, быть в дороге, если нигде не

чувствуешь себя хорошо, движение прогоняет скуку и тоску, любуешься прекрасными видами и дышишь свежим воздухом. Хотела ночевать в Бонне, но прачка задержала белье…

Описание праздника кавалергардов, что ты мне делаешь, очень интересно, это, должно быть, было очень красиво, я огорчена, что все не могла присутствовать. Благодарю тебя за подробности, которые были мне очень интересны. Это мне напомнило мою жизнь в Стрельне, которую я никогда так не ценила, как теперь…

Что касается Фризенгофа, то, при всем его уме, он часто многое слишком преувеличивает, тому свидетельство его страх перед несоблюдением приличий и общественным мнением до такой степени, что в конце концов даже говорит об отсутствии характера. Я не люблю этого в мужчине. Женщина должна подчиняться, законы в мире были созданы против нее. Преимущество мужчины в том, что он может их презирать, — а он несчастный всего боится. Тому свидетельство его любовь. Он дрожит, как бы его брат или венские друзья не догадались об этом. Это удерживает его от заключения брака ранее положенного срока, чего он хотел бы сам. Я прекрасно понимаю, что он хочет выдержать годичный срок вдовства, и от этого зависит его боязнь Тетушки и брата, а вовсе не от состояния его дел. Но, пожалуйста, все это только между нами. Никому ничего не говори и будь осторожен с моими письмами, прячь их, как только прочтешь.

Кстати, по поводу любовных страстей и тому подобных вещей. Я имею сведения о Вяземском через Фризенгофа, который пишет Александрине, что князь очень нездоров, что опасались за его рассудок, и что сам он думал, что сойдет с ума и заявил жене, что если подобное несчастье с ним случится, он застрелится. Его быстренько отправили в Ревель для перемены обстановки и воздуха. Я хотела было ему написать, но времени нет совершенно.

Влюбленность Саши заставила всех нас долго смеяться. Это крещение всех пажей, которые считают своей обязанностью за мадемуазель Претвиц. Саша не был бы Сашей, если бы не прошел через это.

Но Азя действительно ужасна со своими сплетнями. Ладно еще касательно брата, что не будет иметь серьезных последствий, но я в отчаянии, когда это касается ее болтовни об Орлове Александровым. Я надеюсь, что ты ее как следует отругал. Она, право, бедовая.

Все-таки поцелуй ее и поблагодари за желание поскорее меня увидеть, я очень тронута.

Но пора мне уже тебя покинуть, все ложатся спать, и мне надо последовать их примеру. Может, я добавлю завтра несколько

слов до отъезда. Спокойно ночи, дорогой Пьер, поцелуй нежно моих сыновей. Поздравь Сашу с его так называемой любовью, он так долго сопротивлялся всяким чувствам. Скажи Грише, что я исполню непременно его желание. Поцелуй также тысячу раз Софи и Лизу».

Суббота 14.

«Александрина только что получила свое письмо, и мы сейчас уезжаем в Аахен. Я могу только наскоро тебя поцеловать. Надо еще уплатить по счетам хозяйке отеля.

Нежно целую вас всех, мои дорогие муж и дети. Александрина, Мари и Таша шлют тысячу поцелуев».

Всего лишь неделя счастливой семейной хроники дошла до нас в письмах Натальи Николаевны. Она прожила с П. П. Ланским 19 лет.

Начало и середину этого «семейного романа» мы знаем. Примемся за его окончание…

«Отец пережил ее на целых четырнадцать лет, но она ясно предвидела глубокую, неизлечимую скорбь, ставшую его неразлучной спутницей до последнего дня его жизни. Сколько тихих слез воспоминания оросили за эти долгие годы ее дорогую могилу в Александро-Невской лавре, посещение которой стало его насущной потребностью. Как часто, прощаясь со мной, отходя ко сну, он говаривал с облегченным вздохом: «Одним днем ближе к моей драгоценной Наташе». Да, такую любовь способна внушить не красота плоти, чары которой гибнут во мраке и ужасах могилы, а та возвышенная чистота и благородство души, которая, как отблеск вечного, манит за собой в лучший, горний мир», — свидетельствует о своих родителях дочь Александра Петровна Арапова.

У последней черты

Прощание всегда печально, особенно с человеком редкой души и сердечности. Смерть — удел любого человека. Но для христиан за гробом открывается жизнь Вечная. Бог верующих — не Бог мертвых, но Бог живых. Жестоко мучила Наталью Николаевну предсмертная болезнь, но однако ж и у нее в момент смерти, подобно как у Пушкина, «отпечаток величественного, неземного покоя сошел на застывшее, но все еще прекрасное чело». Теперь они вместе — на Небесах, где Бог утрет всякую слезинку и уничтожит страдания… «Здоровье ее медленно, но постоянно разрушалось, — записала о последних днях своей матери А. П. Ланская-Арапова. — Она страдала мучительным кашлем, который утихал с наступлением лета, но с каждой весной возвращался с удвоенной силой, точно наверстывая невольную передышку. Никакие лекарства не помогали, по целым ночам она не смыкала глаз, так как в лежачем положении приступы ее учащались, и она еще теперь мне мерещится, неподвижно прислоненная к высоким подушкам, обеими руками поддерживающая усталую, изможденную голову. Только к утру она забывалась коротким лихорадочным сном…

Последнюю проведенную в России зиму 1861 года она подчинилась приговору докторов, и с наступлением первых холодов заперлась в комнатах. Но и этот тяжелый режим не улучшил положения…

Продолжительное зимнее заточение до такой степени изнурило мать, что созванные на консилиум доктора признали необходимым отъезд за границу, предписывая сложное лечение на водах, а затем пребывание на всю зиму в теплом климате.

Отец не задумался подать просьбу об увольнении от командования Первой гвардейской дивизией, передал управление делами своему брату и, получив одиннадцатимесячный отпуск, увез в конце мая всю семью за границу.

В Швальбах мать прибыла такою слабой, что она еле-еле могла дотащиться до источника…

Успешное лечение в Вилдбадене, осень в Женеве и первая зима в Ницце оказали на здоровье матери благоприятное влияние. Силы восстановились, кашель почти исчез, и если проявлялся при легкой простуде, то уже потерявши острую форму. Отец со спокойным сердцем мог вернуться на службу в Россию, оставив нас на лето в Венгрии у тетушки Фризенгоф, так как, чтобы окончательно упрочить выздоровление, необходимо было еще другую зиму провести в тех же климатических

условиях.

Но за период этой разлуки случилось обстоятельство, сведшее на нет с таким трудом достигнутый результат. Дурные отношения между моей сестрой (Натальей Пушкиной-Дубельт. — Н. Г.) и ее мужем достигли кульминационного пункта, они окончательно разошлись и, заручившись согласием на развод, она с двумя старшими детьми приехала приютиться к матери… Летние месяцы прошли в постоянных передрягах и нескончаемых волнениях… Забрав с собой сестру и ее детей, мы направились в Ниццу на прежнюю виллу, оставленную за нами с весны.

Не знаю, приезд ли отца, его беззаветная любовь, нежная забота, проявляющаяся на каждом шагу, или временное затишье, вступившее в бурную жизнь сестры, приободрили мать, повлияв на ее нервную систему, но зима прошла настолько благополучно, что в мае она категорически объявила, что пора вернуться домой.

Смутное время, переживаемое Россией в 1861 году, уже выразилось Польским восстанием, отец считал неблаговидным пользоваться долее отпуском, а опять расставаться с ним ей было не под силу. Наконец, мне только что минуло 18 лет, наступила пора меня вывозить в свет, и я всем существом стремилась к этой минуте, да и в остальном это двухлетнее скитание прискучило, всех одинаково тянуло на родину.

Доктора единодушно утверждали, что жизнь матери может продлиться только в благодатном климате, но она, равно как и отец, склонны были считать эти заявления привычной уловкой местных эскулапов. Однако доктор-швейцарец, пользовавший ее все время, привязавшийся к ней теплым чувством, бывшим уделом всех, близко ее знавших, перед самым отъездом с неподдельной грустью поведал нашей гувернантке:

— Я сделал все возможное, чтобы воспрепятствовать этой роковой неосторожности. Запомните мои слова. Ее организм расстроен до такой степени, что самая легкая простуда унесет ее, как осенний лист…

Не прошло и полгода, как исполнилось это зловещее предсказание, и с каким сокрушенным сердцем отец и все мы, осиротелая семья, проклинали ослепивший нас тогда оптимизм…

По возвращении из-за границы мы провели лето в подмосковной деревне брата Александра, но мать часто нас оставляла, проведывая отца, который по обязанности проживал в Елагинском дворце. Из-за смут и частых поджогов, разоряющих столицу, он был назначен временным генерал-губернатором заречной части ее. Несмотря на краткость этих путешествий, они тем не менее утомляли мать, и как только она покончила устройство новой зимней квартиры, в первых числах сентября,

она выписала нас домой.

Осень выдалась чудная, помня докторские предписания, мать относилась бережно к своему здоровью, и все шло благополучно до ноября. Тут родился у брата третий ребенок, но первый, желанный, сын, названный Александром в честь деда и отца. Переселившись в Москву, он, понятно, сильно желал, чтобы она приехала крестить внука, и этого сознания было достаточно, чтобы все остальные соображения разлетелись в прах. Тщетно упрашивал ее отец, под гнетом смутного предчувствия, чтобы она ограничилась заочной ролью, — она настояла на своем намерении.

Накануне ее возвращения, в праздничной суматохе, позабыли истопить ее комнату. И этого было достаточно, чтобы она схватила насморк. Путешествие завершило простуду.

Сутки она боролась еще с недугом: выехала со мною и сестрой по двум-трем официальным визитам, но по возвращении домой, когда она переодевалась, ее внезапно охватил сильнейший озноб. Ее так трясло, что зуб на зуб не попадал. Обессиленная, она легла в постель. Призванный домашний доктор сосредоточенно покачал головой и отложил до следующего дня диагноз болезни.

Всю ночь она прометалась в жару, по временам вырывался невольный стон от острой боли при каждом дыхании. Сомнения более не могло быть. Она схватила бурное воспаление легких.

Несмотря на обычное самообладание, отец весь как-то содрогнулся: ужас надвигающегося удара защемил его сердце, но минутная слабость исчезла под напором твердой воли скрыть от больной охватившую тревогу. Мы же, частью по неопытности, частью по привычке часто видеть мать болящей, были далеки от предположения смертельной опасности. Первые шесть дней она страдала беспрерывно, при полной ясности сознания. Созванные доктора признали положение очень трудным, но не теряли еще надежду на разрешение воспалительного процесса.

— Надо ждать отхаркивания, что-то он скажет, — решили они.

Как сегодня, помню его появление. С какими страшными усилиями отделялась мокрота, окрашенная кровью. Какая безумная радость залила сердце, вызывая слезы умиления при охватившем сознании: мама спасена!

Наутро надежды рассеялись. Громовым ударом поразил нас приговор, что не только дни, но, вероятно, часы ее сочтены.

Телеграммами тотчас выписали Сашу из Москвы, Гришу из Михайловского, Машу из тульского имения.

Воспаление огненной лавой охватило все внутренности.

Старик доктор Керрель, всю жизнь пользовавший мать, утверждал, что за всю свою практику он не встречал такого сложного случая.

Физические муки не поддаются описанию. Она знала, что умирает, и смерть не страшила ее. Со спокойной совестью она готова была предстать перед высшим Судией. Но, превозмогая страдания, преисполненное любовью материнское сердце терзалось страхом перед тем, что готовит грядущее покидаемым ею детям…

В этой последней борьбе плоти с духом нас всех поражало, что она об отце заботилась меньше, чем о других близких, а как она его любила, какой благодарной нежностью прозвучало ее последнее прости…

— Ты единственный в мире, давший мне счастье без всякой примеси! До скорого свидания! Я знаю, что без меня ты не проживешь!

И это блаженное сознание, эта вера в несокрушимость любви, даже за гробовым пределом, столь редко выпадавшие на женскую долю в супружестве, способны изгладить в эту минуту все, выстраданное ею в жизни.

Этим убеждением руководилась она, благословляя и наставляя каждую из нас, как уже обреченных на полное сиротство, и, взяв слово со старшего брата, что в случае второго несчастья, он возьмет нас к себе и вместе с женою заменит нам отошедших…

Христианкой прожив, такой она и скончалась. Самые мучительные страдания не вырвали ропота из ее уст. По временам она просила меня читать ей вслух Евангелие. Собрав последние силы, она прощалась со всеми и каждого поблагодарила…

Мы все шестеро, кроме Таши, пребывавшей тогда за границей, рыдая, толпились вокруг нее, когда по самой выраженному желанию, она приобщилась Св. Тайн. Это было рано утром 26 ноября 1863 года, вслед за тем началась тяжелая, душу раздирающая агония.

Но на все вопросы до последней минуты она отвечала вполне ясно и сознательно. В предсмертной судороге она откинулась на левую сторону. Хрип становился все тише и тише. Когда часы пробили половину десятого вечера, освобожденная душа над молитвенно склоненными головами детей отлетела в вечность.

Несколько часов спустя мощная рука смерти изгладила все следы тяжких страданий. Отпечаток величественного, неземного покоя сошел на застывшее, но все еще прекрасное чело…»

Петр Петрович Ланской скончался 6 мая 1877 года. Он

отказался от чести быть погребенным внутри построенного им полкового Благовещенского собора, потому что заранее приготовил себе место на кладбище Александро-Невской лавры рядом с любимой женой.

Глава шестая
Дети

Мать-героиня

По современным понятиям Наталья Николаевна Пушкина-Ланская была бы причислена к разряду многодетных матерей, кои в наш эмансипированный век стали в диковинку.

У нее было четверо детей от первого мужа А. С. Пушкина и трое от второго — П. П. Ланского. Сколько сил было вложено в них, сколько недоумений воспитания преодолено, в скольких удовольствиях себе отказано… Ради чего, подумают некоторые. Ради самой любви к ним, считала Наталья Николаевна. Дети — дар Божий, и все они были дорогими и желанными. Как верующая и богобоязненная родительница, она, по примеру своей матери, рассчитывала лишь на свои силы, но непрестанно молилась о том, чтобы Бог, благословивший ее многими чадами, Сам помог ей воспитать их в здравии душевном и телесном.

Она свято верила, что молитва матери «со дна моря поднимает», а «благословение отчее утверждает домы чад». Оттого и Пушкин много раз просил молитв своей тещи Натальи Ивановны о своих детях, а в письмах к жене благословлял их.

Наталья Николаевна была неутомима и в устройстве земных дел детей, тщательно следила за их воспитанием и образованием, за их дружбой и привязанностями.

Материнское чутье, разум всегда подсказывал ей, что нужно делать. Когда дело касалось защиты интересов детей, Наталья Николаевна становилась настойчивой, деятельной и непреклонной. Она добилась выкупа Михайловского, отстояла капитал, образовавшийся от посмертного издания Пушкина, от посягательств Гончаровых и Пушкиных.

Свое «кредо» матери 37-летняя Наталья Николаевна прекрасно выразила в одном из писем к П. П. Ланскому:

«Я тебе очень благодарна за то, что ты обещаешь мне и желаешь еще много детей. Я их очень люблю, это правда, но нахожу, что у меня их достаточно, чтобы удовлетворить мою страсть быть материю многодетной семьи. Кроме моих семерых, ты видишь, что я умею раздобыть себе детей, не утруждая себя носить их девять месяцев и думать впоследствии о будущности каждого из них, потому что любя их всех так, как я люблю, благосостояние и счастье их — одна из самых главных моих забот. Дай Бог, чтобы мы могли обеспечить каждому из них независимое существование. Ограничимся благоразумно теми, что у нас есть, и пусть Бог поможет нам всех их сохранить».

Однако, как бы ни стремилась мать сделать счастливыми своих детей, в той же степени это зависит и от отца. Пушкин

любил своих детей, радовался, что его «семейство умножается, растет». Забота о хлебе насущном для них была одной из главных семейственных забот поэта. Но он, попустительствуя своим страстям до конца дней своих, мало задумывался над тем, что страсти, эти душевные недуги, могут передаваться в наследство детям так же, как и телесные. От того даже говорят: яблоко от яблоньки недалеко падает. Вспыльчивость, гневливость, противление авторитетам, непослушание укоренились в характерах его детей и осложнили их жизнь. Непреложный закон жизни: грехи родителей падают на детей их, не миновал и детей Пушкина. Несмотря на столь ценимую в Отечестве фамилию, покровительство царя, самоотверженную любовь матери и ее второго мужа, блестящее образование, судьбы Марии, Александра, Григория и Натальи не были столь счастливыми, как могли бы быть…

Впрочем, каждый волен судить, как понимает.

Мария

За три дня до крестин своего первенца Маши Пушкин с гордостью писал В. Ф. Вяземской: «…представьте себе, что жена моя имела неловкость разрешиться маленькой литографией с моей особы». Она родилась в Петербурге 19 мая 1832 года.

Пушкин очень любил свою «беззубую Пускину», постоянно беспокоился и справлялся о ней: «А Маша-то? что ее золотуха?»

«Моя дочь в течение последующих пяти-шести дней заставила нас поволноваться, думаю, что у нее режутся зубы. У нее до сих пор нет ни одного. Хоть и стараешься успокоить себя мыслью, что все это претерпели, но созданьица эти так хрупки, что невозможно без содроганья смотреть на их страдания».

«.. помнит ли меня Маша? Нет ли у нее новых затей?»

«Книги, взятые мною в дорогу, перебились и перетерлись в сундуке. От этого я так сердит сегодня, что не советую Машке капризничать и воевать с нянею: прибью».

«…что, если у тебя нарывы, что, если Маша больна?»

«Маша просится на бал и говорит, что она танцевать уже выучилась у собачек. Видите, как у нас скоро спеют?»

«Прощай, душа, целую ручку у Марии Александровны и прошу ее быть моей заступницей у тебя!»

Марии Александровне шел пятый год, когда погиб Пушкин, ее отец. «Хорошо, коли проживу я лет еще 25, а коли свернусь прежде десяти, так не знаю, что ты будешь делать, и что скажет Машка, а в особенности Сашка. Утешения им мало будет в том, что их папеньку схоронили как шута и что их маменька ужас как была мила на аничковых балах», — писал он Наталье Николаевне, не подозревая, что не проживет и трех лет. И что тут было сказать Машке? «Зачем, папенька, на дуэли дрался? Зачем маменьку несчастной оставил, ведь она потом всю жизнь мучилась и ее мучили, и мучения эти рано свели ее в могилу? Ах, папенька, дай Бог, чтобы мы на том свете все встретились и любили бы друг друга вечно и никогда бы уже не расставались… Вот только чья там маменька жена будет, в раю? Ведь там не женятся, не выходят замуж… А Петр Петрович был мне потом как отец. У него от маменьки еще три дочки родились, мои сестры младшие.

Им-то как было хорошо: и маменька настоящая, и папенька! Зачем ты на дуэли дрался…» Впрочем, таких слов «Машки» не зафиксировано. Но о ней вспоминают: «Было симпатично то, что она часто говорила про отца».

Некрасивая в детстве, она, как это бывает с девочками, вдруг расцвела и похорошела, и в дальнейшем в ней «соединялись

красота матери с оригинальным экзотизмом отца». Зимой 1849 года девушке предстояло «выезжать», и Наталья Николаевна, чтобы побороть застенчивость Маши, стала брать ее с собой, когда бывала у своих родственников Строгановых и де Меестров. «Что касается Маши, то могу тебе сказать, что она… произвела впечатление у Строгановых. Графиня мне сказала, что ей понравилось и ее лицо, и улыбка, красивые зубы… Признаюсь тебе, что комплименты Маши мне доставляют в тысячу раз больше удовольствия, чем те, которые могут сказать мне» (из письма Н. Н. Пушкиной-Ланской второму мужу).

Маша Пушкина, как и остальные дети поэта, получила хорошее домашнее образование. Уже в девять лет она свободно говорила на немецком и французском языках, писала и читала на них. Дочь Пушкина горячо любила русскую литературу, обладала незаурядными музыкальными способностями, прекрасно играла на фортепьяно, рисовала. По преданию, вскоре после рождения дочери Пушкин сказал жене: «Вот тебе мой зарок: если когда-нибудь нашей Маше придет фантазия хоть один стих написать, первым делом выпори ее хорошенько, чтобы от этой дури и следа не осталось!» «Этой дури» в Маше не было…

Мария Пушкина впоследствии училась в привилегированном столичном женском Екатерининском институте и после окончания его в декабре 1852 года была принята ко двору фрейлиной императрицы.

В 1860 году М. А. Пушкина вышла замуж за поручика лейб-гвардии конного полка Леонида Николаевича Гартунга. Со своей будущей женой Гартунг познакомился через братьев Пушкиных, которые вместе с ним воспитывались в Пажеском корпусе.

В 1864 году Леонид Николаевич получил чин полковника. В это время он уже возглавлял коннозаводский округ в Тульской губернии. В течение 15 лет, вплоть до смерти, он занимался «пополнением убыли лошадей» в войсках. «За отличие по службе» в 1870 году Гартунг произведен в генерал-майоры. За 25 лет безукоризненной военной карьеры он стал кавалером пяти орденов.

Гартунг с женой жили в Туле и под Тулой в имении Федяшево, которое ранее принадлежало его отцу.

В Туле же в 1868 году произошла встреча Марии Александровны Гартунг с Л. Н. Толстым в доме генерала А. А. Тулубьева. В воспоминаниях Т. А. Кузминской этот эпизод выглядит так:

«…Дверь из передней отворилась, и вошла незнакомая дама в черном кружевном платье. Ее легкая походка легко несла ее довольно полную, но прямую и изящную фигуру.

Меня познакомили с ней. Лев Николаевич еще сидел за столом. Я видела, как он пристально разглядывал ее.

— Кто это? — спросил он, подходя ко мне.

— Мадам Гартунг, дочь поэта Пушкина.

— Да-а, — протянул он, — теперь я понимаю… Ты посмотри, какие у нее арабские завитки на затылке. Удивительно породистые.

Когда представили Льва Николаевича Марии Александровне, он сел за чайный стол около нее; разговора их не знаю, но знаю, что она послужила ему типом Анны Карениной, не характером, не жизнью, а наружностью. Он сам признавал это».

В черновом варианте «Анны Карениной» Анна даже зовется Анастасией Пушкиной… По воспоминаниям, Мария Александровна отличалась «своевольным характером».

В 1877 году в семье М. А. Гартунг произошло страшное несчастье. Леонид Николаевич имел неосторожность взять на себя обязанности душеприказчика ростовщика Занфтлебена, вскоре умершего. Его родственники обвинили Гартунга в краже вексельной книги, долговых обязательств и других бумаг покойного процентщика. Состоялся суд. В «Дневнике писателя за 1877 год» Ф. М. Достоевский подробно описывал это дело и страшный конец его: «Все русские газеты толкуют о самоубийстве генерала Гартунга в Москве во время заседания окружного суда, четверть часа спустя после прослушания им обвинительного приговора над ним присяжных… выйдя в другую комнату… сел к столу и схватил обеими руками свою бедную голову, затем вдруг раздался выстрел: он умертвил себя принесенным с собою и заряженным заранее револьвером, ударом в сердце. На нем нашли тоже заранее приготовленную записку, в которой он «клянется всемогущим Богом», что ничего в этом деле не похитил и врагов своих прощает».

«Московская знать на руках переносила тело Гартунга в церковь, твердо убежденная в его невиновности… Последствия оправдали всеобщую уверенность в невиновности Гартунга. Один из родственников Занфтлебена был вскоре объявлен несостоятельным должником, да еще злостным…» — свидетельствуют воспоминания.

Известно, что супружеские отношения Гартунгов оставляли желать лучшего. Возможно, Мария Александровна не проявила должного участия и сострадания в деле мужа, она сама признавалась, что «…ужасная смерть моего мужа была страшным ударом для меня. Когда я приехала в Окружной суд, надеясь еще увидеть его живым, и когда я увидела только его бездыханное тело, я забыла все наши ссоры. Я помнила только хорошие наши

дни, потому что они у нас были, как и у всех других, и в тот момент я отдала бы все, чтобы его снова воскресить, хотя бы на одно мгновение… Я была с самого начала процесса убеждена в невиновности в тех ужасах, в которых обвиняли моего мужа. Я прожила с ним более 17 лет и знала все его недостатки: у него их было много, но он всегда был безупречной честности и с добрейшим сердцем. Умирая, он простил своих врагов, но я, я им не прощаю».

После смерти Гартунга Мария Александровна осталась почти без средств к существованию. Она обратилась с письмом к Александру II, и ей назначили небольшую пенсию, правда, несколько лет спустя.

Похоронив мужа, М. А. Гартунг вела полускитальческий образ жизни: жила в Туле, потом уехала к родственникам Васильчиковым в Лопасню, затем в имение мужа, вернувшись в Москву, сняла скромную меблированную комнату, потом поменяла ее…

Длительное время дочь Пушкина жила у овдовевшего брата Александра Александровича Пушкина, помогая ему воспитывать детей. Сестру и брата связывали не только теплые родственные чувства, но и искренняя дружба, которую они сумели сохранить до конца жизни.

После смерти Александра Александровича острое одиночество заставило Марию Александровну покинуть Москву. Долгое время она жила в усадьбе Лашма Пензенской губернии у овдовевшей к тому времени сводной сестры Александры Петровны Араповой.

«В старости она, по воспоминаниям, была по наружности величавой и очень моложавой седой дамой. Когда ей шел уже восьмой десяток, Мария Александровна без отдыха переплывала — туда и обратно — большой пруд. Она была жизнерадостна и приветлива, располагала к себе людей радушием, которым обладал ее отец. Так же как и он, Пушкин, Мария Александровна была «до крайности суеверна, пугалась совиного крика, избегала тринадцатого числа, а если выплата пенсии из наровчатовского казначейства приходилась на пятницу (день смерти Пушкина), задерживала поездку нарочного с оказией на несколько дней».

В конце 1917 года М. А. Гартунг приехала в Петроград к А. П. Араповой, жившей тогда на Французской набережной. Здесь старшая дочь поэта провела полгода и в 18-м навсегда покинула город, в котором прошло ее детство и молодые годы, где трагически оборвалась жизнь ее отца.

Возвратившись в Москву, Мария Александровна чуть не ежедневно приходила на Тверской бульвар к памятнику отца.

Одинокая — вся в черном — старушка часами сидела на деревянной скамейке. Мало кто знал, что это дочь великого русского поэта…

В конце голодного 1918-го нарком просвещения А. В. Луначарский ходатайствовал перед Наркомсобесом назначить Марии Александровне персональную пенсию, «учтя заслуги поэта Пушкина перед русской художественной литературой». При обследовании бытовых условий М. А. Гартунг было отмечено, что она, несмотря на свои восемьдесят шесть лет, обладала ясной памятью, живостью, в ее речи отчетливо слышался некоторый оттенок французского произношения. Наркомпрос выдал ей единовременное пособие в сумме 2400 рублей. Но первая выплата оказалась и последней, которая пошла на расходы, связанные с похоронами дочери Пушкина.

Похоронена М. А. Гартунг на кладбище Донского монастыря.

Александр

«А каков Сашка рыжий? Да в кого-то он рыж? Не ожидал я этого от него», — однажды пошутил Пушкин. Так и повелось в кругу родных называть первого сына поэта «Саша рыжий». Появился он на свет Божий 6 июля 1833 года в то время, когда его отец многое передумал и пересмотрел в своей жизни. Намекая на собственные ошибки, с тревогой смотрел в будущее сына: «Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой (намек на будущего царя Александра II. — Н. Г.), с моим тезкой я не ладил. Не дай Бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибешь!» (Из письма к жене)

«Не для себя, а только для наших детей я думаю о будущем. Я не богат, а мои теперешние занятия мешают мне посвятить себя литературным трудам, которые давали мне средства к жизни. Если я умру, моя жена окажется на улице, а дети в нищете. Все это печально и приводит меня в уныние» (из письма Д. Н. Гончарову незадолго до рождения сына). Как мы знаем, тот царь, с которым Пушкин «не ладил», взял на себя заботу о семье погибшего поэта. И Александр Александрович Пушкин не посрамил высочайшего внимания. У него было много заслуг перед царем и Отечеством. Он стал талантливым военачальником. Но и у полководцев бывает детство… И бабушки с дедушками, которые умиляются, неведомо кому более: повзрослевшим детям или внукам.

Рыжим Сашей Александр очарован. Всегда присутствует, как маленького одевают, кладут в кроватку, убаюкивают, прислушиваются к его дыханию. Уходя, три раза его перекрестит, поцелует в лобик и долго стоит в детской, им любуясь.

«Радуюсь, что Сашку от груди отняли, давно пора. А что кормилица пьянствовала, отходя ко сну, то это еще не беда: мальчик привыкнет к вину и будет молодец, во Льва Сергеевича», — шутил отец.

«Мне кажется, что Сашка начинает тебе нравиться. Радуюсь: он не в пример милее Машки, с которой ты напляшешься».

«Вот тебе анекдот о моем Сашке. Ему запрещают (не знаю зачем) просить, чего ему хочется. На днях говорит он своей тетке: Азя! Дай мне чаю: я просить не буду» (из письма П. В. Нащокину, крестному отцу Саши Пушкина).

«Что ты про Машу ничего не пишешь? ведь я, хоть Сашка и любимец мой, а все люблю ее затеи».

«Читаю Вальтер Скотта и Библию, а все об вас думаю. Здоров ли Сашка?», «Сверх того, прошу не баловать Машку, ни Сашку!»

После смерти отца Саша, как и другие дети поэта, воспитывался матерью, а после ее второго замужества — в семье отчима. «Мы любили нашу мать, чтили память отца и уважали Ланского» — таков был характер взаимоотношений в новой семье, по словам Александра. На его любовь Наталья Николаевна отвечала тем, что «…все как-то полагали, что сердце ее особенно лежит к нему (Александру. — Н. Г.). Правда, что и он, в свою очередь, проявлял к ней редкую нежность, и она часто с гордостью заявляла, что таким добрым сыном можно похвалиться» (из воспоминаний А. П. Араповой).

В 1845 году Наталья Николаевна определила Александра во 2-ю Петербургскую гимназию, где он был «вольноприходящим». «…Я решила отдать своих мальчиков экстернами в гимназию, то есть они будут жить дома и ходить туда только на занятия. Но Саша еще недостаточно подготовлен к поступлению в третий класс… Поэтому я хочу заставить Сашу много заниматься в течение года, что мне остается, потому что он будет поступать в августе будущего года… я беру ему учителей, которые подготовят его к сдаче экзаменов. Это будет тяжелый год в отношении расходов, но в конце концов меня вознаградит убеждение, что это решение будет полезно моему ребенку» (из письма Н. Н. Ланской Д. Н. Гончарову от марта 1843 г.).

Пятнадцатилетнего Александра Пушкина-младшего отдали по приказу Николая I в Пажеский корпус. В 1851 году он был выпущен из него корнетом в гвардию. Как свидетельствует запись в послужном списке юного корнета, «в уважение примерной нравственности признан отличнейшим воспитанником и в этом качестве внесен под № 5 в особую книгу». Далее военная карьера развивалась так: в 1853 году Александр Александрович Пушкин поручик, в 1858 — штаб-ротмистр, 1859 — ротмистр, 1861 — полковник. В этом же году он вышел в отставку по семейным обстоятельствам.

После отставки Александр Александрович занимал «мирную» должность мирового посредника и на этом поприще сумел показать себя, так что был награжден специальными знаками отличия, в частности, в 1863 году — «за успешное введение в действие положения 1861 года о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости».

И все-таки военная стезя была А. А. Пушкину милей. В 1867 году он снова поступил в военную службу в чине подполковника — согласно «Своду военных постановлений», быстро дослужился до полковника и был назначен командиром 13-го гусарского

Нарвского полка. «Сын известного поэта, именем которого гордится Россия, полковник Пушкин являл собой идеал командира-джентльмена, стоявшего во главе старинного гусарского полка. Память о нем в полку еще настолько свежа, что в каких-нибудь комментариях не нуждается…» — так писал о нем историк Нарвского полка А. Н. Тихановский.

Знаменательно, что два офицера этого полка сделались родственниками с Александром Александровичем, П. А. Воронцов-Вельяминов и Н. В. Быков, адъютант полковника Пушкина, женились на его дочерях Наталье и Марии. Второй из этих браков замечателен для истории тем, что породнил двух великих писателей: внучка Пушкина вышла замуж за племянника Гоголя.

12 апреля 1877 года царским манифестом было объявлено, что Россия вступает в войну с Турцией. «Пятого мая, — писал А. А. Пушкин брату Григорию, — наш полк выступает и идет прямо за границу… Теперь, любезный брат, уходя в поход, не мешает мне подумать о будущем. Все мы под Богом ходим, а придется ли вернуться — неизвестно. Во всяком случае теперь тебе поручаю я детей моих и в случае чего прошу быть их опекуном». Надо сказать, что «в случае чего» детей на попечение родного дяди оставалось одиннадцать душ, которые за два года до того потеряли мать…

Но нет на земле больше любви, чем жизнь свою положить за «други своя». А. А. Пушкин отличился во многих боях за освобождение Болгарии от османского ига. По преданию, полковник Пушкин, когда его полк достиг берега Дуная, остановил коня и, простерши правую руку в сторону реки, воскликнул:

— Кавалеристы! Посмотрите, это Болгария, священная славянская земля. Там гибнут наши братья и сестры! Вперед, на помощь к ним!

В начале Балканской кампании 13-й гусарский Нарвский полк входил в состав передового рущукского отряда (численностью до 45 тысяч человек), перед которым командование действующей русской армии поставило задачу — сдерживать наступление стотысячной турецкой армии, не вступая в серьезные сражения. Нарвский полк выполнял важные разведывательные поручения, участвовал во многих ожесточенных боях. Кровопролитнейшими были бои при городе Елене, который турки защищали с ожесточением фанатиков. В этом важном стратегическом пункте они сосредоточили огромные силы, надеясь овладеть переправой через Дунай и тем самым поставив русских в крайне тяжелое положение. Это не удалось, и

когда турки почувствовали, что город придется сдать, они подожгли его. Гусары Нарвского полка с риском для жизни потушили пожар. Преследуя неприятеля, они освободили город Боброве, взяли с бою село Ахметли. 28 декабря до нарвцев дошла радостная весть о победе русских войск на Шипке. Упорные бои с турками в окрестностях города Котела в январе 1878 года были последними боевыми действиями гусарского Нарвского полка, 19 января было заключено перемирие с Турцией, а месяц спустя подписан Сан-Стефанский мирный договор, по которому Болгария стала самостоятельным княжеством.

Господь сохранил жизнь отца огромного семейства, царь за личные боевые заслуги в Балканской кампании наградил командира полка золотой георгиевской саблей с надписью: «За храбрость» и орденом Владимира 4-й степени с мечами и бантом.

1 июля 1880 года А. А. Пушкина произвели в генерал-майоры, назначив командиром первой бригады 13-й кавалерийской дивизии и в свиту царя. При прощании офицеры 15-го Нарвского полка поднесли боевому генералу настольные часы, на циферблате которых вместо цифр обозначены были названия болгарских городов и сел, освобожденных полком.

До пятидесяти семи лет Александр Александрович находился в армейской службе. В 1891 году в чине генерал-лейтенанта он вышел в отставку. Ему, как «прослужившему на действительной службе 34 с половиной года», из государственного казначейства была назначена пенсия в размере полного оклада, то есть 1145 рублей в год.

С 1895 года он заведовал учебной частью Императорского коммерческого училища в Москве. Его военный чин, согласно Табели о рангах, был переименован в тайные советники. Но за три с половиной десятилетия военной службы Александр Александрович так привык к военной форме, что после выхода в отставку «быть штатским тяготился и просил вернуть ему военный мундир». Просьбу его удовлетворили. Высочайшим приказом по военному ведомству тайному советнику А. А. Пушкину возвратили «прежний чин генерал-лейтенанта, с зачислением по армейской кавалерии в списки 39 (бывшего 13-го) драгунского Нарвского полка и с оставлением в настоящей должности». На гражданской службе генерала от кавалерии Пушкина никогда не видели в штатском платье. До конца дней он сохранил отличную выправку кадрового военного.

На тех общественных постах, которые Александр Александрович занимал в свои преклонные годы, будучи членом совета по учебной части Екатерининского и Александровского женских институтов, председательствующим в Московском

присутствии Опекунского совета, он много сделал для развития женского образования в России.

Многие современники отмечали, что чем старше становился Александр Александрович, тем больше внешне он походил на отца. «Александру Александровичу теперь восемьдесят лет, а его отец скончался на тридцать восьмом году, но несомненно, доживи поэт (а на это ему позволяло рассчитывать его прекрасное здоровье) до таких же преклонных лет, его старческий облик близко подходил бы к наружности Александра Александровича».

Были из встреченных сыном поэта и такие, которые хотели видеть в А. А. Пушкине живую копию отца, и когда не находили в нем полного портретного сходства с Александром Сергеевичем, разочарованно вздыхали. По поводу подобных скептиков Александр Александрович говаривал сыновьям Л. Н. Толстого: «Плохо нам с вами. Чувствую, что от меня требуют, чтобы я был с баками, как от вас — чтобы вы непременно носили окладистую бороду. Иначе все обижаются: какие ж это Пушкин и Толстой».

Попадались другого рода скептики, которые пытались залезть и в саму душу сына, знаменитого заслугами отца. И хотя сын прожил свою жизнь вполне достойно, честно, от него праздная людская молва требовала «сверхдолжных» заслуг. По этому поводу Александр Александрович жаловался дочери: «В глазах встречных я читаю разочарование. Они ожидают увидеть в сыне великого поэта какую-то исключительную личность. А я — самый обыкновенный, ничем не примечательный человек. Публика и обижается: «Помилуйте, Пушкин — и не пишет!»

А. А. Пушкин был женат дважды. 8 января 1858 года женился на племяннице отчима Софье Александровне Ланской. Оба они с детства воспитывались в одной семье… Но лучше об этом скажет А. П. Арапова, сводная сестра А. А. Пушкина.

«Соня была круглая сирота, мать (Н. Н. Пушкина-Ланская. — Н. Г.) знала ее с самого детства, изучила ее тихий, кроткий нрав, те сердечные задатки, из которых вырабатывается редкая жена и примерная мать, подозревала даже ту сильную привязанность к брату, которую она тщательно от всех скрывала и ради которой отвергала партии выгоднее и блестящее его. Одним словом, этот брак являлся для матери исполнением заветной мечты, но ни единым намеком она не навела на эту мысль, постоянно мучаясь своей опрометчивостью в грустном выборе дочери (Натальи Дубельт.

— Н. Г.). Она страшилась даже косвенно повлиять на него, и можно себе представить радостное изумление, когда он неожиданно пришел просить ее согласия!

Дней за десять до свадьбы явился священник Конного полка,

в котором брат служил, и объявил, что он отказывается совершить брак из-за родственных отношений, потому что такой брак против канонических правил.

Никто в семье даже не подумал о подобном затруднении, и в первую минуту сочли это взбалмошной придиркой. Мать тотчас же поехала к своему духовнику, протопресвитеру Бажанову, и вернулась страшно расстроенная. Он подтвердил ей, что это правило установлено Вселенским собором, и сам митрополит не властен дать разрешения. Жених и невеста были как громом поражены. Оставался один исход — прибегнуть к власти царя, воззвать к его состраданию и милосердию.

Мать так и поступила.

Ей представился случай лично изложить императору Александру Николаевичу историю этой юной, пылкой любви, изобразить разбитое сердце невесты на самом пороге желанного счастья, и он отнесся сочувственно к обрушившемуся на них удару. Прокурору Св. Синода графу Толстому было высочайше поручено уладить это дело. Он уговорил митрополита дать благословение священнику, который согласится совершить недозволенный брак.

Конногвардейский священник, несмотря на этот компромисс, упорствовал в своем отказе, но отец Никольский, законоучитель Пажеского корпуса, снисходительно отнесся к положению своего бывшего ученика. Когда отец Никольский явился к митрополиту, он его к себе не допустил, а ограничился тем, что осенил его благословением на пороге, считая, вероятно, что он этим умаляет грех, в угоду Царя принимаемый им на душу».

Выпрашивая у царя благосклонность к совершению незаконного брака, Наталья Николаевна не преследовала иных целей, кроме возможности счастья для собственного сына — к тому всегда влечется сердце матери, и трудно судить ее за это…

Столь дорогая радость при начале брака обернулась тяжким испытанием в его конце. Софья Александровна, любимая и желанная жена Александра Александровича, умерла, не дожив до сорока лет. Сиротами остались одиннадцать малолетних детей, которых отправили на воспитание к Анне Николаевне Васильчиковой, двоюродной сестре Софьи Александровны, в имение Лопасню. Временами Александр Александрович увозил детей к себе — в города, где стоял его полк: обычно это бывало тогда, когда на длительный срок к нему приезжала М. А. Гартунг и брала на себя часть забот о многочисленном семействе. Потом дети А. А. Пушкина снова возвращались в Лопасню.

Там же в 1883 году в старинной Зачатьевской церкви он венчался со второй своей женой Марией Александровной

Павловой, «в надежде, что она заменит мать младшим его дочерям Наде и Вере, но надежда эта не оправдалась: они ходили вечно в заплатках». От второй жены было двое детей, сын и дочь. Эта младшенькая, Елена, родилась, когда Александру Александровичу было 57 лет.

По отзывам родственников А. А. Пушкина, его вторая жена была «неприятной женщиной», «Мария Александровна… часто жаловалась на старика мужа — разогнала его детей от первого брака и не принесла ему покоя на старости лет».

Старого генерала, как шальная пуля на поле боя, сразила весть о вступлении России в войну с Германией. Это случилось 19 июля 1914 года в сельце Малое Останкино Каширского уезда, принадлежавшем его второй жене. Известие о начавшейся мобилизации, размышление о сложившемся военном положении сильно взволновало Александра Александровича. Расстроившись, он не стал обедать, раньше обычного ушел в спальню, лег, вскоре потерял сознание и, не приходя в себя, скончался. Ему только что исполнился 81 год.

Григорий

«Милостивая государыня матушка Наталья Ивановна, имею счастие поздравить вас со внуком Григорием и поручить его вашему благорасположению. Наталья Николаевна родила его благополучно, но мучилась долее обыкновенного — и теперь не совсем в хорошем положении, — хотя, слава Богу, опасности нет никакой. Она родила в мое отсутствие, я принужден был по своим делам съездить во Псковскую деревню и возвратился на другой день ее родов. Приезд мой ее встревожил, и вчера она пострадала, сегодня ей легче. Она поручила мне испросить вашего благословения ей и новорожденному», — спешил заручиться молитвами тещи счастливый отец после рождения 14 мая 1835 года второго сына, крестным отцом которого стал Василий Андреевич Жуковский.

Наталья Николаевна хотела дать сыну имя Николай, но Александр Сергеевич пожелал почтить память одного из своих предков, казненных в Смутное время, и назвать ребенка Гавриилом или Григорием. Мать выбрала второе. И Григорий Александрович в дальнейшем действительно бодрствовал, охраняя, сколько мог, незамутненной память своего великого отца.

Уже при жизни Г. А. Пушкина издатели поэта действовали слишком бесцеремонно, спеша представить на суд читателей новые страницы эпистолярного наследия, когда еще жили и здравствовали многие упоминаемые лица. Так, в начале 1858 года 22-летний Григорий Пушкин обратился с жалобой к А. С. Норову — министру народного просвещения, возглавлявшему цензурное ведомство. Поводом для недовольства послужило обнародование в первом номере «Библиографических записок» за 1858 год ранее не публиковавшихся писем А. С. Пушкина к брату Льву Сергеевичу. От имени всех наследников поэта Григорий Александрович добивался, чтобы «цензура, как здесь, так и в других городах России, не одобряла к печати записок, писем и других литературных и семейных бумаг отца моего без ведома и согласия нашего семейства». Министр сделал надлежащее замечание издателю журнала и московскому цензору за публикацию писем Александра Сергеевича, «в коих многое не должно было являться в печать, как оскорбляющее чувство приличия и самое чувство уважения к памяти великого поэта… и за оказавшиеся там же неуместные шутки и отзывы об отце и родственниках Пушкина, неблагопристойности и многие другие неуместности».

Такое благоговейное отношение Григория к памяти отца внушено было ему Натальей Николаевной. Сам он не мог помнить Пушкина, который погиб, когда сыну шел только второй год…

Гриша, как и его старший брат, закончил Пажеский корпус — привилегированное закрытое военное учебное заведение. «…В корпусе все находят, что Гриша очень красивый мальчик, гораздо красивее своего брата, и по этой причине он записан в дворцовую стражу, честь, которой Саша никогда не мог достигнуть, потому что он числится в некрасивых. Когда Гриша появился в корпусе, все товарищи пришли сказать Саше, что брат на тебя ужасно похож, но сравненья нет лучше тебя» (из письма Н. Н. Пушкиной-Ланской второму мужу).

После окончания Пажеского корпуса восемнадцатилетний корнет Григорий Пушкин был зачислен на службу в лейб-гвардии конный полк под командованием его отчима П. П. Ланского. Некоторое время оба брата Пушкиных служили вместе в этом полку. Далее их жизненные устремления разошлись. Александр избрал карьеру военного, Григорий же после тринадцати лет службы вышел в отставку и для гражданского поприща был переименован в надворные советники, соответственно среднему, 7-му классу чинов Табели о рангах.

Григорий Александрович, «будучи беден, но горд, предпочел не тягаться со знатью» в Петербурге. Участь небогатого офицера в столице его не прельщала, тем более что бедность горько отозвалась в устройстве личной жизни: известная петербургская красавица отвергла его сватовство. Мосты были сожжены: сын Пушкина переехал в столь любимое отцом Михайловское, которое он считал родным домом, и жил там почти безвыездно.

Приехала с ним туда любовница-француженка, скромная небогатая девушка. Она посвятила своему возлюбленному всю жизнь, прожив с Григорием Александровичем в гражданском браке около двадцати лет и родив ему трех дочерей, которые впоследствии «были замужем за аристократами». Наталья Николаевна при жизни очень переживала за судьбу второго сына: до самой смерти ее смущала эта «давно продолжительная связь с француженкой». В конце концов Г. А. Пушкин и его подруга «разошлись по-хорошему, так как она была неизлечимо больна», и Григорий Александрович «горестно оплакивал ее.»

В 1883 году сорокавосьмилетний Г. А. Пушкин женился на Варваре Алексеевне Мельниковой, с которой познакомился на балу в Петербурге в начале 80-х годов. Их венчание происходило в Вильно, в городе, где до сих пор сохранилась православная Пятницкая церковь. В ней в 1705 году Петр I крестил прадеда

Пушкина Абрама Ганнибала.

Вскоре после свадьбы «молодожены уехали в Михайловское и жили там до 1899 года. Законных детей у Григория Александровича не было. Несмотря на это, Варвара Алексеевна часто повторяла: «Я — счастливейшая из женщин России, мне выпала редкостная судьба быть невесткой Пушкина». Она была искренней помощницей своего мужа, который продолжал «бодрствовать», сохраняя в первозданном, по возможности, виде Михайловское, так много связанное с именем Пушкина.

В числе забот Григория Александровича было держать в порядке могильный холм Святогорского монастыря. Небольшая площадка у стены Успенского собора, на которой покоились останки поэта и его родителей, постоянно оползала, каждый год приходилось укреплять землю, чтобы предотвратить полное разрушение фамильного кладбища.

Старый ганнибаловский дом в Михайловском стал совсем ветхим, Григорию Александровичу пришлось продать его на своз, а на старом фундаменте построить новый — отличавшийся от прежнего — пушкинского. Стараниями последнего владельца Михайловского в первозданном своем виде сохранился «домик няни» Арины Родионовны.

В канун столетия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в обществе выработалось мнение, что «счастливый домик» поэта в Михайловском, его «малый сад, и берег сонных вод, и сей укромный огород» необходимо сохранить для будущих поколений, сделать его заповедным. Трудно сказать, что мог пережить сын поэта, решаясь расстаться с дорогим сердцу фамильным домом… Навсегда покидая Михайловское, он «много плакал и убивался, а как пришло время садиться в карету, стал на колени, перекрестился, поклонился до земли дедовской усадьбе, рощам и саду и сказал: «Прощайте, милые мои, навсегда!»

Михайловский сад был предметом особой гордости Григория Александровича. Он был большой садовод — завел в усадьбе превосходные парники, оранжереи, насадил фруктовый сад из самых дорогих и редких пород. Сад содержался в образцовом порядке. Впрочем так же, как и псарня, которая славилась на всю округу… Зачем псарня? Затем, что Григорий Александрович был яростным охотником. Охоту он любил и знал ее в совершенстве. Все, что ни делал этот человек, делал серьезно, а потому — хорошо, и все надо было оставить, подчинившись настоятельным просьбам писателей, ученых, общественных деятелей, множества почитателей Пушкина о продаже Михайловской усадьбы в казну.

В Михайловском решено было устроить богадельню для престарелых литераторов, а в Святых Горах — библиотеку-

читальню. За детьми А. С. Пушкина оставалось «право решительного голоса», что и подтвердил предводитель дворянства Опочецкого уезда в своем письме Г. А. Пушкину: «… Мною получен утвержденный… устав богадельни и читальни в Святых Горах в память Александра Сергеевича Пушкина, по которому Вы, супруга Ваша Варвара Алексеевна, Александр Александрович Пушкин, графиня Наталья Александровна Меренберг и Мария Александровна Гартунг считаются почетными членами попечительства с правом решающего голоса по всем вопросам, могущим возникнуть как по содержанию богадельни и читальни, так и другим, касающимся памяти А. С. Пушкина, на что необходимо ваше согласие…»

В дни праздника Г. А. Пушкин пожертвовал 1000 рублей на богадельню имени отца, дал денег на обед бедным. Вскоре после пушкинского юбилея он уехал с женой в ее имение Маркучай под Вильно, где провел последние шесть лет своей жизни.

По многим отзывам современников, Варвара Алексеевна и Григорий Александрович «были люди честные и добрые. Всех кормили, поили и всем помогали». Единственного сына В. А. Пушкиной (от первого брака) они послали учиться за свой счет в военно-медицинское училище.

«Вылитым отцом» называли Г. А. Пушкина одни… «Младший сын поэта не только внешностью, но и характером был очень похож на отца. Те же живость, подвижность, здоровая нервность, быстрая восприимчивость и отзывчивость, жизнерадостность, пожалуй, такая же страстность», другие без труда находили в Григории Александровиче черты личности его матери… «Человек мягкий, очень спокойный, характером в Гончаровых», «в молодости был красавцем и лицом, как и характером, напоминая свою мать» и после петербургского «надлома» жил он «скромно, незаметно, не на виду», нисколько не заботясь о карьере, памятью отца своего дорожил, но никогда не афишировал этого. Такая «тихая» жизнь давала пищу для многих сплетен и небылиц, распространявшихся через газеты. Младшего сына Пушкина считали «нелюдимым» и «равнодушным к памяти отца».

Достаточно беглого взгляда на фотографии Григория Александровича, особенно в старости, чтобы по его благородному лицу и всему облику ощутить, что он был «изысканным джентльменом и утонченным европейцем».

Мать Григория Александровича Наталья Николаевна точно так же разным людям виделась по-разному. Очевидно, сын мог про себя сказать то же, что и мать: «…немногие избранные имеют ключ от моего сердца». Те, которые «имели ключ», утверждали: «Он искренне любил природу и всегда любовался ею. Как

настоящий художник в душе — он умел находить красоту во всех проявлениях ее, чувствовать и оценивать ее…»

«Джентльмен» карьеры не делал, но чины ему присваивались по выслуге лет: в 1867 году — коллежского советника, в 1896 — статского советника. Чиновником Григорий Александрович никогда не был: ни по духу, ни по занятиям. Почти всю вторую половину своей жизни он исполнял общественные обязанности, такие как почетный мировой судья по Опочецкому уезду, присяжный заседатель Петербургского окружного суда. В Вильно последние годы своей жизни сын поэта был членом судебной палаты.

5 июля 1905 года в возрасте 70 лет Г. А. Пушкин скончался. Он похоронен на семейном кладбище Мельниковых около часовни на территории имения В. А. Пушкиной (Мельниковой) Маркучай в предместье Вильно. Жена пережила Григория Александровича на целых тридцать лет. До конца своих дней она была верна памяти дорогих сердцу Пушкиных, которые сделали ее причастной к истории Отечества. «Дом в Маркучай не может отдаваться внаймы или в аренду, а всегда должен быть в таком состоянии, в каком находится теперь при моей жизни, дабы в имении Маркучай сохранялась и была в попечении память отца светлой памяти моего мужа, великого поэта А. С. Пушкина, и дабы равно центр имения Маркучай, как и находящийся в нем жилой дом, в доказательство его памяти всегда служил культурно-просветительским целям». Такова была последняя воля Варвары Алексеевны Пушкиной.

Наталья

«Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться. Холостяку в свете скучно: ему досадно видеть новые, молодые поколения; один отец семейства смотрит без зависти на молодость, его окружающую. Из этого следует, что мы хорошо сделали, что женились», — писал А. С. Пушкин П. В. Нащокину в январе 1836 г., не подозревая, что пошел последний год его семейной жизни. «Я приехал к себе на дачу 23-го в полночь и на пороге узнал, что Наталья Николаевна благополучно родила дочь Наталью за несколько часов до моего приезда. Она спала. На другой день я ее поздравил и отдал вместо червонца твое ожерелье, от которого она в восхищении» (из письма А. С. Пушкина П. В. Нащокину). Пушкин боялся родов жены и старался в это время куда-нибудь «сбежать». Четвертый раз, а все одно и то же… «родила за несколько часов до моего приезда».

Наталья Николаевна и новорожденная Таша долго болели, целый месяц их почти никто не видел, только 27 июня девочку крестили.

«Все, что знаю об отце, это уже по рассказам моей матери… Квартира, где он умер, была матерью покинута, но в ней впоследствии жили мои знакомые… и я в ней часто бывала», — спустя годы говорила Наталья Пушкина-младшая. Печальные слова! Как много людей, знакомых и незнакомых, порой и совершенно равнодушных, говорили с Пушкиным, знали его привычки и причуды, слышали его смех, жали ему руку, спорили, сердились на него, боготворили и ненавидели… А ей, дочери великого человека, не пришлось и словом перемолвиться: не под силу это было восьмимесячному младенцу. А теперь приходилось по воспоминаниям составлять портрет отца, и сколько нужно было терпения и любви, чтобы отделить зерна от плевел, отличить истину от лжи в людском мнении о гении!

Современники утверждали, что «красота Натальи Александровны… еще обаятельнее красоты ее матери», что дочь Пушкина в свои молодые годы яркой звездочкой сияла в столичном свете.

Сын известного романиста С. М. Загоскин говорил о двадцатилетней Наталье: «В жизнь мою я не видал женщины более красивой, как Наталья Александровна, дочь поэта Пушкина. Высокого роста, чрезвычайно стройная, с великолепными плечами и замечательною белизной лица, она сияла каким-то ослепительным блеском. Несмотря на малоправильные черты

лица, напоминавшего африканский тип ее знаменитого отца, она могла назваться совершенною красавицей, и если прибавить к этой красоте ум и любезность, то можно легко представить, как Наталья Александровна была окружена на великосветских балах и как около нее увивалась вся щегольская молодежь в Петербурге». Были и такие отзывы: «экзотически красивая женщина», «прекрасная дочь прекрасной матери», «в большой зале становилось светлее, когда она входила, осанка у нее была царственная, плечи и руки очертаний богини».

На светских балах, вероятно, Наташа и встретила князя Николая Алексеевича Орлова, будущего посланника в Брюсселе, Вене и Париже, Берлине. Молоденькая девушка, почти девочка, влюбилась в него, молодой князь ответил взаимностью. Но браком эта любовь не завершилась, потому что отец князя Николая князь А. Ф. Орлов воспротивился подобному мезальянсу, неравному браку для представителя родовитой княжеской семьи.

В феврале 1853 года шестнадцатилетняя Наталья Пушкина вышла замуж за подполковника Михаила Леонтьевича Дубельта, сына того самого начальника штаба корпуса жандармов Л. В. Дубельта, который 29 января 1837 года опечатал по высочайшему приказанию кабинет умершего Пушкина и разбирал потом его бумаги.

«Быстро перешла бесенок Таша из детства в зрелый возраст, но делать нечего — судьбу не обойдешь. Вот уже год борюсь с ней, наконец покорилась воле Божией и нетерпению Дубельта. Один мой страх — ее молодость, иначе сказать — ребячество» (из письма Н. Н. Пушкиной-Ланской П. А. Вяземскому). Почему Наталья Николаевна «боролась» с дочерью, хорошо была осведомлена Александра Арапова, сводная сестра Натальи Александровны:

«Между помолвленными не раз возникали недоразумения, доходившие до ссор и размолвок, мать смущалась ими, страдала опасением за будущее, приходила сама к необходимости разрыва, отбрасывая всякий страх перед суровым «что об этом скажут», так как тогда куда строже относились к расстроенным свадьбам, но сестра противилась этому исходу, не соглашаясь взять обратно данное слово.

Надо еще прибавить, что мать поддавалась влиянию Дубельта, человека выдающегося ума, соединенного с замечательным красноречием. Он клялся ей в безумной любви к невесте и в твердом намерении составить ее счастье, и она верила в его искренность, а зрелость возраста (он на тринадцать лет был старше сестры) внушала ей убеждение, что он сумеет стать ей опытным руководителем.

В постоянной борьбе надежд и сомнений, разнородных влияний и наплывавших чувств прошло время этой оригинальной помолвки. Наконец свадьба состоялась, и почти с первых дней обнаружившийся разлад загубил навек душевный покой матери.

Как часто, обсуждая этот роковой вопрос, равно как и все обстоятельства, его сопровождавшие, мы, уже умудренные опытом жизни, приходили к единодушному заключению, что единственный упрек, который мать могла себе сделать, состоял в том, что она не проявила достаточно силы воли и допустила совершение брака».

Упрек в действительности очень горький, тем более что «отец мой (П. П. Ланской. — Н. Г.) недолюбливал Дубельта. Его сдержанный, рассудительный характер не мирился с необузданным нравом, с страстным темпераментом игрока, который жених и не пытался скрыть. Будь Таша родная дочь, отец никогда бы не дал своего согласия, ясно предвидя горькие последствия; но тут он мог только ограничиться советом и предостережениями».

Вскоре после свадьбы М. Л. Дубельт был произведен в полковники, в 1856 году пожалован флигель-адъютантом, в 61-м получил чин генерал-майора и был назначен в свиту царя, в том же году возглавил штаб Сводного кавалерийского корпуса, 16 июля 1862 года он был отчислен от этой должности, а в декабре уволен в бессрочный отпуск. Именно в этом, 1862 году, через девять лет после свадьбы супруги Дубельты окончательно разъехались.

В этой горестной семейной истории назвать главного виновного не просто. С одной стороны, Михаил Дубельт — страстный игрок, промотавший все состояние вместе с приданым Натальи Александровны (28 тысяч серебром). Он бешено ревновал жену, дело доходило даже до рукоприкладства, Наталья Александровна сама признавалась, что «у нее на теле остались следы шпор, когда он спьяну, в ярости топтал ее ногами… толкая лицом об стену говорил: «Вот для меня цена твоей красоты».

Но и жена никогда не отличалась кротостью и смирением. Говорили, что она и замуж за Дубельта вышла «по своенравию», а конфликт между ними «произошел во многом из-за ее трудного характера». В характере же ее добром и в то же время непреклонном, гордом, было много пушкинского, «африкански» страстного.

В ожидании окончания бракоразводного процесса Наталья Александровна с двумя старшими детьми уехала в Венгрию, к тетке баронессе Александре Николаевне Фризенгоф (урожд.

Гончаровой), где в то время находилась и Наталья Николаевна с дочерьми от второго брака. Михаил Дубельт, согласившийся поначалу на развод и сам первый подавший эту мысль, неожиданно переменил свое решение. Вслед за женой он приехал в замок Фризенгофов Бродзяны (Венгрия) «с повинной», а когда она оказалась безуспешной, то он дал полную волю своему необузданному, бешеному характеру… тяжело даже вспоминать о происшедших сценах, пока, по твердому настоянию барона Фризенгофа, он не уехал из его имения, предоставив жене временный покой.

Положение ее являлось безысходным, будущность беспросветна. Сестра не унывала, ее поддерживала необычайная твердость духа и сила воли, но зато мать мучилась за двоих. Целыми часами бродила она по комнате, словно пытаясь заглушить гнетущее горе физической усталостью, и часто, когда взор ее останавливался на Таше, влажная пелена отуманивала его. Под напором неотвязчивых мыслей она снова стала таять как свеча… Религиозные понятия ее страдали от этого решения (развод дочери. — Н. Г.), но считая себя виноватой перед дочерью, она не пыталась даже отговорить ее» (из воспоминаний А. Н. Араповой о Н. Н. Пушкиной-Ланской).

Наталья Николаевна была в это время уже тяжело больна, и семейная драма младшей дочери Пушкина сыграла не последнюю роль в преждевременной ее кончине.

Только в мае 1864 года Н. А. Дубельт получила наконец свидетельство — вид — на право проживания отдельно от мужа (без развода).

Брак Дубельтов был расторгнут в 1868 году, но Наталья Александровна задолго до этого покинула Россию, оставив двух старших детей на попечение отчима П. П. Ланского, который к тому времени несколько лет как вдовствовал. Младшая дочь Дубельтов Анна была постоянным яблоком раздора для родителей. «Вчера Таша Дубельт покинула нас… Ее малютка Анна приехала тремя неделями раньше (в Бродзяны. — Н. Г.), пока мать путешествовала по Швейцарии. Планы Натали меняются каждый день, так что в будущем нет ничего твердого… Вчера она получила письмо из Петербурга, в котором ее извещают, что ее муж отплывает в Америку и соглашается оставить малютку (которую он всегда таскал с собой за границу) только кн. Суворовой, сестре его невестки Дубельт, если Натали даст письменное обязательство не забирать у нее ребенка», — так описывали ситуацию Фризенгофы в письме Ивану Гончарову в 1866 году, за год до второго брака Н. А. Дубельт.

За восемь месяцев до окончания бракоразводного процесса

она обвенчалась в Лондоне с немецким принцем Николаем Вильгельмом Нассауским, состоявшим в родстве с царским домом Романовых. Они познакомились еще в 1856 году в Петербурге на одном из светских приемов, когда немецкий принц, офицер прусской службы, как представитель своего двора приезжал на коронационные празднества по случаю восшествия на престол Александра II. Тогда и завязался их роман, который придал «твердости», завершившись браком, будущему Натальи Александровны. Но нет сомнений, что он же «выбил почву из-под ног» первого брака. Роман с принцем явился одной из причин разрыва супружеских отношений Натальи Александровны с Дубельтом.

Вступая в морганатический, неравнородный брак, Николай Нассауский должен был навсегда отказаться от престола.

Наталья Александровна не могла носить фамилии мужа — фамилию особы королевской крови, ей был пожалован титул графини Меренберг.

Надо сказать, что незадолго до женитьбы принца на дочери знаменитого русского поэта герцогство Нассауское было присоединено к Пруссии, и Нассауские, лишившись прежних прерогатив власти, стали временно обыкновенной знатной фамилией. Свои державные привилегии Нассауский дом получил вновь почти четверть века спустя. Когда в 1890 году умер старший в роде по мужской линии принцев Нассауских — Вильгельм III, король Нидерландов и великий герцог Люксембургский, не имевший мужского потомства, принц Адольф, брат Николая Нассауского, стал великим герцогом Люксембургским. Заняв великогерцогский престол, принц Адольф не изменил своего отношения к семье брата, он по-прежнему принимал у себя графиню Меренберг и ее детей и питал к ним сердечные родственные чувства.

У супругов было трое детей. Старшая дочь Натальи Александровны Меренберг от второго брака, графиня София Николаевна Меренберг (в замужестве графиня де Торби), как и мать, решилась на морганатический брак. В 1891 году двадцати трех лет от роду она вышла замуж за великого князя Михаила Михайловича Романова. Реакция Александра III была резкой и однозначной. Он телеграфировал великому герцогу Люксембургскому Адольфу и принцу Нассаускому Николаю Вильгельму: «Этот брак, заключенный наперекор законам нашей страны, требующим моего предварительного согласия, будет рассматриваться в России как недействительный и не имевший места».

Герцог ответил русскому царю: «Я осуждаю в высшей степени

поведение моего брата (давшего согласие на подобный брак своей дочери. — Н. Г.) и полностью разделяю мнение Вашего величества».

Непризнание Государем брака внука Николая I и внучки Пушкина вынудило супругов навсегда остаться в Англии. Их потомство было лишено прав членов императорской фамилии. Титул графов де Торби новобрачной и ее потомству пожаловала королева Великобритании Виктория.

Брат графини де Торби, внук Пушкина и сын от второго брака Натальи Александровны Дубельт-Меренберг в середине 1900-х годов выступал претендентом на люксембургский трон. По мнению знатоков династического права, у Георга Николая Меренберга были серьезные шансы, тем более что «сам великий герцог Адольф… признавал брак своего брата с Н. А. Пушкиной», но, видно, не было на то воли Божией.

Наталья Александровна более сорока лет своей жизни провела в Висбадене, крайне редко бывая в России. Но до последних дней она сохранила любовь ко всему русскому, разумеется, и к Пушкину. Она приезжала в Москву на открытие в 1880 году памятника Пушкину на Тверской. Многие видели ее, рассматривали с пристрастием, с волнением, передавая свои мнения в письмах, воспоминаниях, потому что слишком уж «странно видеть детище нашего полубога замужем за немцем. Она до сих пор красива, очень обходительна, а муж немец — добряк, чрезвычайно добродушный господин», — как писала А. П. Философова Ф. М. Достоевскому. Сам Достоевский отметил тот факт, что «видел… и даже говорил… с дочерью Пушкина (Нассауской)» (из письма жене 5 июня 1880 г.).

Благодаря Наталье Александровне были опубликованы письма А. С. Пушкина к жене. Письма эти Наталья Николаевна бережно хранила до самой смерти, желая подарить их старшей дочери Марии. Но Мария Александровна, приехавшая к матери за сутки до ее кончины, уступила письма младшей сестре, которая нуждалась в материальной поддержке: такова была воля умирающей.

Наталья Александровна Дубельт «вследствие стесненных обстоятельств» не раз пыталась продать письма отца, но безуспешно. По словам И. С. Тургенева, дочь Пушкина требовала за эти письма «цену ни с чем не сообразную». Только в 1876 году графиня Меренберг передала 75 писем Пушкина писателю И. С. Тургеневу, который договорился о публикации их в журнале «Вестник Европы», издававшемся М. М. Стасюлевичем. Тургенев сам написал предисловие к письмам, исключил из них «то, что не годится для печати», просмотрел перевод 12 писем, написанных

поэтом по-французски. За обнародование писем графиня получила всего только 1000 рублей, но, надо полагать, материальная нужда больше не преследовала Наталью Александровну.

И. С. Тургенев в предисловии написал, в частности, и такие слова: «…я считаю избрание меня дочерью Пушкина в издатели этих писем одним из почетнейших фактов моей литературной карьеры; я не могу довольно высоко оценить доверие, которое она оказала мне, возложив на меня ответственность за необходимые сокращения и исключения.

Быть может, я до некоторой степени заслужил это доверие моим глубоким благоговением перед памятью ее родителя, учеником которого я считал себя «с младых ногтей» и считаю до сих пор».

Однако как велика страсть обывателя ко всякого рода запретным темам! Стасюлевич поддался искушению. Он не только не сделал дополнительных купюр, о чем просил его И. С. Тургенев, но во многих случаях даже восстановил то, что писатель из этических соображений вычеркнул из личной переписки всемирно известного поэта. Эта бестактность вызвала острое недовольство сыновей Пушкина, равно как и многих безымянных почитателей русского гения, об одном из которых Тургенев сообщил Стасюлевичу в письме: «…меня какой-то А.В. письменно предуведомил, что сыновья Пушкина нарочно едут в Париж, чтобы поколотить меня за издание писем их отца! Почему же меня, а не родную сестру, разрешившую печатание? Впрочем, я полагаю: это просто сплетня, если не мистификация».

Подлинники писем были возвращены графине Меренберг. Однако через два года после открытия памятника Пушкину в Москве она уступила Румянцевскому музею автографы 64 писем ее отца к матери.

Сделано это было через брата Александра Александровича, который, «наученный горьким опытом», наложил запрет на пользование письмами на срок 50 лет. Этот запрет действовал до середины 1920-х годов. Одиннадцать писем Пушкина графиня Меренберг оставила у себя. В начале 1900-х годов Петербургская Академия наук обратилась к ней с просьбой предоставить письма для работы над Полным собранием сочинений А. С. Пушкина. Наталья Александровна категорически отказалась сделать это. Причиной была давняя обида: «Известно тебе или нет, что я считаю себя оскорбленной Комитетом, учрежденным для проведения столетнего юбилея моего отца? Они игнорировали мое существование, не посчитав меня за дочь Пушкина, и мне хочется, чтобы так продолжалось и далее. В любом случае

можешь им сообщить, что я ничего не предприму в надежде на их будущие благодеяния и что они должны осыпать своими благодеяниями тебя, прежде чем я соблаговолю вступить с ними в какие бы то ни было переговоры. Полно!» (из письма Н. А. Меренберг брату А. А. Пушкину).

Этот эпизод из жизни Натальи Александровны убеждает, что и в старости она отличалась неровным, строптивым характером… Компромиссы чужды были ее душе. Таковой ее застала и сама смерть.

Когда после смерти своего мужа графиня узнала о том, что царствующий герцог Нассауский не позволит похоронить ее в родовом склепе, она возмутилась и взяла обещание с зятя Михаила Михайловича, чтобы тот исполнил ее последнюю волю. Графиня приказала сжечь свои останки и пепел развеять над могилой мужа.

Жившая в России дочь покойной, узнав, что предстоит кремация, обратилась через дипломатические каналы к германскому правительству с просьбой дать ей и членам ее семьи возможность похоронить мать по православному обычаю. Просьбу русских родственников отклонили на том основании, что «воля покойной, выраженная в завещании, должна быть исполнена».

20 мая 1913 года в городе Майнце состоялась кремация, урна с прахом дочери Пушкина была доставлена в Висбаден на могилу ее мужа Николая Вильгельма Нассауского и… Ни креста, ни могильной плиты, ни земляного холмика не осталось. Одни воспоминания…

Дети Ланского

От брака с П. П. Ланским у Натальи Николаевны родились три девочки: Александра, Софья и Елизавета. Старшей — Азе — было всего восемнадцать лет, когда умерла мать. Воспитание несовершеннолетних дочерей целиком легло на плечи Петра Петровича. Вот, собственно, и все, что мы знаем. Судьба девочек оказалась малоинтересной для истории. Некоторые подробности детства можно найти в письмах Натальи Николаевны к мужу, 1849 год обилен, как никакой другой, письмами супругов — во время длительной разлуки, когда полк Ланского стоял в Прибалтике. Но подробности касаются в основном старших «пушкинских» детей. Азе было всего четыре года, а младшие Соня и Лиза не покидали еще пределов детской. Азя была любимицей отца. О ней Наталья Николаевна писала: «Это мой поздний ребенок, я это чувствую, и при всем том — мой тиран».

Этот «тиран» однажды повздорил с няней. Мать застала старушку в слезах и решила наказать девочку, не взяла с собой на прогулку. Тогда Азя помчалась наверх, подбежала к окну, схватилась за раму… В комнату случайно вошла горничная и обомлела: девочка висела, едва держась за подоконник и громко кричала: «Не троньте, брошусь, брошусь, как смели меня наказывать, я им покажу!» Ее успели схватить и втащить в комнату. Представьте, в каком ужасе была мать, когда ей рассказали о случившемся! На другой день после этой истории, в воскресенье, все собирались в церковь к обедне, но Наталья Николаевна в наказание за вчерашнее не хотела брать Азю с собой. Девочка была далеко не глупа и воскликнула: «Но мне же надо раскаяться в грехах!» И это была правда! Мать растрогалась и уступила…

Азя, Александра Петровна, в 1866 году вышла замуж за офицера Н. А. Арапова, впоследствии ставшего генералом. Она обладала литературными способностями и написала несколько повестей и рассказов.

В 1918 году А. П. Арапова передала в дар Пушкинскому дому свой домашний архив. Сохраненные ею письма Натальи Николаевны к П. П. Ланскому, к сестре и ее мужу Наталье и Густаву Фризенгофам, письма к ней поэта Петра Андреевича Вяземского и Екатерины Ивановны Загряжской — те материалы, которые полностью опровергают бытовавшие десятилетиями представления о вдове поэта, что к семейной жизни она была равнодушна, что более всего ее радовали утехи «удовлетворенного тщеславия».

Именно с целью восстановить доброе имя матери Александра Петровна написала чудесные по своей задушевности воспоминания, начинающиеся словами: «Так часто в газетных статьях, литературных изысканиях появлялись не только несправедливые, но зачастую и оскорбительные отзывы о моей матери, что в сердце моем давно зрела мысль высказать правду о ее трагически сложившейся жизни. Перед беспристрастным судом истории и потомства я попытаюсь восстановить этот кроткий, светлый облик таким, как он запечатлелся в тесном кругу преданных друзей…» Эти воспоминания были изданы в 1907 году в приложении к газете «Новое время» и с тех пор почти 90 лет не переиздавались, оставаясь практически недоступными для широкого читателя.

Из этой семейной хроники мы немного узнаем о детстве самой Ази-Александры. Она была чрезвычайно подвижным и непосредственным ребенком. Остановить ее шумный нрав помогал часто внушенный матерью вопрос: «Достаточно ли я спокойна?», который воспитанная девочка должна была задавать себе, когда попадала в общество. Когда Азю спрашивали, в кого она такая пошла, Наталья Николаевна отвечала, что в нее, в мать, да только жизнь переломила ее жизнерадостную натуру и редко кто видел ее улыбку.

Как известно, государь Николай I выразил желание быть посаженным отцом на свадьбе генерала Ланского. Наталья Николаевна отклонила эту милость, чтобы не привлекать к себе «внимания общественности». Когда Ланской на следующий после свадьбы день поехал во дворец докладывать о случившемся, царь был по-прежнему ласков с генералом, несмотря на его своевольный поступок, и выразил желание быть крестным отцом первому ребенку Ланского.

«16 июня 1815 года Государь лично приехал в Стрельну (где стоял полк Ланского). Приняв меня от купели, он отнес матери здоровую, крепкую девочку и, передав ей с рук на руки, шутливо заметил:

— Жаль только одно — не кирасир!» — повествует А. П. Арапова.

Государь не забыл о своей крестнице Александре. Невозможно оставить без внимания эпизод встречи царя с девочкой: он как фотографический снимок напоминает нам о деталях, давно забытых, но дорогих сердцу. То подробности нашего общего прошлого…

«Постоянная царская милость служила лучшей эгидой против затаенной злобы завистливых врагов. Те самые люди, которые беспощадно клеймили ее (Н. Н. Пушкину-Ланскую. — Н. Г.) и

оскорбительно поворачивались спиною во время вдовства, заискивающим образом любезничали, напрашиваясь на приглашения, — в особенности когда в городе стало известно, как сам царь назвался к отцу на бал.

Этот эпизод ярко восстает в моей детской памяти.

В то время, когда старшая сестра уже выезжала в свет, великие князья Николай и Михаил Николаевичи были прикомандированы для изучения службы к Конному полку (которым командовал П. П. Ланской. — Н. Г.). Желая повеселиться, они намекнули, что не худо было бы воспользоваться обширным залом, чтобы потанцевать. Это навело мать на мысль устроить вечеринку в полковом интимном кругу.

Каково же было ее удивление, когда отец, возвратившись от доклада у царя, взволнованно передал ей, что по окончании аудиенции Николай Павлович сказал ему:

— Я слышал, что у тебя собираются танцевать? Надеюсь, что ты своего шефа не обойдешь приглашением.

Трудно себе представить хлопоты, закипевшие в доме. Надо было принять государя с подобающей торжественностью, так как в ту пору редко кто из министров или высших сановников удостаивался подобной чести. Мне было тогда семь лет, и я с лихорадочным любопытством носилась по комнатам, следя за приготовлениями. Всю в слезах, еле-еле удалось моей старой няне уложить меня в постель. Я находила просто жестоким, что хоть из-за опущенной портьеры мне не хотят позволить взглянуть на крестного отца. Я далека была от предчувствия, что судьба готовит мне блестящее вознаграждение.

Государь, прибыв в назначенный час, в разговоре с матерью осведомился, как поживает его крестница, и она рассказала ему о моем детском горе, что мне не довелось его увидеть.

— Узнайте, спит ли она? Если нет, то я сейчас пойду к ней.

Мать поспешно вбежала в детскую, застала меня с возбужденным лицом, прислушивающейся к долетавшим звукам оркестра, зажгла свечу у теплившейся лампады и, радостно промолвив: «Царь идет к тебе», — скрылась метеором.

Более полвека прошло с тех пор, и я как сегодня помню трепетное биение моего сердца, детский восторг, охвативший мой ум! Не успел высокий силуэт Государя появиться на пороге, как я быстрым, непредвиденным нянею движением вскочила на постель и с самым сосредоченным видом голыми ногами изобразила глубокий реверанс, наподобие подмеченных мною на улице, когда дамы низко приседали при встрече с царем.

Государь неудержимо рассмеялся моей комической фигурке, взял меня на руки и поцеловал в обе щеки. Он ласково говорил со

мной, но что он мне сказал — не помню. Я вся обратились в зрение и впилась в него глазами, зато он и теперь как живой сохранился в моем воображении.

По его уходе няня, укладывая, стала выговаривать мне, что я должна была бы спокойно лежать, а не вести себя непристойно, но я свысока отрезала, что она ничего не смыслит в придворном этикете. Однако же на другой день, когда старшие сестры подняли меня на смех, я мало-помалу утратила веру в свою оценку светских приличий, и когда меня стали систематически изводить фразой: «Расскажи-ка, Азинька, как по этикету ты показала царю свои голые коленки», я уже сознавала провинность и сконфуженно опускала голову!»

Процитируем еще одно место из воспоминаний дочери Натальи Николаевны и Петра Петровича Ланских. Строчки эти исполнены глубокого смысла: «С тихой радостью окончила Н.Н. свое одинокое скитание, почуяв себя у верной, спокойной пристани. С полным доверием поручила она честной благородной душе участь своих детей, для которых ее избранник был опытным руководителем, любящим другом. Слово отец нераздельно осталось за отошедшим.

«Петр Петрович» — был он для них прежде, таким и остался навек. Но вряд ли найдутся между отцами многие, которые бы всегда проявляли такое снисходительное терпение, которые так беспристрастно делили бы ласки и заботы между своими и жениными детьми. Лучшей наградой исполненного долга служило ему сознание тесного неразрывного союза, сплотившего нас всех семерых в одну любящую, горячо друг другу преданную семью».

Как оказалось, дети Натальи Николаевны, Пушкины и Ланские, были очень дружны между собою, и эти отношения сохранились на всю жизнь. Сохранились воспоминания о том, как они ездили друг к другу в гости — надолго, по-родственному.

«…Лашма, усадьба генерала Ивана Андреевича Арапова и супруги его от второго брака вдовы поэта с П. П. Ланским. Здесь в течение долгих лет проводила лето дочь поэта Мария Александровна Гартунг, здесь гостил его старший сын Александр Александрович…»

А вот свидетельства Е. Н. Бибиковой, дочери Елизаветы Петровны Ланской (кстати, первым браком Е.П. была замужем за братом генерала Арапова, стало быть, два родных брата были женаты на двух родных сестрах):

«Зимой дядя Александр Александрович (сын А. С. Пушкина) приезжал в Петербург по делам институтов и заседал в Опекунском совете, жил, как всегда, у моей матери, и там я с ним

встречалась и глубоко уважала этого гордого старика… Мария Александровна Гартунг гостила у нас в Андреевке каждое лето до открытия Казанской железной дороги. После этого она стала ездить в Лашму к другой сестре Александре Петровне Араповой… Она была очень ожесточена на свою неудачную жизнь… со своими седыми волосами напоминала какую-то средневековую маркизу».

«Я хорошо помню Александру Николаевну (в замужестве Фризенгоф). Она была моей крестной матерью. Я родилась в Висбадене, в Германии. Мать боялась первых родов, которые и были очень тяжелые, и поехала в Висбаден, где тогда царила ее сестра — красавица Наталья Александровна, урожденная Пушкина, жена принца Нассауского. Крестным был дед П. П. Ланской, который лечился от ревматизма и жил у падчерицы Натальи Александровны».

«Когда мне минуло уже семь лет, мой отец Николай Андреевич Арапов заболел нервным расстройством в деревне, и мама, списавшись с Фризенгофами, повезла отца и нас, детей, в Вену. Там мы прожили два года».

Дети, внуки, правнуки Пушкины и Ланские продолжали строить свои родственные отношения на основании, которое никогда не поколеблется. Это основание — бескорыстная любовь, которой дети научаются от родителей. В семье Пушкина и Ланского эту любовь изобильно излучала Наталья Николаевна, мать большого семейства и преданная жена, красавица телом и душой до самой своей смерти на пятьдесят втором году…

«Ты знаешь, как я желаю доброго согласия между вами всеми, — писала Наталья Николаевна П. П. Ланскому о своих детях, — ласковое слово от тебя к ним, от них к тебе — это целый мир счастья для меня».

Она всегда искала счастья для своих ближних, а потому была истинно счастлива, именно это давало ей силы жить, какие бы бури ни бушевали в ее сердце и какие страсти ни кипели бы вокруг ее имени.

notes

Примечания

1

Во французском оригинале письма Вяземского игра слов: по-французски имеет два значения: «драгун» и «дракон», а в переносном смысле — «злоязычная женщина».

2

По другим сведениям, это были те самые бриллианты, которые Наталье Ивановне подарила императрица перед ее венчанием с Николаем Афанасьевичем.

3

М. Т. Каченовский — издатель «Вестника Европы», профессор Московского университета.

4

Кокю — рогоносец.

5

Шифр — вензель императрицы, который фрейлина прикалывает к придворному платью.

6

Князь Г. и Alex, по-видимому, одно и то же лицо: князь А. С. Голицын.

7

Во время этого путешествия вдовый барон Густав Фризенгоф уже считался женихом Александры Николаевны Гончаровой. Они должны были встретиться в Дрездене и дальше путешествовать вместе.

8

Письма Н. Н. Ланской написаны по-французски. Встречающиеся в них фразы по-русски выделены шрифтом. (Заключены знаками «=».)